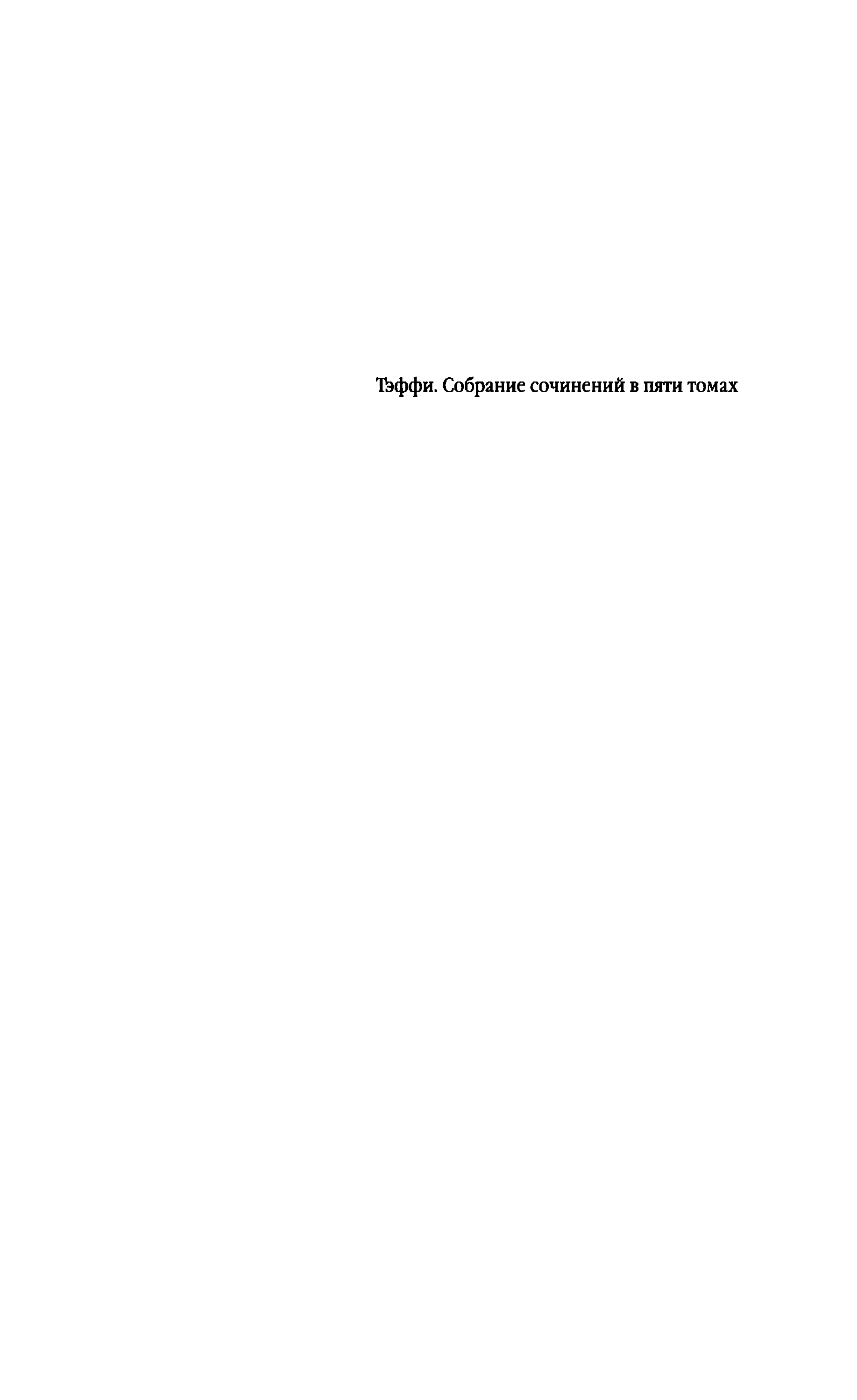


Тэффи

собрание сочинений





Тэффи. Собрание сочинений в пяти томах

Тэффи. Собрание сочинений в пяти томах

Тэффи

III

Все о любви

Городок

Рысь



УДК 882
ББК 84 (2 Рос=Рус)6
Т 97

Оформление художника
Е. Пыхтеевой

Тэффи Н. А.
Т 97 Собрание сочинений: В 5 т. Т. 3: Все о любви; Городок; Рысь: Сборники рассказов / Сост. И. Владимиров. — М.: Книжный Клуб Книговек, 2011. — 416 с.

ISBN 978-5-4224-0258-8 (т. 3)
ISBN 978-5-4224-0255-7

Надежда Александровна Тэффи (Лохвицкая, в замужестве Бучинская; 1872—1952) — блестящая русская писательница, начавшая свой творческий путь со стихов и газетных фельетонов и оставившая наряду с А. Аверченко, И. Буниным и другими яркими представителями русской эмиграции значительное литературное наследие. Произведения Тэффи, веселые и грустные, всегда остроумны и беззлобны, наполнены любовью к персонажам, пониманием человеческих слабостей, состраданием к бедам простых людей. Наградой за это стала народная любовь к Тэффи и титул «королевы смеха».

В третий том собрания сочинений вошли сборники рассказов «Все о любви», «Городок», «Рысь», опубликованные уже в годы эмиграции писательницы.

УДК 882
ББК 84 (2 Рос=Рус)6

ISBN 978-5-4224-0258-8 (т. 3)
ISBN 978-5-4224-0255-7

Все о любви

Флирт

В каютке было душно нестерпимо, пахло раскаленным утюгом и горячей клеенкой. Штору поднять было нельзя, потому что окно выходило на палубу, и так, в потемках, злясь и спеша, Платонов брился и переодевался.

— Вот двинется пароход — будет прохладнее, — утешал он себя. — В поезде тоже было не слаще.

Прифрантившись в светлый костюмчик, белые башмаки, тщательно расчесав темные, редеющие на темени волосы, вышел он на палубу. Здесь дышать было легче, но палуба вся горела от солнца, и ни малейшего движения воздуха не чувствовалось, несмотря на то что пароход уже чуть-чуть подрагивал, и тихо отплывали, медленно поворачиваясь, сады и колокольни гористого берега.

— Пошли.

Время для Волги было неблагоприятное. Конец июля. Река уже мелела, пароходы двигались медленно, промеряя глубину.

Пассажиров в первом классе было на редкость мало: огромный толстый купчина в картузе с женой, старой и тихой, священник, две недовольные пожилые дамы.

Платонов прошелся несколько раз по пароходу.

— Скучновато!

Хотя ввиду некоторых обстоятельств это было очень удобно. Больше всего боялся он встретить знакомых.

— Но все-таки, чего же это так пусто?

И вдруг из помещения пароходного салона раздался залихватский шансонетный мотивчик. Пел хрипловатый баритон под аккомпанемент дребезжащего рояля.

Платонов улыбнулся и повернул на эти приятные звуки.

В пароходном салончике было пусто... Только за пианино, украшенном букетом цветного ковыля, сидел кряжистый молодой человек в голубой ситцевой косоворотке. Сидел он на табуретке боком, спустив левое колено к полу, словно ямщик на облучке, и, лихо расставив локти, тоже как-то по-ямщицки (будто правил тройкой), лупил по клавишам:

Надо быть немножко недотро-гай,
Немножко стро-гай,
И он готов!

Он встряхивал могучей гривой плохо расчесанных светлых волос:

И на уступки
Пойдут голубки,
И траля-ля-ля-ля,
И траля-ля.

Заметил Платонова и вскочил:

— Разрешите представиться: Окулов, холерный студент-медик.

— Ах да, — сообразил Платонов — То-то пассажиров так мало. Холера.

— Да какая там к черту холера. Перепьются — ну их и тошнит. Я вот мотался который рейс и еще не констатировал ни одного случая.

Рожа у студента Окулова была здоровая, красная, темнее волос, и выражение было на ней такое, какое бывает у человека, приготовившегося дать кому-нибудь по физиономии: рот распяленный, ноздри раздутые, глаза выпученные. Словно природа зафиксировала этот предпоследний момент, да так и пустила студента вдоль по всей жизни.

— Да, голубчик мой, — говорил студент. — Тощища патентованная. Ни одной дамочки. А сядет, так такой мордоворот, что морская болезнь на тихой воде делается. А вы что ж, для удовольствия едете? Не стоило того. Река — дрянь. Жарища, вонища. На пристанях ругня. Капитан — черт его знает что; должно быть, запойный, потому что за столом водки не пьет. Жена у него девчонка — четыре месяца женаты. Я было пробовал с ней как с путной. Дурища, аж лоб трещит. Учить меня вздумала. «От ликующих, праздно болтающих» и «приноси пользу народу». Подумаешь — мать-командирша!

Изволите ли видеть, из Вятки, с запросами и душевными изгибами. Плюнул и бросил. А вот, знаете этот мотивчик? Прехорошенький:

От цветов моих
Дивный аромат...

Во всех кафешантанах поют.

Он быстро повернулся, сел «на облучок», тряхнул космами и поехал:

Увы, мамаша,
Ах, что такое...

«Ну и медик!» — подумал Платонов и пошел бродить по палубе.

* * *

К обеду выползли пассажиры. Тот самый купец-мастодонт с супругой, нудные старухи, священник, еще каких-то двое торговых людей и личность с длинными прядистыми волосами, в грязном белье, в медном пенсне, с газетами в оттопыренных карманах.

Обедали на палубе, каждый за своим столиком. Пришел и капитан, серый, одутловатый, мрачный, в поношенном холщовом кителе. С ним девочка лет четырнадцати, гладенькая, с подкрученной косой, в ситцевом платьице.

Платонов уже кончал свою традиционную ботвинью, когда к столу его подошел медик и крикнул лакею:

— Мой прибор сюда!

— Пожалуйста, пожалуйста! — пригласил его Платонов. — Очень рад.

Медик сел. Спросил водку, селедку.

— Па-аршивая река! — начал он разговор. — «Волга, Волга, весной многоводною, ты не так затопляешь поля...» Не так. Русский интеллигент всегда чему-нибудь учит. Волга, вишь, не так затопляет. Он лучше знает, как надо затоплять.

— Позвольте, — вставил Платонов, — вы как будто что-то путаете. А впрочем, я толком не помню.

— Да я и сам не помню, — добродушно согласился студент. — А видели нашу дуру-то?

— Какую дуру?

— Да мать-командиршу. Вот с капитаном сидит. Нарочно сюда не смотрит. Возмущена моей «кафешантанной натурой».

— Как? — удивился Платонов. — Эта девочка? Да ведь ей не больше пятнадцати лет.

— Нет, немножко больше. Семнадцать, что ли. А он-то хорош? Я ей сказал: «ведь это все равно, что за барсука выйти замуж. Как вас поп венчать согласился»? Ха-ха! Барсука с козявкой! Так что вы думаете? Обиделась! Вот-то дура!

* * *

Вечер был тихий, розовый. Зажглись цветные фонарики на буйках, и волшебно, сонно скользил между ними пароход. Пассажиры рано разбрелись по каютам, только на нижней палубе еще возились тесно нагруженные пильщики-плотники да скулил комариную песню татарин.

На носу шевелилась ветерком белая легкая шалька, притянула Платонова.

Маленькая фигурка капитановой жены прильнула к борту и не двигалась.

— Мечтаете? — спросил Платонов.

Она вздрогнула, обернулась испуганно.

— Ох! Я думала, опять этот...

— Вы думали, этот медик? А? Действительно, пошловатый тип.

Тогда она повернула к нему свое нежное худенькое личико с огромными глазами, цвет которых различить уже было трудно.

Платонов говорил тоном серьезным, внушающим доверие. Осудил медика за шансонетки очень строго. Даже выразил удивление, что могут его занимать такие пошлости, когда судьба дала ему полную возможность служить святому делу помощи страдающему человечеству.

Маленькая капитанша повернулась к нему вся целиком, как цветок к солнцу, и даже ротик открыла.

Выплыла луна, совсем молодая, еще не светила ярко, а висела в небе просто, как украшение. Чуть плескала река. Темнели леса нагорного берега. Тихо.

Платонову не хотелось уходить в душную каюту, и, чтобы удержать около себя это милое, чуть белеющее ночное

личико, он все говорил, говорил на самые возвышенные темы, иногда даже сам себя стыдясь: «Ну и здоровая же брехня!»

Уже розовела заря, когда, сонный и душевно умиленный, пошел он спать.

* * *

На другой день было это самое роковое двадцать третье июля, когда должна была сесть на пароход — всего на несколько часов, на одну ночь — Вера Петровна.

По поводу этого свидания, надуманного еще весною, он получил уже с дюжину писем и телеграмм. Нужно было согласовать его деловую поездку в Саратов с ее неделовой к знакомым в имение. Представлялось чудное поэтическое свидание, о котором никто никогда не узнает. Муж Веры Петровны занят был постройкой винокуренного завода и проводить ее не мог. Все шло как по маслу.

Предстоящее свидание не волновало Платонова. Он не видел Веры Петровны уже месяца три, а для флирта это срок долгий. Выветривается. Но все же встреча представлялась приятной, как развлечение, как перерыв между сложными петербургскими делами и неприятными деловыми свиданиями, ожидавшими его в Саратове.

Чтобы сократить время, он сразу после завтрака лег спать и проспал часов до пяти. Тщательно причесался, обтерся одеколоном, прибрал на всякий случай свою каюту и вышел на палубу справиться, скоро ли та самая пристань. Вспомнил капитаншу, поискал глазами, не нашел. Ну, да она теперь и ни к чему.

У маленькой пристани стояла коляска и суетились какие-то господа и дама в белом платье.

Платонов решил, что на всякий случай благоразумнее будет спрятаться. Может быть, сам супруг провожает.

Он зашел за трубу и вышел, когда пристань уже скрылась из глаз.

— Аркадий Николаевич!

— Дорогая!

Вера Петровна красная, с прилипшими ко лбу волосами — «восемнадцать верст по этой жаре!» — тяжело дыша от волнения, сжимал а его руку.

— Безумно… безумно… — повторял он, не зная, что сказать.

И вдруг за спиной радостный вопль неприятно знакомого голоса:

— Тетичка! Вот так суприз! Куда вы это? — вопил холерный студент.

Он оттер плечом Платонова и, напирая на растерянную даму, чмокнул ее в щеку.

— Это… разрешите познакомить… — с выражением безнадежного отчаяния залепетала та, — это племянник мужа. Вася Окулов.

— Да мы уже отлично знакомы, — добродушно веселился студент. — А вы знаете, тетичка, вы в деревне здорово разжирели! Ей-богу! Бока какие! Прямо постамент!

— Ах, оставьте! — чуть не плача, лепетала Вера Петровна.

— А я и не знал, что вы знакомы! — продолжал веселиться студент. — А может быть, вы нарочно и встретились? Рандеву? Ха-ха-ха! Идемте, тетичка, я покажу вам вашу каюту. До свиданья, мосье Платонов. Обедать будем вместе?

Он весь вечер так и не отставал ни на шаг от несчастной Веры Петровны. Только за обедом пришла ему блестящая мысль пойти самому в буфет распечь за теплую водку. Этих нескольких минут едва хватило, чтобы выразить отчаяние, и любовь, и надежду, что, может быть, ночью негодяй угомонится.

— Когда все заснут, приходите на палубу, к трубе, я буду ждать, — шепнул Платонов.

— Только, ради Бога, осторожней! Он может насплетничать мужу.

Вечер вышел очень нудный. Вера Петровна нервничала. Платонов злился, и оба все время в разговоре старались дать понять студенту, что встретились совершенно случайно и очень этому обстоятельству удивляются.

Студент веселился, пел идиотские куплеты и чувствовал себя душой общества.

— Ну, а теперь спать, спать, спать! — распорядился он. — Завтра вам рано вставать, не к чему утомляться. Я за вас перед дядичкой отвечаю.

Вера Петровна многозначительно пожала руку Платонова и ушла в сопровождении племянничка.

Легкая тень скользнула около перил. Тихий голосок окликнул. Платонов быстро отвернулся и зашагал в свою каюту.

«Теперь еще «эта» привяжется», — подумал он про маленькую капитаншу.

Выждав полчаса, он тихонько вышел на палубу и направился к трубе.

— Вы?

— Я!

Она уже ждала его, похорошевшая в туманном сумраке, закутанная в длинную темную вуаль.

— Вера Петровна! Дорогая! Какой ужас!

— Это ужасно! Это ужасно! — зашептала она. — Столько труда было уговорить мужа. Он не хотел, чтобы я ехала одна к Северяковым, ревнует к Мишке. Хотел ехать в июне, я притворилась больной... Вообще, так все было трудно, такая пытка...

— Слушайте, Вера, дорогая! Пойдем ко мне! У меня, право, безопаснее. Мы посидим тихо-тихо, не зажигая огня. Я только поцелую милые глазки, только послушаю ваш голос. Ведь я его столько месяцев слышал только во сне. Ваш голос! Разве можно его забыть! Вера! Скажи мне что-нибудь!

— Э-те-те-те! — вдруг запел над ними хрипловатый басок.

Вера Петровна быстро отскочила в сторону.

— Это что такое? — продолжал студент, потому что это, конечно, был он... — Туман, сырость, разве можно ночью на реке рассиживать. Ай-ай-ай! Ай да тетичка! Вот я все дядичке напишу. Спать, спать, спать! Нечего, нечего! Аркадий Николаевич, гоните ее спать. Застудит живот и схватит холеру.

— Да я иду, да я же иду, — дрожащим голосом бормотала Вера Петровна.

— Так рисковать! — не унимался студент. — Сырость, туман!

— Да вам-то какое дело! — обозлился Платонов.

— Как какое? Мне же перед дядичкой за нее отвечать. Да и поздно. Спать, спать, спать. Я вас, тетичка, провожу и буду всю ночь у двери дежурить, а то вы еще снова выскочите и непременно живот застудите.

* * *

Утром, после очень холодного прощанья («Она еще на меня же и дуется», — недоумевал Платонов), Вера Петровна сошла с парохода.

Вечером легкая фигурка в светлом платьице сама подошла к Платонову.

— Вы печальны? — спросила она.

— Нет. Почему вы так думаете?

— А как же... ваша Вера Петровна уехала, — зазвенел ее голос неожиданно дерзко, точно вызовом.

Платонов засмеялся:

— Да ведь это же тетка вашего приятеля, холерного студента. Она даже похожа на него — разве вы не заметили?

И вдруг она засмеялась, так доверчиво, по-детски, что ему самому стало просто и весело. И сразу смех этот точно сдружил их. И пошли душевные разговоры. И тут узнал Платонов, что капитан отличный человек и обещал отпустить ее осенью в Москву учиться.

— Нет, не надо в Москву! — перебил ее Платонов. — Надо в Петербург.

— Отчего?

— Как отчего? Оттого, что я там!!

И она взяла его руку своими худенькими ручками и смеялась от счастья.

Вообще ночь была чудесная. И уже на рассвете вылезла из-за трубы грузная фигура и, зевая, позвала:

— Марусенок, полунощница! Спать пора.

Это был капитан.

И еще одну ночь провели они на палубе. Луна подросшая показала Платонову огромные глаза Марусеньки, вдохновенные и ясные.

— Не забудьте номер моего телефона, — говорил он этим изумительным глазам. — Вам даже не надо называть своего имени. Я по голосу узнаю вас.

— Вот как? Не может быть! — восхищенно шептала она. — Неужели узнаете?

— Вот увидите! Разве можно забыть его, голосок ваш нежный! Просто скажите — «Это я».

И какая чудесная начнется после этого телефона жизнь! Театры — конечно, самые серьезные, ученые лекции, выставки. Искусство имеет огромное значение... И красота. Например, ее красота...

И она слушала! Как слушала! И когда что-нибудь очень ее поражало, она так мило, так особенно говорила «вот как!».

Рано утром он вылез в Саратове. На пристани уже ждали его скучные деловые люди, корчили неестественно приветливые лица. Платонов думал, что одно из этих приветливых лиц придется уличить в растрате, другое выгнать за безделье, и, уже озабоченный и заранее злой, стал спускаться по трапу. Случайно обернувшись, увидел у перил «ее». Она жмурилась сонным личиком и крепко сжимала губы, словно боялась расплакаться, но глаза ее сияли — такие огромные и счастливые, что он невольно им улыбнулся.

* * *

В Саратове захлестнули днем дела, вечером пьяный угар. В кафешантане Очкина, гремевшем на всю Волгу купецкими кутежами, пришлось, как полагается, провести вечерок с деловыми людьми. Пели хоры — цыганский, венгерский, русский. Именитый волжский купец куражился над лакеями. Наливая сорок восемь бокалов, плеснул лакей нечаянно на скатерть.

— Наливать не умеешь, мерзавец!

Рванул купец скатерть, задребезжали осколки, залили шампанским ковер и кресла.

— Наливай сначала!

Запах вина, сигарный дым, галдеж.

— Рытка! Рытка! — хрипели венгерки сонными голосами.

На рассвете из соседнего кабинета раздался дикий, какой-то уж совсем бараний рев.

— Что такое?

— Господин Аполлосов веселятся. Это они всегда под конец сбирают всех официантов и заставляют их хором петь.

Рассказывают, этот Аполлосов, скромный сельский учитель, купил в рассрочку у Генриха Блока выигрышный билет и выиграл семьдесят пять тысяч. И как только денежки получил, так и засел у Очкина. Теперь уж капитал к концу

подходит. Хочет все до последней копейки здесь оставить. Такая у него мечта. А потом попросится опять на прежнее место, будет сельским учителем век доживать и вспоминать о роскошной жизни, как ему на рассвете официанты хором пели.

— Ну где, кроме России и души русского человека, найдете вы такое «счастье»?

* * *

Прошла осень. Настала зима.

Зима у Платонова началась сложная, с разными неприятными историями в деловых отношениях. Работать приходилось много, и работа была нервная, беспокойная и ответственная.

И вот как-то, ожидая важного визита, сидел он у себя в кабинете. Зазвонил телефон.

— Кто говорит?

— Это я! — радостно отвечал женский голос. — Я! Я!

— Кто «я»? — раздраженно спросил Платонов. — Простите, я очень занят.

— Да я. Это — я! — снова ответил голос, и прибавил, точно удивленно: — Разве вы не узнаете? Это — я.

— Ах, сударыня, — с досадой сказал Платонов. — Уверяю вас, что у меня сейчас абсолютно нет времени заниматься загадками. Я очень занят. Будьте любезны говорить прямо.

— Значит, вы не узнали моего голоса? — с отчаянием ответила собеседница.

— А! — догадался Платонов. — Ну как же, конечно, узнал. Разве я могу не узнать ваш милый голосок, Вера Петровна!

Молчание. И потом тихо и грустно-грустно:

— Вера Петровна? Вот как... Если так, то ничего... Мне ничего не нужно...

И вдруг он вспомнил:

«Да ведь это маленькая! Маленькая на Волге! Господи, что же это я наделал! Так обидеть маленькую!»

— Я узнал! Я узнал! — кричал он в трубку, сам удивляясь и радости своей и отчаянию. — Ради Бога! Ради Бога! Ведь я же узнал!

Но уже никто не отзывался.

Время

Это был отличный ресторан с шашлыками, пельменями, поросенком, осетриной и художественной программой. Художественная программа не ограничивалась одними русскими номерами: «Лапоточками», да «Бубличками», да «Очами черными». Среди исполнителей были негритянки, и мексиканки, и испанцы, и джентльмены неопределенно джазовского племени, певшие на всех языках малопонятные носовые слова, пошевеливая бедрами. Даже заведомо русские артисты, перекрестившись за кулисами, пели на бис по-французски и по-английски.

Танцевальные номера, позволявшие артистам не обнаруживать своей национальности, исполнялись дамами с самыми сверхъестественными именами: Такуза Мука, Рутуф Яй-яй, Экама Юя.

Были среди них смуглые, почти черные, экзотические женщины, с длинными зелеными глазами. Были и розово-золотые блондинки, и огненно-рыжие, с коричневой кожей. Почти все они, вплоть до мулаток, были, конечно, русскими. С нашими талантами даже этого нетрудно достигнуть. «Сестра наша бедность» и не тому научит.

Обстановка ресторане была шикарная. Именно это слово определяло ее лучше всего Не роскошная, не пышная, не изысканная, а именно шикарная.

Цветные абажурчики, фонтанчики, вделанные в стены зеленые аквариумы с золотыми рыбками, ковры, потолок, расписанный непонятными штуками, среди которых угадывались то выпученный глаз, то задранная нога, то ананас, то кусок носа с прилипшим к нему моноклем, то рачий хвост. Сидящим за столиками казалось, что все это валится им на голову, но, кажется, именно в этом и состояло задание художника.

Прислуга была вежливая, не говорила запоздавшим гостям:

— Обождите. Чего же переть, когда местов нету. Здесь не трамвай.

Ресторан посещался столько же иностранцами, сколько русскими. И часто видно было, как какой-нибудь француз или англичанин, уже, видимо, побывавший в этом заведе-

нии, приводил с собой друзей и с выражением лица фокусника, глотающего горящую паклю, опрокидывал в рот первую рюмку водки и, выпучив глаза, затыкал ее в горле пирожком. Приятели смотрели на него, как на отважного чудака, и, недоверчиво улыбаясь, нюхали свои рюмки.

Французы любят заказывать пирожки. Их почему-то веселит это слово, которое они выговаривают с ударением на «о». Это очень странно и необъяснимо. Во всех русских словах французы делают ударение, по свойству своего языка, на последнем слове. Во всех — кроме слова «пирожки».

* * *

За столиком сидели Вава фон Мерзен, Муся Ривен и Гогося Ливенский. Гогося был из высшего круга, хотя и дальней периферии; поэтому, несмотря на свои шестьдесят пять лет, продолжал отзываться на кличку Гогося.

Вава фон Мерзен, тоже давно выросшая в пожилую Варвару, в мелко завитых сухих букольках табачного цвета, так основательно прокуренных, что если их срезать и мелко порубить, то можно было бы набить ими трубку какого-нибудь невзыскательного шкипера дальнего плавания.

Муся Ривен была молоденькая, только что в первый раз разведенная деточка, грустная, сентиментальная и нежная, что не мешало ей хлопать водку рюмка за рюмкой, безрезультатно и незаметно ни для нее, ни для других.

Гогося был очаровательным собеседником. Он знал всех и обо всех говорил громко и много, изредка, в рискованных местах своей речи, переходя по русской привычке на французский язык, отчасти для того, чтобы «слуги не поняли», отчасти потому, что французское неприличие пикантно, а русское оскорбляет слух.

Гогося знал, в каком ресторане что именно надо заказывать, здоровался за руку со всеми метрдотелями, знал, как зовут повара, и помнил, что, где и когда съел.

Удачным номерам программы громко аплодировал и кричал барским баском:

— Спасибо, братец!

Или:

— Молодец, девчоночка!

Многих посетителей он знал, делал им приветственный жест, иногда гудел на весь зал:

— Comment ça va? Анна Петровна en bonne santé?[1]

Словом, был чудесным клиентом, заполнявшим одной своей персоной зал на три четверти.

Напротив них, у другой стены, заняла столик интересная компания. Три дамы. Все три более чем пожилые. Попросту говоря — старухи.

Дирижировала всем делом небольшая, плотная, с головой, ввинченной прямо в бюст, без всякого намека на шею. Крупная бриллиантовая брошка упиралась в двойной подбородок. Седые, отлично причесанные волосы были прикрыты кокетливой черной шляпкой, щеки подпудрены розоватой пудрой, очень скромно подрумяненный рот обнажал голубовато-фарфоровые зубки. Великолепная серебряная лисица пушилась выше ушей. Старуха была очень элегантна.

Две другие были мало интересны и, видимо, были нарядной старухой приглашены.

Выбирала она и вино и блюда очень тщательно, причем и приглашенные, очевидно, «губа не дура», резко высказывали свое мнение и защищали позиции. За еду принялись дружно, с огнем настоящего темперамента. Пили толково и сосредоточенно. Быстро раскраснелись. Главная старуха вся налилась, даже чуть-чуть посинела, и глаза у нее выпучились и постеклenели. Но все три были в радостно-возбужденном настроении, как негры, только что освежевавшие слона, когда радость требует продолжения пляски, а сытость валит на землю.

— Забавные старухи! — сказала Вава фон Мерзен, направив на веселую компанию свой лорнет.

— Да, — восторженно подхватил Гогося. — Счастливый возраст. Им уже не нужно сохранять линию, не нужно кого-то завоевывать, кому-то нравиться. При наличии денег и хорошего желудка это самый счастливый возраст. И самый беспечный. Больше уже не надо строить свою жизнь. Все готово.

— Посмотрите на эту, на главную, — сказала Муся Ривен, презрительно опустив уголки рта. — Прямо какая-то развеселая корова. Так и вижу, какая она была всю жизнь.

---

[1] Как дела? Анна Петровна здорова? (*Фр.*)

— Наверно, пожито отлично, — одобрительно сказал Гогося. — Живи и жить давай другим. Веселая, здоровая, богатая. Может быть, даже была недурна собой. Сейчас судить, конечно, трудно. Комок розового жира.

— Думаю, что была скупа, жадна и глупа, — вставила Вава фон Мерзен. — Смотрите, как она ест, как пьет, чувственное животное.

— А все-таки кто-то ее, наверное, любил и даже женился на ней, — мечтательно протянула Муся Ривен.

— Просто женился кто-нибудь из-за денег. Ты всегда предполагаешь романтику, которой в жизни не бывает.

Беседу прервал Тюля Ровцын. Он был из той же периферии круга, что и Гогося, поэтому и сохранил до шестидесяти трех лет имя Тюли. Тюля тоже был мил и приятен, но беднее Гогоси и весь минорнее. Поболтав несколько минут, встал, огляделся и подошел к веселым старухам. Те обрадовались ему как старому знакомому и усадили его за свой стол.

Между тем программа шла своим чередом.

На эстраду вышел молодой человек, облизнулся, как кот, поевший курятинки, и под завывание и перебойное звяканье джаза исполнил каким-то умоляюще-бабьим воркованием английскую песенку. Слова песенки были сентиментальны и даже грустны, мотив однообразно уныл. Но джаз делал свое дело, не вникая в эти детали. И получалось, будто печальный господин плаксиво рассказывает о своих любовных неудачах, а какой-то сумасшедший разнузданно скачет, ревет, свистит и бьет плаксивого господина медным подносом по голове.

Потом под ту же музыку проплясали две испанки. Одна из них взвизгнула убегая, что очень подняло настроение публики.

Потом вышел русский певец с французской фамилией. Спел сначала французский романс, потом — на бис — старый русский:

Твой кроткий раб, я встану на колени.
Я не борюсь с губительной судьбой,
Я на позор, на горечь унижений —
На все пойду за счастье быть с тобой.

— Слушайте! Слушайте! — вдруг насторожился Гогося. — Ах, сколько воспоминаний! Какая ужасная трагедия связана

с этим романсом. Бедный Коля Изубов... Мария Николаевна Рутте... граф...

Когда мой взор твои глаза встречает,
Я весь мучительным восторгом обуян, —

томно выводил певец.

— Я всех их знал, — вспоминал Гогося. — Это романс Коли Изубова. Прелестная музыка. Он был очень талантлив. Морячок...

Так благостные звезды отражает
Бушующий бездонный океан, —

продолжал певец.

— Какая она была очаровательная! И Коля, и граф были в нее влюблены как сумасшедшие. И Коля вызвал графа на дуэль. Граф его и убил. Муж Марии Николаевны был тогда на Кавказе. Возвращается, а тут этот скандал, и Мария Николаевна ухаживает за умирающим Колей. Граф, видя, что Мария Николаевна все время при Коле, пускает себе пулю в лоб, оставя ей предсмертное письмо, что он знал о ее любви к Коле. Письмо, конечно, попадает в руки мужа, и тот требует развода. Мария Николаевна страстно его любит и буквально ни в чем не виновата. Но Рутте ей не верит, берет назначение на Дальний Восток и бросает ее одну. Она в отчаянии, страдает безумно, хочет идти в монастырь. Через шесть лет муж вызывает ее к себе в Шанхай. Она летит туда, возрожденная. Застает его умирающим. Прожили вместе только два месяца. Все понял, все время любил ее одну и мучился. Вообще, это такая трагедия, что прямо удивляешься, как эта маленькая женщина смогла все это пережить. Тут я ее потерял из виду. Слышал только, что она вышла замуж и ее муж был убит на войне. Она, кажется, тоже погибла. Убита во время революции. Вот Тюля хорошо ее знал, даже страдал в свое время.

Бушу-у-ющий бездонный океан.

— Замечательная женщина! Таких теперь не бывает.

Вава фон Мерзен и Муся Ривен обиженно молчали.

— Интересные женщины бывают во всякую эпоху, — процедила, наконец, Вава фон Мерзен.

Но Гогося только насмешливо и добродушно похлопал ее по руке.

— Посмотрите, — сказала Муся, — ваш приятель говорит про вас со своими старухами.

Действительно, и Тюля, и его дамы смотрели прямо на Гогосю. Тюля встал и подошел к приятелю, а главная старуха кивала головой.

— Гогося! — сказал Тюля. — Мария Николаевна, оказывается, отлично тебя помнит. Я ей назвал твое имя, и она сразу вспомнила и очень рада тебя видеть.

— Какая Мария Николаевна? — опешил Гогося.

— Нелогина. Ну, бывшая Рутте. Неужто забыл?

— Господи! — всколыхнулся Гогося. — Ведь только что о ней говорили!.. Да где же она?

— Идем к ней на минутку, — торопил Тюля. — Твои милые дамы простят.

Гогося вскочил, удивленно озираясь:

— Да где же она?

— Да вон, я сейчас с ней сидел... Веду, веду! — закричал он.

И главная старуха закивала головой и, весело раздвинув крепкие толстые щеки подмазанным ртом, приветливо блеснула ровным рядом голубых фарфоровых зубов.

Фея

Кухарка Аксинья прибегала два раза.

Была она крепкая, темно-румяная, с зубами такими белыми, что издали казалось, будто держит она во рту кусок творога.

Прибегала она к Ильке наниматься в няньки к будущему ребеночку.

Ильке нравилось, что она такая веселая, удалая и сама себя называла «Сенька», словно деревенского парня.

Говорила она таинственным шепотом и все поглядывала на двери — не подслушивает ли кто, но гоготала во все горло.

— Если, барыня, у тебя сыночек будет, я ему шапочку сошью. Один бочок красненький, другой желтенький — га-гага! Ну, а если доченька, тут уж надо чепчик с кружевцами.

В последний раз наговорила такой веселой ерунды, что даже печальная Илька развеселилась. Рассказала Сенька, что у какого-то немца есть коза и что навесили этой козе на шею шерстяную красную вожжинку с бубенчиками. Бубенчики не такие, как на лошадях, а маленькие, золотенькие, и так и поют. Так вот, Сенька хочет один бубенчик либо два отрезать и припрятать для маленького.

— На веревочку привяжем, он будет ручками тренькать и на всю жизнь веселым станет. А в нашем городе таких бубенчиков все равно не купишь. Это, видно, привозные. Один отрезать не беда, не заметят. А и заметят, так не дознаются кто. Га-га-га!

Сенька глупая, плутоватая, но так от нее делалось просто и весело, что век бы с ней не расстался. Но для счастья с Сенькой было серьезное препятствие. В ее прошлом — двое ребят и ни одного мужа. Один ребенок помер в деревне, другой «как быдто жив». Сердитый Илькин муж не позволит Сеньку нанять.

Она уж приготовилась подоврать чего-нибудь, изобразить Сеньку жертвой, да как-то не знала, как к этому делу подступиться. При одной мысли о разговоре со Станей начиналось сердцебиение.

Но вот как-то тот сам заговорил:

— Нужно подыскать няньку к будущему ребенку.

Илька взволновалась, задохнулась, приготовилась говорить, но он продолжал:

— Но мне повезло, — сказал он торжественно. — Я наметил для ребенка воспитательницу. Это сестра жены аптекаря. Сама лишенная возможности иметь собственную семью, она готова принести себя в жертву интересам чужого ребенка.

«Господи! — думала Илька. — Как он ужасно говорит. Ну какие у ребеночка интересы? Как все делается уныло и страшно».

— Эта женщина, вернее, эта девица, ее зовут Казимира Карловна, еще никогда не служила. У нас будет ее первое место. И что очень ценно — она горбатая.

У Ильки побледнели губы.

— Ценно? — тихо спросила она.

— Да, ценно, — повторил он и упрямо выпятил лоб. — Вы, конечно, не можете этого понять, хотя теперь, готовясь

к материнству, должны были бы более чутко относиться к своему долгу.

Он закурил папиросу и начал трясти коленом.

«Злится! — подумала Илька. — И чего?»

— Ребенок должен с первых дней жизни учиться любить все обездоленное. Он привяжется к своей уродливой воспитательнице, — она, к счастью, исключительно некрасива, кроме плохой фигуры, — и будет вместе с ней страдать от уколов и насмешек пошлой толпы. Эта женщина, вернее, девица, уже заранее поставила условием, чтобы не заставляли ее гулять с ребенком в парке. Она уже приобрела на кладбище место для своей могилы и будет каждый день возить туда колясочку с ребенком. Я нахожу, что это прекрасно. В парке, где прохожие будут ахать и восторгаться ребенком, только привьют молодой душе тщеславие. К чему это? И еще она поставила условием, чтобы в детскую никаких гостей не водить. Не к чему ребенка показывать. Да, вероятно, и ей самой неприятно лишний раз ловить на себе насмешливые взоры.

— Ничего не понимаю, — сказала Илька и покраснела. — Почему вдруг «насмешливые взоры»? Кто же смеется над горбатыми?

— Все! — отрезал муж. — Вы первая. Если не смеетесь, то не одобряете. Да-с.

Илька заплакала.

— Я не понимаю твоего желания окружить ребенка уродством и страданием. За что? За что его мучить? Что он, беглый каторжник, что ли? Да он, может быть, и сам по себе будет добрый и жалостливый.

— Святые спали с прокаженными! — мрачно сказал Станя.

— Ты теперь будешь искать прокаженную няньку! — с отчаянием крикнула Илька. — Уж каждый раз ты мне подсовываешь этих прокаженных. Нет, если бы я была святой, я бы не лезла спать к прокаженному. Я бы уступила ему свою постель, а сама бы ушла. Прокаженный — больной, ему нужен покой, удобство. А тут изволь жаться к стенке, а рядом этот бородатый святой храпит и подчеркивает свое самоотвержение. Нехорошо. Не прокаженного он любит, а себя. Не о нем заботится, а о преодолении в себе отвращения во имя самосовершенствования. Я не отдам ребенка прокаженным. Ложись с ними сам.

Она вскочила и, плача и натыкаясь на стулья, на притолоку двери, пошла к себе и легла. И всю ее трясло, словно знобило. А потом пришла дрема, и зазвенели на дворе колокольчики, не лошадиные, а тоненькие, остренькие, наверное, козьи, те, что веселая Сенька украла для ребеночка. Зазвенели колокольчики, и загрохотали страшные колеса. И вдруг писк, визг. Илька поднялась, подкралась к окошку и увидела. Увидела она огромную колымагу. Задние колеса втрое больше передних и обиты толстым железом. А перед колымагой катаются, переваливаются с брюха на спину громадные крысы — мягкие, жирные, запутались в красных постромках и пищат. А из колымаги лезет, ищет приступочку костлявой старушечьей ногой страшная, длинноносая — нос на двоих рос, да еще кривой — горбунья, злая фея Карабос. Горб узкий, высокий и трясется.

«Это нянька для маленького, — думает Илька и вся дрожит. — Повезет маленького ночевать с прокаженными».

А горбунья Карабос остановилась, задрала голову и шарит по окнам глазами, ищет Ильку. Илька чувствует — найдет она ее, уколет глазом, тут и конец, тут и погибель.

Илька закрывает лицо руками и кричит, кричит и от крика просыпается.

Она вся мокрая и вся какая-то расслабленная. Верно, жар.

* * *

На другой день пришел доктор. Не тот, что всегда, — тот уехал на месяц в отпуск, а заменяющий его, молодой, смуглый, белозубый, как Сенька. Считал Илькин пульс, качал головой:

— Анемия. И чего вы все волнуетесь? Боитесь родов? Ерунда!

— У нее скверный характер, — внушительно вступил в разговор Станя. — Я вот нашел воспитательницу для ребенка, с трудом нашел, это ведь нелегко. А она... Да, между прочим, — обратился он к жене, — я ее видел, и она дополнила условия. Она не хочет, чтобы ты ночью входила в детскую.

— Почему?

— Это ее, очевидно, стеснит.

— Фея Карабос отвинчивает ночью свой горб и обращается в крысу, — задумчиво пробормотала Илька.

Доктор нахмурился, прислушиваясь, ничего не понял.

— Это кто же такая?

— Казимира Карловна, сестра жены аптекаря.

— Да вы с ума сошли? — закричал доктор. — Эту ведьму брать к себе в дом? Я же ее знаю. Я лечил жену аптекаря. Ни одна кухарка не может с ней ужиться. Это же форменная ведьма! Зачем она вам понадобилась?

— Я хочу, чтобы ребенок с первых дней жизни приучился любить всех обездоленных, некрасивых, убогих.

— Ха-ха-ха! — сверкнул зубами доктор. — Вот он как! А сам, небось, выбрал себе жену молоденькую и хорошенькую.

Илька залилась румянцем так, что даже в ушах у нее зазвенело.

Станя иронически улыбнулся.

— Откровенно говоря, я никогда не считал мою теперешнюю жену ни красивой, ни умной.

— Что же вы, на деньгах женились, что ли? — резко спросил доктор.

— Нет, — деланно спокойно отвечал Илькин муж. — Денег у нее не было. Я женился на ней, потому что мне казалось, что душа ее представляет некоторый материал, из которого можно построить э-э-э... человека, как я его понимаю.

— Ага, — сказал доктор и засмеялся глазами. — На матерьяле, значит, женились.

И вдруг уже откровенно рассмеялся:

— А и заврались же вы, батенька мой. Ну-ну, не сердитесь, что я так. Уж очень вы смешной!

Станя медленно закурил, подчеркивая свое хладнокровие.

— Конечно, — сказал он, — вы, как врач, как физиолог, мало придаете значения воспитанию духа. Святые делили свое ложе с прокаженными.

— Что? Что делили? — смеясь и хмурясь, переспросил доктор.

— Ложе. Ночевали с прокаженными.

Илька тихо застонала и закрыла глаза.

— Начинается! — пробормотала она.

— Ночевали с прокаженными? — улыбнулся доктор. — Так и ночуйте, голубчик мой, если вам нравится. Ночуйте — никто вам не мешает. Конечно, если прокаженный не выра-

зит протеста. Но не заставляйте других, не принуждайте! На это вы не имеете никакого права. Я в этих высоких предметах, наверное, плохо разбираюсь, и очень может быть, что из вас выработается великолепнейший святой, но что муж из вас вышел скверный, это уже не подлежит никакому сомнению.

Илька испуганно и беспомощно переводила глаза с доктора на мужа. Она, казалось, ждала чего-то, какой-то минутки, чтобы обрадоваться, ждала и не смела надеяться и боялась.

Станя затряс коленом.

— Из чего вы выводите, господин доктор, что я плохой муж? Не из моей заботы о ребенке, надеюсь?

— Из чего вывожу? Из того, что вы не бережете вашу жену. Она слабенькая и нервная и требует в настоящее время исключительного внимания и ухода, а вы ее обижаете.

— Я? Ее? — искренне удивился Станя.

— Да, вы ее! Вот, она не хочет этой ведьмы. А вы ее навязываете. И, кстати, не воображайте, что эта Казимира Карловна из скромности не хочет показываться в парке или вашим гостям. И не потому, что считает себя уродом. Ничего подобного! Просто ей неприятно, что она поступила в прислуги. Она «гоноровая пани». Она завивает волосы на папильотки, она вовсе не считает себя некрасивой. Она осточертела аптекарю, вот он и рад ее сплавить. Нет, этого измывательства над моей милой пациенткой, — он нагнулся и поцеловал Илькину руку, — мы не допустим. Нельзя, дорогой Станислав Адамыч. Ищите себе в рай других ворот.

Он вскочил, молча пожал руку Ильке и Стане и быстро вышел. Илька видела в окно, как он зашагал по дороге к воротам.

Он среднего роста, худощавый.

Потом, через много лет, ей будет вспоминаться, что он был очень высокий, широкоплечий, что он очень любил ее и она за всю жизнь любила только его одного, но они не успели, не сумели, не смогли сказать это друг другу.

И иногда, в редких снах, он будет приходить к ней светло и нежно, чтобы вместе смеяться и плакать.

Имени его она никогда не вспомнит.

Страховка

Ресторан был старого стиля, без клетчатых скатертей на столах и «режиональных» блюд в меню. Тем не менее народу завтракало много, и на узенькой скользкой банкетке сидеть было тесно и неудобно.

Закуски были съедены, и теперь, наверное, придется бесконечно ждать, пока подадут идиотское «микст-гриль», которое почему-то заказал этот нудный Берестов, вместо жареной утки, которая была в меню и которую так аппетитно едят все вокруг. Да, все едят, а ты сиди и жди в угоду господину Берестову, который влюблен и поэтому старается прыгнуть выше головы. Надоело все это. И, наконец, хочется есть, а не смотреть, как едят другие и как умиляется Берестов.

Дуся Брок сердито шевелила вилкой на тарелке колбасные шкурки и шелуху креветок, как собака, которая съела брошенный хозяином кусок и теперь водит носом по заведомо пустому месту, притворяясь, что ищет, и тем указывая хозяину на свое непременное желание получить еще.

Лицо у Дуси Брок, розовое и курносое, приготовленное яркой подкраской к выражению здорового веселья, очень подурнело от совершенно неподходящего для него выражения обиды и разочарования.

— Дорогая! — сказал Берестов. — Отчего вы такая грустненькая?

Он потянул к себе ее руку, чтобы поцеловать, но сердитая Дуся нарочно не выпускала вилку с намотанной на ней колбасной шкуркой. Тогда он оставил эту руку и, перегнувшись, ухватил другую, потянул и чмокнул. Чмокнул и приостановился.

— Отчего же не те духи, не вортовские, которые я послал?

— Я не люблю вортовские. Ладаном пахнут. Я люблю свои, Герлен.

— Ах, Боже мой, — заволновался Берестов. — Ведь я вас так просил, ну что вам стоило! Понимаете? Катюша знает ваши духи. Прошлый раз, когда мы с вами были в театре, прихожу домой, а она меня обнюхала и говорит: «С кем был? Почему Герленом пахнет?» Я говорю: «Дорогая. Это твои духи».

А она в ответ: «Врешь, у меня вортовские. Я еще доищусь». Поэтому я и послал вам вортовские. А вы и не хотите! Ай-ай-ай!

— Замечательно все это интересно и остроумно, — проворчала Дуся. — Я должна обливаться какой-то зловонной массой для того, чтобы не пострадала ваша семейная жизнь. Заставьте лучше вашу дуру душиться приличными духами. А то еще ей придет в голову чесноком натираться — так и все ваши дамы должны?

Берестов покраснел, поднял рыжие брови.

— Дуся! Детка! Не надо сердиться. Вам не идет. Катюша уверяет, что когда Дуся улыбается, она молодеет на пятьдесят процентов.

— А когда Катюша говорит, так дурнеет на все сто. Ну, оставим это. Скажите лучше — намерены они нас сегодня кормить или лучше не надеяться? Не могу же я здесь сидеть до вечера только из-за того, что вам пришла несчастная мысль заказать какую-то ерунду, которую никто из посетителей не ест.

— Ха-ха! Здесь, очевидно, повар не торопится. Придерживается правила, как говорит моя супруга, «тише едешь, дальше будешь».

Он даже осекся, ибо вдруг увидел перед собой чудище. На чудище была шляпка Дусина и волосы Дусины — масляные желтые локоны, по два над каждым ухом — не спутаешь. Но нос был уже не Дусин. Он побелел как мел и раздулся в ноздрях. Под носом, спускаясь углами вниз, задергались две красные пиявки рта, а над носом, по обе его стороны, выкатились две круглые серые пуговицы, с черными узелками посредине. И все это дрожало, прыгало и задыхалось.

— Господи! — ахнул Берестов. — Дусинька! Да что же это с вами?

— Что со мной? — сипела Дуся. — Со мной то, что это уже превзошло всякую меру, и всему есть предел. Мы здесь сидим не больше четверти часа, и за это время вы минимум восемь раз заставили меня слушать про вашу прелестную жену. Что она сделала, да что думала, да «тише едешь, дальше будешь»! Что, это она сама сочинила, что ли? Старая, замызганная русская поговорка, народная дурь, которую все знают и все повторяют, а я почему-то должна восхищаться, что ваша жена ее произнесла. Одного не понимаю: если вам так нравятся все ее шутки и прибаутки — отчего вы не завтракаете дома?

Зачем пристаете ко мне с ножом к горлу, чтобы я пошла с вами в ресторан? Я не хочу! Мне неинтересно! Ресторан выбираете всегда такой, куда никто не ходит, — очевидно, чтобы не встретить знакомых, сидишь, ждешь четыре часа какую-то жареную ерунду — не перебивайте меня! — ерунду вашего изобретения, от которой еще заболеешь, и вдобавок изволь слушать анекдоты из жизни его великой жены! Да что я, нанялась, что ли? Не смейте перебивать, когда я говорю. Впрочем, мне больше нечего говорить.

Она глотнула вина, откинулась на спинку стула и сказала вдруг просто и грустно:

— Поймите, дурак вы несчастный, что я когда-то готова была полюбить вас. Вы сами все испортили.

— Дуся, дорогая, — забеспокоился Берестов. — Дорогая...

Он, видимо, не знал, что сказать.

В это время, раздвинув графины и тарелки, лакей поставил на стол большое блюдо с румяными поджаренными кусочками мяса, сосисок, грибов и почек, эффектно проткнутых крошечными серебряными шпагами и осыпанных тонкими соломинками жареного картофеля.

— Дуся! — благоразумно выждав первые моменты умиротворяющего насыщения, сказал Берестов. — Дуся, я все вам объясню.

Что собрался он объяснить, он и сам не знал. Он не знал, что говорит о жене все время только потому, что именно о ней-то говорить и не надо. А еще, может быть, потому, что, говоря о ней, и вдобавок так дружелюбно, он как бы включает ее в их веселое содружество и не чувствует себя уже таким подлецом, который наврал, что идет в церковь и там же, на Дарю́, где-нибудь закусив хорошенько, пройдется пешком. Надо же от этого подлеца отмежеваться хоть тем, что тот подлец про жену разговаривать не посмел бы, а он вот не таков.

Ну да все это так сложно, что и самому-то не понять, так уж где же толком объяснить этому чудесному притихшему чудищу, жующему малиновым масляным ртом хрустящий картофель. Самому Берестову и есть уж не хотелось.

Большой, толстый, уныло подняв рыжие брови, он смотрел на милое чудище, как оно глотает, и глотал вместе с ним пустым своим ртом. Но говорить все-таки надо.

— Дорогая. Я скажу вам всю правду. Конечно, я очень привязан к жене, то есть к Катерине Николаевне...

— Опять! — застонала Дуся.

— Нет, нет, я только объясню. Мы женаты двенадцать лет. Это уже не увлечение и не страсть, это испытанная, прочная дружба. Мне пятьдесят лет, дорогое мое дитя, ей больше сорока. У меня подагра. Простите, что говорю на такие неинтересные темы, но так уж к слову пришлось. Н-да. Словом — пора, как говорится, на зимние квартиры. Она женщина добрая, беззаветно преданная, энергичная, сильная, здоровая. Без ее помощи я пропаду. Это, так сказать, мудрая страховка от тяжелых одиноких страданий, которые ждут уже тут где-то, за дверью. Вы, Дуся, мой праздник, мой тайный глоток шампанского, нужный глупому мужскому сердцу, чтоб оно не задохлось. А ведь я вам — к чему себя обманывать! — я вам не нужен. Вы танцовщица, у вас искусство, и флирты, и радости, и перед вами еще огромная жизнь. А Катя — это кусок, зарытый старым псом про черный день. Настанет черный день, пес его и отроет.

— Не протух бы он к тому времени, этот ваш песий кусок, — проворчала Дуся и, вынув зеркальце, стала пудрить нос.

* * *

— Алло! Я слушаю. Кто говорит?

Отвечал незнакомый голос:

— Говорит сестра Александра Ильича Берестова. Он нездоров и поручил мне просить вас навестить его. Когда бы вы смогли прийти?

— Ой, бедненький! А он давно болен? Что с ним? — запищала Дуся.

— Острый припадок подагры. Давно, уже недели две. Придете?

— Ну еще бы! Ой, бедненький, я ведь и не знала! Ну как было не сказать! Сейчас же прибегу.

Через полчаса Дуся звонила у дверей Берестовых. С того самого несчастного завтрака — уже больше месяца тому назад — она его не видела. Он заходил раза два, да все не заставал ее дома. Потом притих. Вот, оказывается, заболел.

Теперь, значит, «страховка» на сцену. Собственно говоря, незачем было ее, Дусю, и беспокоить.

Открыла русская горничная.

— Пожалуйте, вас ждут. Сестрица ихняя только что ушли.

— А барыня дома? Катерина Николаевна?

— Нет, барыня, верно, к обеду придут. Пройдите сюда, они в спальне.

Первое, что увидела Дуся, была подушка и на ней что-то огромное, круглое, забинтованное.

«Господи! Голова!» — испугалась она.

Но это была не голова, а нога, потому что в другом конце кровати, на другой подушке, приподнялось, улыбаясь и морщась, желтое, плохо бритое, отекшее лицо. Улыбнулось, сморщилось и опустилось.

— Обойдите сюда, деточка. Спасибо, что пришли. Простите, что позвал. Скучища. Сестра Вера, добрая душа, приходит иногда поразвлечь. Вы представить себе не можете, как эта боль иногда донимает. Прямо рвет, словно клещами. Две недели лежу. Ужас.

— А где же Катерина Николаевна?

— Да вы садитесь, деточка, что же вы стоите. Катя здорова, спасибо. Садитесь сюда, чтобы я вас лучше видел. Да, так вот насчет боли. Днем еще туда-сюда, а ночью — прямо не знаешь, что и делать. Ночь долгая, тянется-тянется. То погасишь лампу, то зажжешь, то погасишь, то зажжешь. Конечно, хорошо бы припарки горячие — ну да где же ночью. И одиночество замучило. Посторонним показываться не хочется в таком виде. Это я сам не знаю, почему вдруг осмелел и вас вызвал.

— А что же Катерина Николаевна? Где она?

— Катя? У Кати днем всегда масса дел — то магазины, то уроки рисования — она что-то вдруг полюбила живопись, — женщина живая, энергичная, весь день бегает-бегает, еле к обеду поспевает.

— Ну а ночью, почему же она ночью не может вам эти самые припарки и все такое?

Отекшее лицо не то усмехнулось, не то сморщилось:

— Ну что вы, дорогая, говорите как ребенок. Женщина целый день бегает, ей ночью спать надо. Женщина сильная,

здоровая, ей спать надо, а я по двадцать раз в ночь лампу зажигаю. Она ездит ночевать к брату в Сен-Клу.

— Ночевать в Сен-Клу? Почему в Сен-Клу?

Голос у Дуси задрожал и сорвался.

— Ей воздуху нужно, а я сквозняков боюсь и всю квартиру мазями продушил. Она женщина здоровая, сильная, ей нужен воздух и здоровый сон. Так вот, оказывается, что, пока я болен, ей здесь абсолютно не годится сидеть.

Он пристально посмотрел на Дусино лицо, вдруг словно похудевшее, на непривычно тихие глаза, на удивленно приоткрытый рот.

— Да, деточка, — вздохнул он. — Жизнь не роман. Жизнь требует мудрого расчета и благоразумия. Иначе мы бы с вами натворили ерунды. Хорошо, что у меня голова трезвая. Что же вы молчите?

Два дневника

Как интересны бывают порою человеческие документы! Я говорю, конечно, не о карт д'идантитэ[1], не о паспортах или визах. Я имею в виду документы, свидетельствующие о внутренней, никому не известной жизни человека, о дневнике, который он вел для себя самого и тщательно от других прятал.

Письма никогда очень точно не свидетельствуют о человеческой личности, ибо каждое письмо пишется с определенной целью. Нужно, скажем, разжалобить благодетеля, или поставить на место просящего, или выразить соболезнование, что, как и поздравление, всегда изображается в преувеличенных тонах. Бывают письма изысканно-литературные, бывают и кокетливые, да и каких только не бывает. И все они рассчитаны специально на то или иное впечатление.

Тайный дневник — дело другое. Там почти все верно и искренне. Но именно в дневнике тайном, не предназначенном для обнародования, а, наоборот, всячески этого обнародо-

[1] Удостоверение личности (от *фр.* d'identité).

вания боящемся. Ну, можно ли считать очень достоверным документом дневники Толстого, когда мы знаем, что Софья Андреевна просила его кое-что смягчить и вычеркнуть?

Тайный дневник редко попадает в чужие руки. Но вот мне повезло. Мне так повезло, что и поверить трудно: у меня в руках не один дневник, а два. Принадлежат они супругам Кашеневым, Петру Евдокимычу и Марье Николаевне. Охватывают они, дневники эти, один и тот же период времени, самый, вероятно, в их супружеской жизни яркий. И вот, сопоставляя по датам записи этих двух дневников, вы получаете такую удивительную картину, что иногда прямо крикнуть хочется: «Да, черт тебя подери, балда несчастный, где же твои глаза?» И многое другое еще хочется крикнуть, но в ретроспективных возгласах этих, конечно, смысла было бы мало.

Итак, предлагаю вниманию читателей оба дневника, подобранные по датам.

Конечно, не все записи приведены мною неукоснительно. Я взяла на себя смелость пропустить:

«5-го сентября. Купила на распродаже в Мезон де Блан белый воротник за 30 франков. Оказался гадость, на коровью шею».

Это из дневника Марьи Николаевны. Из дневника Петра Евдокимыча:

«2-го октября. Опять натер ногу там, где кривой палец».

Много записей в этом роде, как не составляющие звена общей цепи, пропущены мною сознательно.

Ну, вот:

Из дневника Марьи Николаевны Кашеневой

1-го ноября.

Я думаю, что никогда не забуду вчерашнего вечера. Не забудут его и те, которые меня вчера видели. Никогда еще не была я так хороша собой и так оживлена. Мои глаза сверкали, как бриллианты. На мне было зеленое платье, так эффектно выделявшее мрамор плеч и алебастр спины. Мой ханжа, конечно, злился. Ему завидно, что он не может выкатить своих плеч. То-то была бы картина!

Сергей не сводил с меня безумных глаз. Чтобы отвести подозрение ханжи, я кокетничала с болваном Гожкиным. Я была дивно хороша. Я была как вакханка. Я подбежала к

роялю и спела «Люблю тебя и жажду ласк твоих». Я спела чудесно. Лучшее доказательство, что Петрова и Кужина сейчас же уехали, а ханжа скосил на меня бешеные глаза. Сергей Запакин был бледен как полотно.

Воображаю, как злятся Петрова и Кужина. Да, милые, тягаться со мной трудно. А Кужина еще напялила на себя бирюзовый казак! Ну и дура!

Ханжа, конечно, закатил сцену. А я хохотала.

Из дневника Петра Евдокимыча Кашенева

1-го ноября.

Скандал, каких мало! Эта дурища неожиданно запела! Это был такой срам, о котором по гроб жизни вспомнить будет стыдно. Семнадцать лет женат и никогда не думал, что у нее такой скверный голос. И при этом так непристойно фальшиво аккомпанировала. Я от стыда не знал, куда глаза девать. Милый мальчик, Сергей Запакин, видимо, страдал за меня ужасно. А Гожкин (очевидно, для него все это и делалось!) самым наглым образом «благодарил за доставленное удовольствие».

Какой все это ужас!

Петрова и Кужина, дамочки не бог весть какой марки, а и те не выдержали, вскочили и уехали.

Прожили вместе семнадцать лет, много пришлось терпеть всякого безобразия, но что она на восемнадцатом году запоет — этого я предвидеть не мог. Никак не мог. Здесь воображение — пас.

После ухода гостей, конечно, разыгралась безобразная сцена. Она нагло хохотала, а я кричал, как страдалец, и даже разбил молочник.

Из дневника Марьи Николаевны

6-го ноября.

Завтра мое рожденье. Я сказала об этом Сергею. В этот радостный день я должна быть с ним вместе.

Он почему-то задумался. Чтобы ханжа не заподозрил чего-нибудь, позвала на завтра и Гожкина.

Из дневника Петра Евдокимыча

6-го ноября.

Какие еще бывают на свете милые люди! Вчера Сергей Запакин был почему-то очень озабочен. Я это ему заметил. И тут

бедный мальчик со слезами на глазах признался, что у него в Бельгии проживает старушка-мать, которую он по мере сил поддерживает. И вот теперь необходимо послать ей двести франков, а он сейчас такой суммой не располагает, и это ужасно его мучает. Я, конечно, тотчас же предложил ему эту небольшую сумму. Трогательно было видеть его благодарность.

Из дневника Марьи Николаевны

8-го ноября.

Вчера утром позвонил Сергей. «Я хотел первым поздравить вас. Простите за мой скромный дар — я послал вам несколько хризантем».

Через час приносят мне огромную корзину дивных золотых хризантем. Такая корзина должна стоить не меньше двухсот франков.

Ханжа ходит и все шарит — нет ли в цветах визитной карточки. Потом сказал: «Я все равно знаю, что это от Гожкина. Ваши хитрости его не спасут. Я его сегодня же спущу с лестницы».

Из дневника Петра Евдокимыча

8-го ноября.

Спокойствие, спокойствие и спокойствие. Выслежу и прикончу Гожкина.

Из дневника Марьи Николаевны

20-го ноября.

Я сказала Сергею: «Меня истомила эта двойственность. Я хочу быть с тобою, в твоих объятиях, неразлучно всю жизнь, вечность». «Вечность? — повторил он. — Зачем же так мрачно. Мы можем поехать на два дня в Сен-Жермен. Придумай что-нибудь».

Я сказала ханже, что Лиза Хрябина приглашает меня дня на два к ним в Сен-Клу. Телефона у нее нет, так что проверить нельзя, а сам он туда не нагрянет, так как Лизу прямо видеть не может.

Из дневника Петра Евдокимыча

20-го ноября.

Был сегодня Сергей Запакин. Пришел посидеть ко мне в кабинет. Он опять очень озабоченный. Я сразу понял, в чем дело. «Что, говорю, опять ваша милая старушка наделала

вам хлопот?» Он немножко покраснел. «Почему, говорит, вы так...» Но я его урезонил. «Зачем, говорю, передо мной-то скрываться?» Он еще больше растерялся, и я уже прямо: «Наверное, вам нужны деньги для вашей матушки?» Тут уж он даже засмеялся, так был тронут моей догадливостью. Я ссудил ему четыреста. Такой человек в наше время редкость.

21-го ноября.

Моя дура выразила непременное желание поехать к другой дуре в Сен-Клу. У них, изволите ли видеть, нервы разгулялись. Знаем мы эти нервы. Я ей на это самым невинным голосом: «Поезжай, дорогая моя. А я попрошу Андрея Иваныча Гожкина приходить ко мне завтракать и обедать, а то одному скучно». А она в ответ разразилась самым неестественным смехом. И именно этим смехом и выдала себя. Хотела скрыть свою досаду, а вместо того ненатуральностью своего поведения только ее подчеркнула. Пусть теперь посидит в Сен-Клу. Нарочно не буду ее торопить и советовать посидеть подольше. Ха-ха!

Из дневника Марьи Николаевны

2-го февраля.

Как странно ведет себя мой ханжа. У него какая-то болезненная любовь к Гожкину. Он буквально с ним не расстается. Чуть завидит, тащит сейчас к себе в кабинет, то покурить, то в шахматы поиграть. С другой стороны, всячески старается, чтобы Сергей был около меня. Просит его провожать меня в театр, в кино, даже в гости. Все это очень странно. Не думает ли он застать нас врасплох? Недавно ездил на два дня в Руан и Гожкина повез с собой. «Вы, говорит, никогда там не были, вы человек молодой, вам надо развиваться». И повез. Это прямо становится неприличным. А тот и рад на даровщинку.

Из дневника Петра Евдокимыча

2-го февраля.

Сергей Запакин милый малый, но я нахожу, что его старушенция немножко того. Мне его старушенция начинает надоедать. То ей к празднику, то на доктора, то на зимнее пальто. И как-то уж вошло в обычай, что я помогаю... Но все-таки это с его стороны трогательно. Этот сухарь Гожкин, небось, о старушках не думает А у Запакина только и мыслей, что о своей старушенции. Редкий молодой человек.

Из дневника Марьи Николаевны

20-го июня. Виши.

Прямо не знаю, чем это объяснить. Сергей на письма не отвечает. Обещал приехать — не едет. Ханжа совсем одурел. Ездил весной со своим Гожкиным на Корсику, теперь сидит с ним в Париже и тоже на письма не отвечает. Я прямо сойду с ума. Но что с Сергеем?

Из дневника Петра Евдокимыча

25-го июня.

До чего мне опротивела рожа этого идиота Гожкина! Каждый день обедает и сидит весь вечер. А отпустить нельзя — удерет в Виши. На даровых хлебах разъелся, как боров, и храпит в кресле. Салом его заливает. И что она в нем нашла?

26-го июня.

Событие. Пришел Запакин, безумно взволнованный. Оказывается, нужно старуху оперировать и немедленно. Говорит, а у самого слезы на глазах и губы трясутся. «Это, говорит, последний раз, что я прибегаю к вашей помощи. Я через две недели женюсь на особе, очень состоятельной, но это пока секрет». Ну, я поздравил и дал на операцию. «Напишите, говорю, как она перенесет и не очень ли будет страдать». Он обещал.

Из дневника Марьи Николаевны

28-го июня.

Боже мой, что я пережила! Вчера приехал Сергей. Все кончено. Он женится.

Из дневника Петра Евдокимыча

1-го июля.

Получил телеграмму от своего Сереженьки Запакина: «Перенесла хорошо, страдала не сильно, умерла навеки». Странная телеграмма. Не пришлось бы посылать денег на похороны.

2-го июля.

Ага! Телеграмма от благоверной: «В ужасном состоянии, если не можешь приехать сам, пришли Гожкина».

Ага! Дождался! Завопила, подлая. Подавай Гожкина! Ну, теперь мы с тобой побеседуем. Вечером выезжаю.

Кошмар

Кошмар продолжался четыре года.

Четыре года несчастная Вера Сергеевна не знала покоя ни днем, ни ночью. Дни и ночи думала она о том, что счастье ее висит на волоске, что не сегодня-завтра эта наглая девка Элиза Герц отберет от нее окончательно околдованного Николая Андреевича.

Эта несчастная Вера Сергеевна боролась за свое сердце и за свой очаг всеми средствами, какие только может дать современность в руки рассудительной и энергичной женщины. Она писала сама себе анонимные письма, которые потом с негодованием показывала своему преступному мужу. Она постоянно твердила ему о необычайном уме их гениального мальчика и подчеркивала, как важны для воспитания такого избранного существа твердые семейные устои. Она создавала домашний комфорт и уют, устраивала интересные вечера, на которые созывала выдающихся людей. Она занималась своей внешностью, делала гимнастику, массировалась, старательно выбирала туалеты, делала все, что могла, чтобы быть в глазах мужа молодой, умной и красивой. Никогда, даже в первые годы супружеской жизни, не была она так в него влюблена, как в эти несчастные четыре года «кошмара».

И действительно, если Николай Андреевич мог кому-нибудь нравиться, так именно в эти четыре года. Он сделался элегантным, каким-то подвинченным, загадочным, то бурно веселым, то непредвиденно меланхоличным, декламировал стихи, делал жене подарки и даже отпускал ей комплименты, положим, большею частью, когда торопился уйти из дому и боялся, что его задержат.

— Милочка, как ты интересна сегодня, — рассеянно бормотал он, целуя ее в лоб, — носи всегда это платье.

Или:

— У тебя сегодня прием? Я безумно жалею, что не смогу прийти. Но я пришлю тебе корзину цветов. Пусть все видят, что я еще влюблен в свою кошечку.

От него всегда пахло волнующими духами, хотя он не душился. Он всегда что-то напевал, он приносил с собой

какой-то воздух влюбленности, от которого все начинали беспокойно улыбаться, лукаво поглядывать и говорить на любовные темы.

Раз в год Элиза Герц давала свой концерт. Вера Сергеевна заказывала к этому вечеру великолепный туалет, собирала друзей к обеду и потом приглашала их к себе в ложу. Николай Андреевич сидел отдельно в партере, и она следила в бинокль за выражением его лица.

Николай Андреевич был, действительно, околдован Элизой Герц. Его спокойная, расчетливая купеческая натура не сливалась с чуждой для него средой Элизы, но как бы плавала в ней, ныряла и фыркала от удовольствия. Его удивлял и умилял весь этот элегантный сброд, эти вылощенные денди с бурчащими от голода животами, эти томные модницы с наклеенными ресницами, у которых всегда оказывались вещи задержанными в отеле за неплатеж. Эти завтраки в пять часов вечера, обеды в час ночи, неожиданные танцы, вся сложность и запутанность взаимоотношений этих странных и очаровательных людей. И самая странная и самая очаровательная из них — она, непонятная, до конца не узнанная, мучающая и себя и других, талантливая, яркая, бог, черт, змея — Элиза Герц.

За все четыре года ни одного дня не был он спокоен и уверен за завтрашний день. Он никогда в ней ничего не понимал.

Однажды она вернула ему посланный ей дорогой браслет, набросав карандашом на клочке бумаги: «Не ожидала подобного хамства. Мне стыдно за вас». И он, растерянный и униженный, два дня не смел показаться ей на глаза и ломал себе голову — почему она так оскорбилась, когда всего три дня тому назад он дал ей двадцать тысяч и она совершенно спокойно сунула их в свою сумочку и даже зевнула при этом.

В другой раз, получив от него корзинку апельсинов, она стала перед ним на колени и сказала, что в этом его поступке было столько девственной красоты, что она все утро проплакала слезами восторга, а из апельсинов велела сварить компот.

И никогда не знал он, что его ждет. И часто, оскорбленный и униженный, возвращался он домой и искал утешения в преданности Веры Сергеевны.

— Веруся, ты ангел, а я свинья, — говорил он. — Но ведь и свинья может требовать доли уважения и ласки. Обними меня, скажи, — ведь наш Володя замечательный мальчик? Я хочу жить для тебя и для него. Только. Заметь — только!

Иногда он забегал домой всего на минутку, метеором, метеором, который сверкал радостью и напевал на мотив из оперетки:

— До свиданья, Веруся. Живу тобой. Не задерживай — меня ждут скучные дела. Тра-ла-ла! Скучные, тра-ла-ла! Дела-ла-ла!

И удирал.

Кончился кошмар совершенно неожиданно...

Элиза давно толковала об ангажементе в Аргентину. Николай Андреевич привык к этим разговорам и не придавал им особого значения. Иногда ему приходилось даже подписывать чеки для каких-то посредников, но ему часто приходилось выдавать деньги на самые непонятные нужды — на какую-то рекламу (чего — неизвестно), на погашение долга по концерту, который, полагалось, должен был дать доход, и т. д. Так что он особого значения этим посредникам не придавал. И вдруг оказалось, что аргентинская гастроль вовсе не мираж, а самый настоящий факт, и что нужно только выхлопотать паспорт и сейчас же отправляться. Разлука предполагалась на полгода и особенно Николая Андреевича не взволновала.

— Отдохну, отосплюсь и поправлю делишки, — бодрил он себя.

Ездили провожать целой компанией в Марсель. Было шумно, угарно и даже весело.

Долгое время Николай Андреевич не мог оторваться от Элизиной жизни. Ездил по ресторанам с ее подругой Милушей, чтобы говорить о ней, кое о чем выпытывать, кое-что проверять задним числом.

Потом Милуша надоела. Она была и глупа, и некрасива, и носила старые Элизины платья. И все, что говорила она о своей приятельнице, как-то опрощало Элизу, делало ее понятной, лишало тревоги и загадочности.

Он скоро бросил Милушу.

Потом пришло письмо от Элизы с просьбой о деньгах и рассказами о бурном успехе.

Он тотчас же послал требуемую сумму с восторгом.

Через пять месяцев пришло второе требование.

Он исполнил и его тоже, но уже без восторга.

От письма ее пахло какими-то новыми духами, вроде ладана. Очень противными.

Стало скучно. Сразу сказалась усталость от бессонных ночей, кутежей и тревог последнего года. Потянуло спокойно пошлепать пасьянс, поворчать на жену и завалиться в десять часов в постель.

Вера Сергеевна отнеслась сначала с восторгом к счастливой перемене жизни. Потом ее стало беспокоить, что ветреный супруг, предоставлявший ей всегда полную свободу, вдруг так прочно засел дома и выразил столько негодования, когда она раза два, увлекшись бриджем, поздно вернулась. Она почувствовала некоторое неудобство и даже скуку от такого его поведения.

— Ну, это, должно быть, ненадолго, — утешала она себя. — Скоро вернется эта негодяйка, и все пойдет по-старому.

Но по-старому дело не пошло.

Николай Андреевич получил новое требование из Аргентины, на которое ехидно ответил телеграммой: «Получите при личном свидании», на что пришел ответ, тоже телеграфный, в одно слово, латинскими буквами, но чисто русское: «Мерзавец».

Вера Сергеевна, которая по праву невинной страдалицы часто рылась в письменном столе неверного своего мужа и для этой цели даже очень ловко приспособила, в качестве отмычки, крючок для застегивания башмаков, прочла эту телеграмму с двойным чувством — тоски и восторга.

Восторг пел: кончен кошмар.

Тоска ныла: что-то будет?

И тоска была права.

Очаровательный и нежный Николай Андреевич выскочил всклокоченный вепрем из кабинета со счетами в руках и задал бедной страдалице такую встрепку за платье от Шанель и шляпку от Деска, что она горько пожалела о тяжелых годах кошмара.

А тут новое несчастье: «гениальный мальчик» оказался болваном и грубияном. Он в третий раз провалился на пер-

вом башо[1], и когда отец резонно назвал его идиотом, молодой отпрыск, вытянув хоботом верхнюю губу, отчетливо выговорил:

— Идиот? Очевидно, по закону наследственности.

И тут родители с ужасом заметили, что у него отвислые уши, низенький лоб и грязная шея, и что вообще им гордиться нечем, а драть его уже поздно, и Вера Сергеевна упрекала мужа за то, что тот забросил ребенка, а муж упрекал ее за то, что она слишком с ним нянчилась. И все было скучно и скверно.

При таком настроении нечего было и думать о поддержании прежнего образа жизни. Уж какие там приемы изысканных гостей. Кроме всего прочего, Николай Андреевич стал придирчив и скуп. Вечно торчал дома и всюду совал нос. Дошло до того, что, когда Вера Сергеевна купила к обеду кусочек балыка, он при прислуге назвал ее шельмой, словом, как будто к данному случаю даже неподходящим, но тем не менее очень обидным и грубым.

Так все и пошло.

Пробовал было Николай Андреевич встряхнуться. Повез обедать молоденькую балерину. Но так было с ней скучно, что потом, когда она стала трезвонить к нему каждый день по телефону, он посылал саму Веру Сергеевну с просьбой осадить ее холодным тоном.

Вера Сергеевна перестала наряжаться и заниматься собой. Быстро расползлась и постарела.

Она часто горько задумывалась и вздыхала:

— Да! Еще так недавно была я женщиной, жила полной жизнью, любила, ревновала, искала забвения в вихре света.

— Как скучно стало в Париже, — говорила она. — Совсем не то настроение. Все какое-то погасшее, унылое.

— Это, верно, вследствие кризиса, — объяснили ей.

Она недоверчиво качала головой и как-то раз, бледнея и краснея, спросила полковника Ерошина — старого забулдыгу, приятеля Николая Андреевича:

— А скажите, вы не знаете, отчего не возвращается из Америки эта певичка Элиза Герц?

— А Бог ее знает, — равнодушно отвечал полковник, — может быть, не на что.

---

[1] Экзамене (от *фр.* bachot).

— А вы не находите, что следовало бы послать ей денег на дорогу? — еще более волнуясь, сказала она. — Вы бы поговорили об этом с мужем. А?

О вечной любви

Днем шел дождь. В саду сыро.

Сидим на террасе, смотрим, как переливаются далеко на горизонте огоньки Сен-Жермена и Вирофле. Эта даль отсюда, с нашей высокой лесной горы, кажется океаном, и мы различаем фонарики мола, вспышки маяка, сигнальные светы кораблей. Иллюзия полная.

Тихо.

Через открытые двери салона слушаем последние тоскливо-страстные аккорды «Умирающего Лебедя», которые из какой-то нездешней страны принесло нам «радио».

И снова тихо.

Сидим в полутьме, красным глазком подымается, вспыхивает огонек сигары.

— Что же мы молчим, словно Рокфеллер, переваривающий свой обед. Мы ведь не поставили рекорда дожить до ста лет, — сказал в полутьме баритон.

— А Рокфеллер молчит?

— Молчит полчаса после завтрака и полчаса после обеда. Начал молчать в сорок лет. Теперь ему девяносто три. И всегда приглашает гостей к обеду.

— Ну, а как же они?

— Тоже молчат.

— Эдакое дурачье!

— Почему?

— Потому что надеются. Если бы бедный человек вздумал молчать для пищеварения, все бы решили, что с таким дураком и знакомства водить нельзя. А кормит он их, наверное, какой-нибудь гигиенической морковкой?

— Ну, конечно. Причем жует каждый кусок не меньше шестидесяти раз.

— Эдакий нахал!

— Поговорим лучше о чем-нибудь аппетитном. Петроний, расскажите нам какое-нибудь ваше приключение.

Сигара вспыхнула, и тот, кого здесь прозвали Петронием за гетры и галстуки в тон костюма, процедил ленивым голосом:

— Ну что ж — извольте. О чем?

— Что-нибудь о вечной любви, — звонко сказал женский голос. — Вы когда-нибудь встречали вечную любовь?

— Ну, конечно. Только такую и встречал. Попадались все исключительно вечные.

— Да что вы! Неужели? Расскажите хоть один случай.

— Один случай? Их такое множество, что прямо выбрать трудно.

— И все вечные?

— Все вечные. Ну вот, например, могу вам рассказать одно маленькое вагонное приключение. Дело было, конечно, давно. О тех, которые были недавно, рассказывать не принято. Так вот, было это во времена доисторические, то есть до войны. Ехал я из Харькова в Москву. Ехать долго, скучно, но человек я добрый, пожалела меня судьба и послала на маленькой станции прехорошенькую спутницу. Смотрю — строгая, на меня не глядит, читает книжку, конфетки грызет. Ну, в конце концов, все-таки разговорились. Очень, действительно, строгая оказалась дама. Чуть не с первой фразы объявила мне, что любит своего мужа вечной любовью, до гроба, аминь.

Ну что же, думаю, это знак хороший. Представьте себе, что вы в джунглях встречаете тигра. Вы дрогнули и усомнились в своем охотничьем искусстве и в своих силах. И вдруг тигр поджал хвост, залез за куст и глаза зажмурил. Значит, струсил. Ясно. Так вот эта любовь до гроба и была тем кустом, за которым моя дама сразу же спряталась.

Ну, раз боится, нужно действовать осторожно.

— Да, говорю, сударыня, верю и преклоняюсь. И для чего, скажите, нам жить, если не верить в вечную любовь? И какой ужас непостоянство в любви. Сегодня романчик с одной, завтра — с другой, уж не говоря о том, что это безнравственно, но прямо даже неприятно. Столько хлопот, передряг. То имя перепутаешь — а ведь они обидчивые все, эти «предметы любви». Назови нечаянно Манечку Сонечкой, так ведь такая начнется история, что жизни не рад будешь.

Точно имя Софья хуже, чем Марья. А то адреса перепутаешь и благодаришь за восторги любви какую-нибудь дуру, которую два месяца не видел, а «новенькая» получает письмо, в котором говорится в сдержанных тонах о том, что, к сожалению, прошлого не вернуть. И вообще, все это ужасно, хотя я, мол, знаю, конечно, обо всем этом только понаслышке, так как сам способен только на вечную любовь, а вечная пока что еще не подвернулась.

Дама моя слушает, даже рот открыла. Прямо прелесть что за дама. Совсем приручилась, даже стала говорить «мы с вами».

— Мы с вами понимаем, мы с вами верим.

Ну и я, конечно, «мы с вами», но все в самых почтительных тонах, глаза опущены, в голосе тихая нежность, словом, «работаю шестым номером».

К двенадцати часам перешел уже на номер восьмой, предложил вместе позавтракать.

За завтраком совсем уже подружились. Хотя одна беда — очень уж она много про мужа говорила, все «мой Коля, мой Коля», и никак ее с этой темы не свернешь. Я, конечно, всячески намекал, что он ее не достоин, но очень напирать не смел, потому что это всегда вызывает протесты, а протесты мне были не на руку.

Кстати, о руке — руку я у нее уже целовал вполне беспрепятственно, и сколько угодно, и как угодно.

И вот подъезжаем мы к Туле, и вдруг меня осенило:

— Слушайте, дорогая! Вылезем скорее, останемся до следующего поезда! Умоляю! Скорее!

Она растерялась:

— А что же мы тут будем делать?

— Как — что делать? — кричу я, весь в порыве вдохновения. — Поедем на могилу Толстого. Да, да! Священная обязанность каждого культурного человека.

— Эй, носильщик!

Она еще больше растерялась.

— Так вы говорите... культурная обязанность... священного человека...

А сама тащит с полки картонку.

Только успели выскочить, поезд тронулся.

— Как же Коля? Ведь он же встречать выедет.

— А Коле, говорю, мы пошлем телеграмму, что вы приедете с ночным поездом.

— А вдруг он...

— Ну есть о чем толковать! Он еще вас благодарить должен за такой красивый жест. Посетить могилу великого старца в дни общего безверия и ниспровержения столпов.

Посадил свою даму в буфете, пошел нанимать извозчика. Попросил носильщика договорить какого-нибудь получше лихача, что ли, чтоб приятно было прокатиться.

Носильщик ухмыльнулся.

— Понимаем, — говорит. — Потрафить можно.

И так, бестия, потрафил, что я даже ахнул: тройку с бубенцами, точно на масленицу.

Ну что ж, тем лучше.

Поехали.

Проехали Козлову Засеку, я ямщику говорю:

— Может, лучше бубенчики-то ваши подвязать? Неловко как-то с таким трезвоном. Все-таки ведь на могилу едем.

А он и ухом не ведет.

— Это, говорит, у нас без внимания. Запрету нет и наказу нет, кто как может, так и ездит.

Посмотрели на могилу, почитали на ограде надписи поклонников:

«Были Толя и Мура», «Были Сашка-Канашка и Абраша из Ростова». «Люблю Марью Сергеевну Абиносову, Евгений Лукин». «М. Д. и К. В. разбили харю Кузьме Вострухину».

Ну, и разные рисунки — сердце, пронзенное стрелой, рожа с рогами, вензеля. Словом, почтили могилу великого писателя.

Мы посмотрели, обошли кругом и помчались назад.

До поезда было еще долго, не сидеть же на вокзале. Поехали в ресторан, я спросил отдельный кабинет — «ну к чему, говорю, нам показываться. Еще встретим знакомых, каких-нибудь недоразвившихся пошляков, не понимающих культурных запросов духа».

Провели время чудесно. А когда настала пора ехать на вокзал, дамочка моя говорит:

— На меня это паломничество произвело такое неизгладимое впечатление, что я непременно повторю его, и чем скорее, тем лучше.

— Дорогая! — закричал я. — Именно — чем скорее, тем лучше. Останемся до завтра, утром съездим в Ясную Поляну, а там и на поезд.

— А муж?

— А муж останется как таковой. Раз вы его любите вечной любовью, так не все ли равно? Ведь это же чувство непоколебимое.

— И, по-вашему, не надо Коле ничего говорить?

— Коле-то? Разумеется, Коле мы ничего не скажем. Зачем его беспокоить.

Рассказчик замолчал.

— Ну и что же дальше? — спросил женский голос.

Рассказчик вздохнул.

— Ездили на могилу Толстого три дня подряд. Потом я пошел на почту и сам себе послал срочную телеграмму:

«Владимир, возвращайся немедленно».

Подпись: «Жена».

— Поверила?

— Поверила. Очень сердилась. Но я сказал: «Дорогая, кто лучше нас с тобой может оценить вечную любовь? Вот жена моя как раз любит меня вечною любовью. Будем уважать ее чувство». Вот и все.

— Пора спать, господа, — сказал кто-то.

— Нет, пусть еще кто-нибудь расскажет. Мадам Г-ч, может быть, вы что-нибудь знаете?

— Я? О вечной любви? Знаю маленькую историю. Совсем коротенькую. Был у меня на ферме голубь, и попросила я слугу моего, поляка, привезти для голубя голубку из Польши. Он привез. Вывела голубка птенчиков и улетела. Ее поймали. Она снова улетела — видно, тосковала по родине. Бросила своего голубя.

— Tout comme chez nous[1], — вставил кто-то из слушателей.

— Бросила голубя и двух птенцов. Голубь стал сам греть их. Но было холодно, зима, а крылья у голубя короче, чем у голубки. Птенцы замерзли. Мы их выкинули. А голубь десять дней корму не ел, ослабел, упал с шеста. Утром нашли его на полу мертвым. Вот и все.

— Вот и все? Ну, пойдемте спать.

---

[1] Всё как у нас (*фр.*).

— Н-да, — сказал кто-то, зевая. — Это птица — насекомое, то есть я хотел сказать — низшее животное. Она же не может рассуждать и живет низшими инстинктами. Какими-то рефлексами. Их теперь ученые изучают, эти рефлексы, и будут всех лечить, и никакой любовной тоски, умирающих лебедей и безумных голубей не будет. Будут все, как Рокфеллеры, жевать шестьдесят раз, молчать и жить до ста лет. Правда — чудесно?

Жених

По вечерам, возвратясь со службы, Бульбезов любил позаняться.

Занятие у него было особое: он писал обличающие письма — либо в редакцию какой-нибудь газеты, либо прямо самому автору не угодившей ему статьи.

Писал грозно.

«Милостивый государь!

Имел вчера неудовольствие прочесть вашу очередную брехню. В вашем "историческом" очерке вы пишете: "От слов Дантона словно электрический ток пробежал по собранию".

Спешу довести до вашего сведения, что во время французской революции электричество еще не было открыто, так что электрический ток никак не мог пробежать. Это не мешало бы вам знать, раз вы имеете дерзость и самомнение браться за перо и всех поучать.

Илья Б—».

Или такое:

«Милостивый государь, господин редактор!

Обратите внимание на статьи вашего научного обозревателя. В номере шестьдесят втором вашей уважаемой газеты сей развязный субъект со свойственной ему беззастенчивостью рассуждает о разуме муравья. Но где же в таком случае у муравья череп? Я лично такового не видал, хотя и

приходилось жить в деревне. Все это противоречит здравому смыслу.

Читатель, но не почитатель

Илья Б—».

Доставалось от него не только современным писателям, но и классикам.

«Милостивый государь, господин редактор, — писал он. — Разрешите через посредство вашей уважаемой газеты обратить внимание общественного мнения на писания прославленного Льва Толстого. В своем сочинении «Война и Мир», во второй части, в главе четвертой, знаменитый граф пишет:

«Алпатыч, приехав вечером 4-го августа в Смоленск, остановился за Днепром в Гаченском предместьи на постоялом дворе, у дворника Ферапонтова, у которого он уже тридцать лет имел привычку останавливаться. Ферапонтов тридцать лет тому назад, с легкой руки Алпатыча, купив рощу у князя, начал торговать и теперь имел дом, постоялый двор и мучную лавку в губернии. Ферапонтов был толстый, черный, красный, сорокалетний мужик, с толстыми губами и т. д.».

Итак — заметьте: сорокалетний мужик тридцать лет тому назад купил рощу и начал торговать. Значит, мужику было тогда ровно десять лет. Считаю это клеветой на русский народ. И почему, если это выдумал граф Толстой, то все должны преклоняться, а если так напишет какой-нибудь неграф и нелев, так его и печатать не станут?

Это не демократично.

И. Б.»

Письма эти тщательно переписывались, причем копию Бульбезов оставлял себе, нумеровал и прятал.

К занятиям своим относился он очень серьезно и никогда не позволял себе потратить вечер на синема или кафе, как делают это всякие лодыри.

— Пока есть силы работать — работаю.

* * *

Как это случилось — неизвестно.

Уж не весна ли навеяла эти странные мысли?

Впрочем, пожалуй, весна здесь ни при чем.

Потому что, если бы весна, то, конечно, любовался бы Бульбезов на распускающиеся деревья, на целующихся под этими деревьями парочек, на букетики первых фиалок, предлагаемых хриплыми голосами густо налитых красным вином парижских старух. Наконец, из окна его комнаты, если открыть его и перегнуться вправо, — можно было увидеть луну, что для влюбленных всегда отрадно. Но Бульбезов окна не открывал и не перегибался. Бульбезову не было до луны буквально никакого дела.

Началось дело не с луны, и не с цветов, и вообще не с пустяков. Началось дело с оборванной пуговицы на жилетке и продолжилось дело дырой на колене, то есть не на самом колене, а на платье, его обтягивающем и покрывающем. Короче говоря — на штанине.

И кончилось дело решением. Решением — вы думаете, пришить да заштопать? Вот, подумаешь, было бы тогда о чем расписывать.

Жениться задумал Бульбезов. Вот что.

И как только задумал, сразу же по прямой нити от пуговицы дотянулась мысль его до иголки, зацепила мысль руку, держащую эту иголку, и уперлась в шею, в Марью Сергеевну Утину.

— Жениться на Утиной.

Молода, мила, приятна, работает, шьет, все пришьет, все зашьет.

И тут Бульбезов даже удивился — как это ему раньше не пришла в голову такая мысль? Ведь, если бы он раньше додумался, теперь бы пуговица сидела на месте, и сам бы он сидел на месте, и не надо было бы тащиться к этой самой Утиной, объясняться в чувствах, а сидела бы эта самая Утина тоже здесь и следила бы любящими глазами, как он работает.

* * *

Откладывать было бы глупо.

Он переменил воротничок, пригладился, долго и с большим удовольствием рассматривал в зеркало свой крупный щербатый нос, провалившиеся щеки и покрытый гусиной кожей кадык.

Впрочем, ничего не было в этом удовольствии удивительного. Большинство мужчин получают от зеркала очень приятные впечатления. Женщина, та всегда чем-то мучается, на что-то ропщет, что-то поправляет. То подавай ей длинные ресницы, то зачем у нее рот не пуговкой, то надо волосы позолотить. Все чего-то хлопочет. Мужчина взглянет, повернется чуть-чуть в профиль — и готов. Доволен. Ни о чем не мечтает и ни о чем не жалеет.

Но не будем отвлекаться.

Полюбовавшись на себя и взяв чистый платок, Бульбезов решительным шагом направился по Камбронной улице к Вожирару.

Вечерело.

По тротуару толкались прохожие, усталые и озабоченные.

Ажан гнал с улицы старую цветочницу. Острым буравчиком ввинчивался в воздух звонок кинематографа.

Бульбезов свернул за изгнанной цветочницей и купил ветку мимозы.

— С цветами легче наладить разговор.

Винтовая лестница отельчика пахла съедобными запахами, рыбьими, капустными и луковыми. За каждой дверью звякали ложки и брякали тарелки.

— Антре![1] — ответил на стук голос Марьи Сергеевны.

Когда он вошел, она вскочила, быстро сунула в шкап какую-то чашку и вытерла рот.

— Да вы не стесняйтесь, пожалуйста, я, кажется, помешал, — светским тоном начал Бульбезов и протянул ей мимозу. — Вот!

Марья Сергеевна взяла цветы, покраснела и стала поправлять волосы. Она была пухленькая, с пушистыми кудерьками, курносенькая, очень приятная.

— Ну к чему это вы! — смущенно пробормотала она и несколько раз метнула на Бульбезова удивленным лукавым глазком. — Садитесь, пожалуйста. Простите, здесь все разбросано. Масса работы. Подождите, я сейчас свет зажгу.

Бульбезов, совсем уж было наладивший комплимент («Вы, знаете ли, так прелестны, что вот не утерпел и прибежал»), вдруг насторожился:

---

[1] Войдите! (От *фр.* entrez)

— Как это вы изволили выразиться? Что это вы сказали?

— Я? — удивилась Марья Сергеевна. — Я сказала, что сейчас свет зажгу. А что?

И, подойдя к двери, повернула выключатель от верхней лампы. Повернула и, залитая светом, кокетливо подняла голову.

— Виноват, — сухо сказал Бульбезов. — Я думал, что ослышался, но вы снова и, по-видимому, вполне сознательно повторили ту же нелепость.

— Что? — растерялась Марья Сергеевна.

— Вы сказали: «я зажгу свет». Как можно, хотел бы я знать, зажечь свет? Вы можете зажечь лампу, свечу, наконец спичку. И тогда будет свет. Но как вы будете зажигать свет? Поднесете к огню зажженную спичку, что ли? Ха-ха! Нет, это мне нравится! Зажечь свет!

— Ну чего вы привязались? — обиженно надув губы, проворчала Марья Сергеевна. — Все так говорят, и никто никогда не удивлялся.

Бульбезов от негодования встал во весь рост и выпрямился. И, выпрямившись, оказался головой на уровне прикрепленного над умывальником зеркала, в котором и отразилось его пламенеющее негодованием лицо.

На секунду он приостановился, заинтересованный этой великолепной картиной. Посмотрел прямо, посмотрел, скосив глаз, в профиль, вдохновился и воскликнул:

— «Все говорят!» Какой ужас слышать такую фразу. Или вы действительно считаете осмысленным всё, что вы все делаете? Это поражает меня. Скажу больше — это оскорбляет меня. Вы, которую я выбрал и отметил, оказываетесь тесно спаянной со «всеми»! Спасибо. Очень умно то, что вы все делаете! Вы теперь навострили лыжи на стратосферу. Вам, изволите ли видеть, нужны какие-то собачьи измерения на высоте ста километров. А тут-то вы, на земле, на своей собственной земле — все измерили? Что вы знаете хотя бы об электричестве? Затвердили как попугай: «Анод и катод, а посередине искра». А знаете вы, что такое катод?

— Да отвяжитесь вы от меня! — визгнула Марья Сергеевна. — Когда я к вам с катодом лезла? Никаких я и не знаю, и знать не хочу.

— Вы и вам подобные, — гремел Бульбезов, — стремятся на Луну и на Марс. А изучили вы среднее течение Амазонки? Изучили вы Центральную Африку с ее непроходимыми дебрями?

— Да на что мне эти дебри? Жила без дебрей и проживу, — кричала в ответ Марья Сергеевна.

— Умеете вы вылечивать туберкулез? Нашли вы бациллу рака? — не слушая ее, неистовствовал Бульбезов. — Вам нужна стратосфера? Шиш вы получите от вашей стратосферы, свиньи собачьи, неучи!

— Нахал! Скандалист! — надрывалась Марья Сергеевна. — Вон отсюда! Вон! Сейчас консьержку кликну...

— И уйду. И жалею, что пришел. Тля!

Он машинально схватил ветку мимозы, которая так и оставалась на столе, и, согнув пополам, ткнул ее в карман пальто.

— Тля! — повторил он еще раз и, кинув быстрый взгляд в зеркало, пощупал, тут ли мимоза, демонстративно повернулся спиной к хозяйке и вышел.

Марья Сергеевна долго смотрела ему вслед и хлопала глазами.

Кошка господина Фуртенау

Было это дело в маленьком городке, в Зоннебахе, на церковной площади.

Собственно говоря, Зоннебах был когда-то прежде, давно, городком, а потом слился с большим городом и стал как бы его предместьем, но по духу остался прежним, захолустным, тихим и бедным.

Народ, населявший его, работал большей частью на тех больших горожан, что жили за мостом. Прачки отвозили туда выстиранное белье, учителя, жившие в дешевеньких квартирках Зоннебаха, бегали давать уроки в школы большого города, разные мелкие служащие — чиновники, приказчики, фельдшерицы — уезжали по утрам в трамваях на целый день.

Квартирки в Зоннебахе редко пустовали, особенно маленькие, и не успели похоронить старую ведьму, занимавшуюся трикотажем без малого сорок лет, как в ее уютные и чистенькие две комнатки с кухней въехал новый жилец.

Это был высокий худой старик, очень серьезный и почтительный. Поклажу привез за ним артельщик на ручной тележке. Крытый клеенкой диван, кресло, складной столик и большую, обернутую зеленой тряпкой клетку.

Мальчишки, глазевшие на этот переезд, сразу догадались, что в клетке приехала кошка. Догадка в тот же вечер подтвердилась, потому что слышно было, как старик звал кошку и она в ответ мяукала.

— Питти! Питти! Питти! — звал он. — Хочешь молочка?

И кошка отвечала:

— Мау! Мау!

Довольно грубо отвечала. Должно быть, кот, да и не молодой.

Так водворился старичок на новом месте.

Утром, как и все, уезжал в трамвае в город, вечером возвращался, приносил кулечки, хозяйничал, разговаривал с кошкой, и она отвечала «мау».

Сначала соседи, как водится, любопытствовали, спрашивали у сторожихи, кто он, да где служит, и почему никто к нему в праздник не приходит — ко всем ведь кто-нибудь приезжает, либо родные, либо друзья.

Но сторожиха мало чего могла рассказать. Она вообще в его квартиру была вхожа раз в неделю, по субботам, мыть пол в кухне и стирать кое-какую стариковскую ерунду. В комнаты он ее не пускал, он комнаты любил сам убирать. Аккуратненький был старичок и чистенький, но очень неразговорчивый.

— Прямо какой-то старый дев, — определила его сторожиха.

— А служит в ликвидации.

Что такое за «ликвидация», никто не понимал, но раз старичок служит, так и Бог с ним. Служит — значит, человек понятный, не вор, не убийца, в свидетели с ним не попадешь, а что молчит, так к этому скоро привыкли. Да и что ему, старому, одинокому, рассказывать? Про кошку, что ли? Но ведь это опять такое дело, что, кто животных не любит,

тому слушать неинтересно, а кто любит, тому самому хочется про любимое существо рассказать, какая, мол, у меня кошечка нежная, и какая собачка преданная, и какая курица догадливая. Одним словом, от старикова молчания никому урону не было.

Фамилия старичка была Фуртенау.

Пошли дни за днями, ночи за ночами. Весенние ясные, летние жаркие, зимние холодные, осенние скучные.

Дул ветер, скрипел ржавый петух-флюгер на шпице старой колокольни, плыла луна. Скучно.

К старику привыкли, но вот милая его кошечка не особенно соседям нравилась.

Начать с того, что надоели вечные разговоры:

— Питти! Питти! Питти! Хочешь молочка? Мау! Мау!

Просто надоело. Стали даже думать — хоть бы выдрал он эту кошку, чтобы она как-нибудь иначе поорала.

Потом вышла такая история: у соседки господина Фуртенау пропал из кухни большой кусок жареной колбасы. Кухня этой соседки приходилась рядом с кухней господина Фуртенау, и ночевавшая в ней соседкина племянница слышала сквозь сон, как будто кто-то скребется у раскрытого окна. А там из окна Фуртенау к окну соседки вел маленький карнизик, так что кошка свободно могла перебраться и украсть колбасу.

Соседка потужила-потужила и велела племяннице на ночь окно закрывать. Но та как-то раз забыла, а кошка господина Фуртенау не зевала. Живо пронюхала, что путь свободен, и уволокла изрядный кусок ветчины.

Тут уж соседка расстроилась и, подкараулив на улице господина Фуртенау, остановила его и сказала, очень, впрочем, вежливо:

— Уважаемый сосед, вы должны непременно закрывать окно своей кухни, потому что кошка у меня уже два раза утащила мясо.

В ответ на это господин Фуртенау почтительно снял шляпу и сказал:

— Благодарю вас, я мяса не покупаю.

И ушел.

«Мяса не покупаю». Он не покупает мяса! Вот оттого его кошка и лезет воровать по чужим кухням.

Совсем дурак старик.

Долго обсуждали этот вопрос.

Потом еще раз пропала копченая рыба, а потом племянница соседки вышла замуж, и жених ее, изрядно выпив на свадьбе, признался, что и жареную колбасу, и ветчину, и копченую рыбу, – все это его невеста таскала ему тайком в дровяной сарайчик, куда он залезал с вечера от непреоборимой любви к своей невесте.

— Так вот почему господин Фуртенау поблагодарил, когда ему сказали, что кошка ворует мясо? Он думал, что это его предостерегали от чужой кошки.

Клевета с кошки господина Фуртенау была снята, и соседи стали снисходительнее относиться к надоевшим стариковым «Питти! Питти! Питти!»

* * *

Господин Фуртенау занимал квартиру в верхнем этаже. А под ним жил молодой переплетчик, которому раз в неделю приносила белье маленькая голубоглазая прачка Маришка.

Переплетчик был, пожалуй, уже не очень молод, но жил одиноко. Маришка, сдавая ему белье, очень долго отсчитывала четыре платка, два полотенца и наволочку. Ей почему-то трудно было подвести эти сложные итоги. И уходя, она вздыхала.

Он, этот переплетчик, как-то взял ее за руку и сказал с радостным удивлением:

— Господи! Маришка, до чего же у тебя голубые глаза!

Она покраснела и потом целую ночь мучилась — что это значило? Хорошо, что голубые, или плохо?

Как-то раз он пожаловался ей, что надоело ему слушать беседы старика соседа с кошкой. А Маришка жалобно улыбнулась и сказала:

— А мне так жаль его! Ведь никого у него, кроме этой кошки, в целом свете нет. Придет домой старенький, усталенький, покличет свою кошечку, а она ответит «мау», подойдет к нему, живая, тепленькая. Он погладит ее, и она приластится. Вот так любят они друг друга, и любовь их хранит.

— От чего хранит?

— Не знаю. От страха... Не знаю.

Переплетчик задумался. Потом сказал:

— Ну, пусть старик питтикает. Я больше сердиться не буду.

Когда через неделю она снова пришла со своей корзинкой, он был какой-то мрачный и не стал с ней разговаривать. А еще через неделю, принимая от нее белье, он внимательно посмотрел на нее и сказал:

— Ты похудела, Маришка. Чего ты похудела?

А потом сказал:

— Пора мне заводить теплую кошку, чтобы хранила меня от страха. Маришка, выходи за меня замуж. Так?

Наискосок от старикова дома жил старик газетчик с женой. Она ходила на работу. Копила деньги под старость. Жалела господина Фуртенау:

— Одинокий какой! Все только с кошкой да с кошкой. А поколеет кошка — куда он тогда? Страшно.

У этих стариков тоже никого не было. Даже кошки не было — не любили.

Вот как-то вечером послушали они, как господин Фуртенау говорит с кошкой, да вдруг старый газетчик и вспомнил:

— А в какой приют отправили твоей племянницы мальчишку, когда она померла? А?

— А что? Думаешь взять? А? Я и сама стала об этом подумывать. А?

Мальчишку разыскали, взяли. Он оказался буян и шалун. То песни пел, то капризничал. Старики на него ворчали, покрикивали, иногда и за уши драли. И за собственной кутерьмой уже и не слышали, как разговаривает со своей кошкой господин Фуртенау.

* * *

В подвальчик старикова дома переехали из большого города молодожены-красильщики. Они недавно повенчались, поместили ее старуху мать в богадельню и вот стали устраиваться и работать. Весь день работали дружно и весело, а вечером отдыхали и, конечно, слышали, как разговаривает господин Фуртенау со своей кошкой. Слушали, и затихали, и переставали смеяться.

— О чем ты все задумываешься? — спросил как-то жену молодой красильщик.

Она молчала.

— А мне, знаешь, что пришло в голову? — сказал красильщик. — Что, если передвинуть большой шкап, так можно было бы устроить в углу постель. Понимаешь?

Она все молчала.

— Для твоей матери.

Она и тут ничего не сказала, только вдруг заплакала, потом засмеялась и поцеловала мужа.

Старуха перебралась из богадельни в угол за шкапом, ворчала, копошилась, суетилась, заполняла дом старушечьей бестолочью, и уже не слышно было, как по вечерам разговаривает господин Фуртенау со своей кошкой.

* * *

И снова настала осень.

Задул ветер, заскрипел ржавый петух-флюгер на шпице старой колокольни, завертелся, заклевал луну черным носом. Скучно.

Господин Фуртенау засел дома и несколько дней не выходил на улицу. Слышно было только, как он разговаривает со своей кошкой и та отвечает: «Мау».

— Чего же он не выходит? Уж не заболел ли?

— Ну, раз с кошкой разговаривает, значит, все благополучно.

И вот поднялась в конце недели сторожиха, чтобы вымыть старикову кухню. Стучала, стучала, а он не откликался и не отпирал.

Тогда испугались, позвали слесаря, сломали дверь.

Господин Фуртенау сидел в кресле, свесив голову. Доктор потом сказал, что он скончался давно, может быть, дней пять тому назад.

А против кресла в большой клетке сидел попугай, старый, страшный, голый, с выщипанными перьями. Увидя вошедших людей, попугай заорал диким голосом:

— Питти! Питти! Питти! Хочешь молочка? Мау! Мау!

Заорал и свалился с жердочки.

Он умер от истощения.

А кошки, наделавшей столько удивительных штук на церковной площади городка Зоннебаха, этой кошки у господина Фуртенау вовсе никогда и не было.

Дон-Кихот и тургеневская девушка

Зина была на этот раз как-то особенно мила и ласкова. Она восторгалась ресницами своей приятельницы, ее ногами, ее чулками, ее прической, ее зубами — словно видела ее в первый раз.

«Чего-то ей от меня до смерти нужно, — думала Зоя. — Может быть, продулась в карты?»

— Ну, а как твой покер? — спросила она, чтобы подвинуть своего друга ближе к цели. — Давно не играла?

— Покер? — переспросила Зина. — Ах, я сейчас так далека от этого всего. Я тебе потом расскажу.

Она чуть-чуть покраснела, засмеялась и замолчала.

— Слушай, Зи, — сказала подруга, — лучше признайся сразу. Новый флирт?

— Хуже! — отвечала Зина, и опять покраснела, и опять засмеялась: — Хуже... Влюблена.

— Опять что-нибудь новое? — строго спросила Зоя.

— Отчего такой сердитый тон? — обиделась Зина. — Ты осуждаешь меня, Зо? Ты не имеешь права осуждать меня, Зо. Если бы у тебя был такой муж, как у меня, ты бы давно от него сбежала.

— Ну что ты болтаешь! — возмутилась Зоя. — Твой Вася идеальнейшее существо. Умный, добрый, внимательный. И у него такая приятная внешность.

— Дарю его тебе со всеми достоинствами. Слышишь? А я больше не могу. Я задыхаюсь...

— Ничего не понимаю, — недоумевала Зоя. — Отчего ты задыхаешься?

— Именно от его достоинств. Муж должен быть прежде всего товарищ, с которым можно обо всем просто и весело говорить, который понимает и флиртик, и анекдотик, и всякую милую ерунду. А ведь этот идиотский Дон-Кихот, если

бы я ему рассказала что-нибудь не очень почтенное, да он бы глаза выпупил и его тут же кондрашка бы хватил. Я ему не друг, я ему не жена, я для него какая-то уважаемая тетка, которую он не смеет даже в какое-нибудь голое «Ревю» повести. Ну, раз не смеешь, так я пойду с другими, которые смеют.

Зоя хлопала глазами.

— Как все это странно! Между прочим, это, вероятно, очень приятно, когда тебя уважают.

— Это только так кажется, потому что ты этого не испытала.

Зоя поджала губы.

— Надеюсь, ты не так глупа, чтобы обидеться на мои слова, — продолжала Зина. — Скажи слава Богу, что тебя никто не уважал. Это ужасная вещь — близкий человек, который тебя уважает. Это... Это прямо свинство! Я молода, я люблю смех, шутку. Ты знаешь, этот болван боится, как бы мне не попала в руки какая-нибудь «пошлая» книжонка. Он воображает, что я буду страшно шокирована. Прямо не знаю, почему он вбил себе в голову, что я святая недотрога.

— А ты бы объяснила ему его заблуждение.

— Ну зачем же разбивать иллюзии? Если он счастлив, что ему попалась жена по его вкусу, — зачем же портить ему жизнь? Гораздо проще устраивать свою частную жизнь по своему вкусу и просить своего милого друга Зо прийти на помощь. А?

— Я так и знала, что все к этому сведется. То-то ты сегодня такая ласковая. Что же тебе нужно?

Зина поежилась, облизнулась, придвинулась поближе к Зое и шепотком попросила:

— Помоги мне, Зо. Понимаешь? Обидно пропустить такой случай. Вася раскачался, наконец, пойти с каким-то приезжим приятелем пообедать и в синема. А я решила ему сказать, что проведу вечер с тобой. Ты согласна? Ты не выдашь?

Зоя нахмурилась.

— Ну нет, дорогая моя, — сказала она. — Это абсолютно невозможно.

— Почему? — с негодованием воскликнула Зина. — Почему вдруг невозможно?

— Во-первых, потому, что я не желаю помогать тебе обманывать такого достойного человека, как твой муж, а во-вторых, просто потому, что это для меня неудобно.

— Вот так друг, нечего сказать. Почему неудобно?

— Я сегодня вечером ухожу.

— Ну, так что же?

— Он может позвонить сюда и узнает, что тебя здесь нет.

— Чего ради он будет звонить? Да, наконец, мы можем сказать, что пошли в синема.

— Ах, еще выворачиваться, выкручиваться. Нет. Я слишком его уважаю, чтобы взять на себя такую гнусную роль.

— Вот уж никогда не думала, что в тебе столько подлости, — с горечью сказала Зина. — Если бы знала, ни за что бы не обратилась к тебе.

Обе помолчали, надутые.

— А, собственно говоря, зачем тебе эти алиби, раз он сам уходит? Сделай вид, что сидела весь вечер дома, и делу конец.

— А если позвонит?

— Скажешь, что вышла опустить письмо.

— Какая ты умница! Ну конечно, скажу, что была дома. Да я ведь и уйду ненадолго. Я обещала только пообедать вместе. Ведь это будет так весело, он такой забавный. Ты не думай — я очень люблю Васю. Если бы только он немножко больше понимал меня, не разводил бы эту мерихлюндию. Ведь это не жизнь, а какая-то мелодекламация под Эолову арфу, засахаренные звезды, а я люблю жареную колбасу с чесноком. Ну что мне делать? Пойми, я очень ценю его и ни на кого не променяю, но иногда прямо выть хочется. Ну отчего он такой? Милый, умный, благородный человек, но ни капли темперамента, не чувствует жизни, не понимает никаких ярких моментов.

Она приостановилась, подумала.

— Так как же, Зоечка? Зо, милая? Значит, советуешь просто сказать, что я буду дома сидеть?

* * *

Зоя сама открыла дверь на его звонок.

Он вошел, такой веселый, такой бурно радостный, что, казалось, даже стекляшки на люстре зазвенели ему в ответ.

— Тише, Васька, что с тобой, — останавливала его Зоя и сама невольно смеялась вместе с ним.

— Так трудно было уйти, ты себе представить не можешь, — говорил он, целуя попеременно обе ее руки. — Я придумал для Зины, что у меня обед с приятелем. Понимаешь? Хитро? А она вдруг заявила, что в таком случае проведет вечер с тобой. Как тебе это нравится? Я прямо голову потерял. Ну, как тут ее отговоришь? Я посоветовал — ты сначала узнай, будет ли твоя Зина дома, а то проедешься даром и только расстроишься, если не застанешь. Ты, говорю, позвони ей по телефону. Ну, она решила, что, так как будет где-то неподалеку от тебя, так и зайдет сама. Вернулась с головной болью и решила лучше пораньше лечь в постель. Значит, все обстоит великолепно.

— Ну что за зверь! Радуется, что у его жены голова болит. Ну разве ты не зверь после этого?

— Ну это же пустяки — легкая головная боль. Если бы что-нибудь серьезное, тогда другое дело. Ну-с, а теперь перейдем к вопросу дня. Куда мы едем? У меня настроение очень приподнятое. Прямо — раззудись, плечо, размахнись, рука. Зойка! Едем обедать. Едем обедать в какое-нибудь самое расцыганское место. Идет? Ну! Живо! Шляпу! Подожди, подрумянь мне сначала губы.

— Тебе? Губы? Что за ерунда?

— Ну да. Твоими губами, глупая, бестолковый гусь! Ух, до чего хорошо жить на свете!

* * *

Так, между прочим, всегда бывает — когда людям хочется поговорить, они отправляются в ресторан с музыкой. Музыка мешает, заглушает голоса. Приходится по три раза переспрашивать, выжидать паузы, иногда с нетерпением и раздражением. И все-таки почему-то идут беседовать в ресторан с музыкой.

Зоя деловито выбрала место поближе к эстраде. Сели.

Она с удовольствием и сочувствием смотрела на сияющую физиономию мужа своей приятельницы.

— Что, кот-Васька, рад?

— Ужасно рад!

У него было выражение лица собаки, махающей хвостом во все стороны.

— Рад!

Было очень весело. Похохотали, выпили немало.

— Хорошо жить на свете?

— Очень даже недурно, — ответила Зоя. — Почаще бы так.

Он промолчал и посмотрел на часы.

— Что? Потянуло домой? — насмешливо спросила Зоя.

— Нет, время еще есть. Я скажу, что мы были в синема, а потом прошлись пешком. Ночь такая чудесная.

— Вот так чудесная, дождь как из ведра.

— Неужели? — удивился он. — Хорошо, что вы обратили мое внимание на это обстоятельство. Ну, так я скажу, что мы зашли в кафе. Одним словом — по вдохновению.

— Ну конечно. По вдохновению выходит лучше всего.

— Н-да. Хотя я раз по вдохновению так наврал, что прямо сам испугался. А она, бедненькая, даже не заметила.

— Вам, кажется, очень ее жалко? — сочувственно спросила Зоя.

Он отвел глаза в сторону и задумался.

— Это чудесный, милый человечек, — сказал он. — Я ее очень, очень люблю. Но мы так мало подходим друг к другу. Ну, вот вы нас обоих отлично знаете. Скажите — можно ли поискать более резкие контрасты, чем мы с ней? Я — полноценный пошляк, люблю нашу маленькую, подленькую жизнь, я легкомысленный — живи и жить давай другим. А она, Зина, это — тургеневская девушка, чистая, трепетная. Она вся как насторожившаяся лань. Мне всегда страшно вспугнуть ее. Я всегда начеку, всегда осторожен, всегда боюсь, не брякнуть бы при ней чего-нибудь неладного. Зо, дорогая моя, вы умная женщина, вы меня поймете. Вы представить себе не можете, как это все иногда тяготит. Как бы я был счастлив, если бы Зина не только любила меня, но и знала, и понимала. Но она никогда не поймет меня и никогда не простит. Я бы даже согласен был на ее неверность, конечно, мимолетную, несерьезную, — мы бы тогда лучше поняли друг друга, и крепче спаяла бы нас на... чего вы смеетесь? Вы не слушаете моей горькой исповеди?

Зоя сдерживалась и не могла сдержать смеха. Подбородок и щеки дрожали, на глаза навертывались слезы.

— Васенька! Милый! Прости! Я... мне сегодня мой дантист рассказывал пресмешную штуку. Это, конечно, не име-

ет никакого отношения... Среди его пациентов есть парочка — муж и жена. Муж вставил себе зубы потихоньку от жены. Жена скрывает от мужа, что у нее фальшивые зубы. Оба просили дантиста не выдавать их. Отсюда масса неудобств. Каждый прячется, запирается от другого, когда совершает свой туалет. Дантист говорит: «Вот, в моих руках наладить это дело, позвать их обоих вместе и открыть тайну. И как бы это упростило их жизнь! А не могу, — связан словом».

— Почему вам вспомнилась эта ерунда? — удивился Васенька.

— Сама не знаю, — весело отвечала Зоя. — Ну, а теперь пойдем. Бедная Зинушка заждалась.

Два романа с иностранцами

Были тихие сумерки.

По стене бегали огни автомобилей, вскрикивали их гудки, звякал трамвай. Острым буравчиком сверлил ухо призывный звонок соседнего кино.

И все-таки для тех двух женщин, которые сидели, поджав ноги, на колченогом диванчике, сумерки эти были тихими, потому что день со всеми его тревогами и заботами кончился и в эти два-три часа перед сном можно позволить себе ни о чем не думать и не беспокоиться.

В такие тихие сумерки разговор ведется душевный. Шагать по полутемной комнате неудобно, надо сидеть спокойно. От спокойной позы и мысли делаются сосредоточеннее, не скачут с предмета на предмет. Самые привычные врали теряют свое вдохновение, становятся проще и искреннее.

Молодежь в такие минуты охотно говорит о смерти. Люди постарше — о любви. Старики — о разных приятных надеждах.

Те две дамы, которые поджали ноги на колченогом диванчике, были уже не первой молодости и поэтому говорили о любви.

— Нет, теперь все для меня кончено, — сказала одна.

Если бы в комнате было светлее, мы увидели бы, что у нее очень усталое лицо, погасшие глаза, и плечи ее закутаны в серый пуховый платок, всегда чуть-чуть разодранный на плече, уютный, пахнущий духами и папиросами, словом — традиционный платок русской скорбящей женщины!

— Не преувеличивай, Наташа, — ответила другая. — Ты еще молода. Кто знает.

— Молода? — с горьким смешком сказала Наташа. — Нет, милая моя, после того, что я пережила, я себя чувствую семидесятилетней. Сама виновата. Не надо было изменять памяти Гриши.

— А сколько же лет ты была за Гришей?

— Лет? Лет! Пять недель. Познакомились перед самой эвакуацией. Сразу и повенчались. А через пять недель он выступил в поход. Больше мы и не встретились. Он был очень мил.

— Ну, на пять-то недель всякого бы хватило.

— Н-не знаю. Н-не думаю, — обиженным тоном сказала Наташа.

— А что, собственно говоря, у тебя вышло с этим твоим женихом-французом? Я ведь толком ничего не знаю. Мы тогда встречались редко, когда он за тобой ухаживал. А потом слышу — свадьба расстроилась. Что, он разлюбил тебя, что ли?

— Нет-нет. Он говорит, что не разлюбил. Родители не позволили. Впрочем, это очень сложная история, — вздохнула Наташа.

— Моя история была тоже очень сложная, однако я не вздыхаю, а хохочу. Ты стрелялась? Отравлялась?

— Нет, что ты, грех какой!

— Вот видишь! А еще вздыхаешь. А я вот даже отравлялась, а как вспомню, так от смеха не удержаться. Ну до того хорошо, до того хорошо!

— Чего же тут хорошего, если отравилась?

— В этом-то, конечно, хорошего мало. Очень тошнило. Но именно оттого, что отравлялась, все так смешно получилось. Ну да я потом расскажу. Сначала ты.

— Ладно. Только с чего начать... Ну вот, как ты уже знаешь, работала я у модистки и познакомилась с мадам Ружо, с Мари. Очень она была милая. Мы подружились и затея-

ли открыть вместе магазин. Муж у нее тоже был славный, инженер. Дело у нас пошло довольно недурно. Мы с этой Мари были прямо неразлучны. Днем в мастерской и в магазинчике, вечером в синема или играем в карты. Я у них и обедала, чтобы не вести своего хозяйства. И вот, бывал у них довольно часто сослуживец самого Ружо, мосье Эмиль. И вот, короче говоря, влюбился в меня этот Эмиль до зарезу. Он мне сначала не особенно нравился, так, казался пустеньким, банальным типом. Но потом, понемножку, начал он меня интересовать. Виделись чуть не каждый день, и он так настойчиво, так пламенно и так восторженно выражал всячески свою любовь, что я невольно стала относиться к нему внимательнее.

— Вот, вот, вот! Именно! Именно, — перебила слушательница.

— Что «именно»? — удивилась рассказчица.

— Нет, ничего, это я так.

— Ну, так вот, стала я относиться к нему внимательнее. А тут Мари подливает масла в огонь: «Повр[1] Эмиль! Умирает, мол, повр Эмиль. И такой чудный человек, и состоятельный, а ты одинокая, кто о тебе позаботится, выходи за повр Эмиля». А Эмиль каждый вечер после обеда настоятельно требует брака. И эта настоятельность стала меня трогать. Он начал мне нравиться.

— Вот-вот! — перебила слушательница.

— Что такое «вот»? Чего ты все пищишь?

— Ничего, ничего, это я так.

— Муж Мари тоже очень меня уговаривает. И, представь себе, стала я замечать, что этот самый Эмиль начинает мне очень даже нравиться. Но все-таки на брак решиться еще не могла. Хотелось проверить и себя, и его. Вернее, только себя, потому что в нем сомневаться было бы прямо смешно. И страдает, и блаженствует, и черт его знает что — прямо какая-то смесь Ромео с Джульеттой. Долго я его томила, наконец, сказала: «Мне кажется, что я смогу вас полюбить». Так он — ты представить себе не можешь! — прямо плакал. Он от восторга кинулся целовать Мари. Меня не смел, так ее. И смешно, и трогательно. И тут же решил выписать в Париж

---

[1] Бедный (от *фр.* pauvre).

родителей, чтобы познакомить меня. Муж Мари объяснил мне, что родители у него состоятельные, и он хотел непременно жениться с их одобрения.

— И вечно они с этими родителями! — перебила слушательница и тут же прибавила: — Ничего, это я так.

— Родители у Эмиля оказались премилые, такие какие-то старинные, трогательные, особенно мать. Она меня сразу заобожала. Целые дни были мы вместе. То она у нас в магазинчике сидит, то я у нее. Такая душевная была, такая чуткая, так все понимала. И ей понравилось, что я не сразу дала Эмилю согласие, что хотела сначала проверить и себя, и его. Словом, такая была милочка, что я прямо в нее влюбилась и даже прослезилась, когда она уехала. Расставались ненадолго, потому что через месяц она обещала приехать на свадьбу. Мой Эмиль ликовал, сиял и прямо исходил восторгом. Мои милые Ружо не нарадовались на нас. Мари помогала мне в свадебных хлопотах, делала подарки и была счастлива моим счастьем.

И вот однажды, в один проклятый прекрасный день сидели мы вдвоем с мосье Ружо, ждали Мари к завтраку. Я зашла к ней в спальню попудриться и вижу — на столе шкатулочка. Шкатулочка приоткрыта и торчит из нее письмо. Бумажка синяя, такая, как у Эмиля. Почерк тоже как будто Эмиля. Невольно взглянула и вижу — действительно его почерк. Конечно, это меня ничуть не удивило, потому что они старые знакомые, почему бы ему и не написать ей. Но как на грех в той строчке, которая была мне отчетливо видна, стояло мое имя: «Бедненькая Наташа», — прочла я и заинтересовалась. Почему я вдруг «бедненькая»? Любопытство погубило Еву. Я потянула письмо за уголок, вытянула и прочла. Сначала одну эту фразу про «бедненькую Наташу», потом все письмо. Письмо было такого содержания, что сомнений никаких оставить не могло. Этот самый «повр Эмиль», безумно и счастливо влюбленный жених, с этой самой милой моей подругой Мари только что развели самый определенный романчик под самым моим носом. Романчик был совсем свеженький, длился всего дней десять.

«Будь осторожна, — просил мой нежный жених, — чтобы бедненькая Наташа, которую я так люблю, не огорчалась нашей связью».

Все это было так неожиданно, так дико, что я... Я не знаю, что со мной сделалось. Я лишилась сознания. Долго ли я пролежала — не знаю, но когда открыла глаза, вижу — стоит около меня мосье Ружо и с большим интересом читает это самое проклятое письмо. А я хочу встать — и не могу. У меня отнялись ноги.

Он прочел, покрутил головой.

— Милочка, — говорит, — как вы меня испугали. Это с вами часто так бывает, что вы в обморок падаете?

А я кричу:

— Отдайте, отдайте мне это письмо! Не смейте его читать!

А он брови поднял, удивляется:

— Так это, — говорит, — вы из-за такого пустяка в обморок падаете?

Обнял меня, поднял, усадил на диван, гладит по голове, целует. А я разливаюсь, плачу. Как теперь жить? Все рухнуло.

А он смеется.

— Пустяки, — говорит. — Посердитесь немножко, это полезно, а потом забудьте.

А я возмущаюсь:

— И это говорите вы. Ведь он же с вашей, с вашей женой мне изменил!

А он машет рукой.

— Ну и тем лучше. Он вам изменил с моей женой, а вы ему измените со мной. Вот всем и будет хорошо.

Я тут как заору, в полной истерике. И бежать.

Дома заперлась, целую неделю не выходила. Письма всем написала. Эмилю отказ, Мари упрек, Ружо проклятие. Но главное письмо — старухе, Эмилевой матери. Все ей объяснила и сердечно и трогательно с ней попрощалась. Ответа от нее не получила.

Через неделю пришлось все-таки пойти в магазин. Нельзя. Дела. Встретились мы с Мари странно. Она с легкой насмешечкой, точно я зря надурила. Понемножку разговорила меня. Бросила вскользь, что Эмиль стреляться хотел, что вообще так разумные женщины не поступают, что нельзя падать в обморок с компрометирующим письмом в руках, что это даже непорядочно, но что она меня любит и поэтому

прощает причиненные ей неприятности, но что, конечно, после моего (моего!) ужасного поступка прежней дружбы между нами быть не может. Потом появился Эмиль. Он рыдал, бился об стенку головой, сначала затылком, потом лбом. Я была неумолима. Но, увы, недолго! Он как-то сумел меня убедить. Я простила. Все как будто снова наладилось, но тут пришло письмо от его матери. Письмо было адресовано ему, потому что с такой женщиной, как я, ей не о чем и разговаривать.

В письме к сыну она категорически запрещала ему на мне жениться, потому что, если я способна поднять такую историю из-за пустяков, то что же будет дальше? Что это будет за жизнь? «Она вечно будет валяться в обмороках и компрометировать своих приятельниц — всеми уважаемых женщин».

Эмиль был очень грустен. Говорил, что он рассчитывает на смягчающие влияние времени. Мать передумает. Но пока мать передумывала, он женился на другой.

— Вот и все? — спросила слушательница. — Ну, мой роман был гораздо забавнее. Вот я его тебе расскажу. Я расскажу, только очень уж все это глупо. Если бы в комнате было светло, так мне на тебя и взглянуть было бы стыдно.

— Ничего. Мы с тобой старые приятельницы. Лампы я не зажгу. Посумерничаем еще немножко. Ну-с? С кем же у тебя был роман? Тоже с французом?

— Нет. Ни за что не угадаешь. С румыном!

— Ну и угораздило же тебя! Неужели влюбилась?

— Еще как! Прямо трагедия. Ха-ха-ха!

— Трагедия, а хохочешь, — удивлялась приятельница. — Или это у тебя истерика?

— Ах, милочка, если бы ты знала, до чего смешно! Ведь я отравлялась.

— Чего же тут смешного?

Если бы в комнате было светло, мы увидели бы, что та, которая отравлялась, была толстенькая брюнетка с живыми черными выпуклыми глазами, в аккуратных завитушечках, в дешевом, но модном платьице, подмазанная, подщипанная, подглаженная, спокойная и довольная. Увидели бы и подумали бы: «Врет! Такие не травятся».

— Чего же тут смешного? — удивлялась приятельница. — Если отравлялась, очевидно, страдала.

— Еще как! Ха-ха-ха! Тем-то и смешно, что страдала.

— Ну так расскажи. Вместе посмеемся, — иронически сказала приятельница.

— Ну-с так вот, милая моя. Работала я тогда в институте де ботэ[1] у мадам Ферфлюх. Работали мы хорошо. А дело это, знаете ли вы, очень психологическое. Вы думаете, так просто: помазала, потерла, да и готово. Нет, милая моя, этого далеко не достаточно. Особенно если клиентка пожилая, с разными сердечными разочарованиями. Тут необходим душевный разговор. Еще пока ей брови щиплешь, тут можно и молчать, потому что ей больно, она кряхтит. Когда по́ры чистишь, тоже момент, к разговору не располагающий. Дело, так сказать, почти что медицинское. Ну а когда до самой ботэ дойдешь — крем, лосьон, краски, пудры, — тут у каждой женщины душа открывается. И почему это так — откровенно говоря, не могу себе объяснить, но только это факт, и можете справиться у любой массажистки по части лица. Прямо иногда диву даешься, что они, эти клиентки, рассказывают! Казалось бы, под пыткой такого не расскажешь. Если бы я все записывала, так прямо романов на несколько томов хватило бы. Да еще каких!

И вот, была у меня одна клиентка, довольно молчаливая. Я грешным делом думала, что она просто от старости молчит.

Маленькая была старушонка, щупленькая, носик востренький, щечки подтянуты и к вискам пришиты, а из-под подбородка кожица за ушами пришпилена. Хорошая была клиентка, на чаевые не скупилась. Платила, впрочем, не сама, — за нее лакей расплачивался. Как сеанс кончен, лакей подходил, заворачивал ее в шубу и относил в автомобиль. Прямо на руках. Уж очень она уставала. Лежит, бывало, я ей ресницы подклеиваю, а она рот приоткроет — черный рот, страшный, щеки обтянутые — и захрапит. Засыпала от усталости. Очень утомительную жизнь вела. Визиты, примерки, чай, обеды, концерты, спорт. Да, да — спорт. Ездила в гольф играть. Подумать только! В такие годы и такую муку на себя брала.

[1] Институте красоты (от *фр.* Institute de beauté).

И вот как-то явилась она в совсем особом настроении. Подвинченная какая-то, улыбается, жантильничает. Заказала всяких кремов и красок — едет в Америку.

И вдруг, совершенно неожиданно, хватает меня за руку.

— Милочка! — говорит. — Если бы вы знали, как мне не хочется уезжать! Именно теперь. Но муж требует, чтобы я сейчас же приехала. Какие-то дела. Наверное, все пустяки. А мне сейчас хочется остаться здесь. Вы меня понимаете?

Ну конечно, такую клиентку всегда полагается понимать.

Я вздохнула и говорю:

— О, как я понимаю!

А что такое надо понимать, хоть убейте, не знаю.

А она прямо затрепетала.

— Я, — говорит, — познакомилась с ним два дня тому назад и решила — пригласить его вести мои здешние дела. Ах, если бы вы знали! Если бы вы только знали! Это не какой-нибудь мальчишка из дансинга. Это само благородство. Это ум! Это сердце! Это брюнет. И я не успела даже сговориться с ним насчет его обязанностей, как вот приходится бросать все и спешно ехать. Но я вернусь, я скоро вернусь.

И не успела она излить мне свою душу, как в нашу кабинку постучали и сказали, что клиентку мою хочет видеть какой-то мосье Пьер.

Она даже задохнулась.

— Это он! — шепчет. — Это он!

И вошел в комнату молодой человек, довольно красивый, только какой-то весь чересчур. Понимаете? Чересчур бел, чересчур румян, малиновые губки, волосы черные аж досиня, брови круглые — прямо какая-то малороссийская писанка. Но все-таки красивый. Страшно любезный. Привез старухе какие-то билеты от какой-то дамы. Был на дому, узнал, что она здесь, а так как дело спешное, то разрешил себе, и так далее.

Старуха моя так и завибрировала.

Он ее под ручку ухватил и умчал.

Ну, умчал и умчал — мне-то что.

Но вот дня через два является этот самый Пьер и прямо ко мне. Извиняется очень почтительно и спрашивает, не забыла ли здесь мадам Вуд свои перчатки.

— Разве, — спрашиваю, — она не уехала?

— Нет, — говорит, — она на другое же утро уехала и вот поручила узнать насчет перчаток.

Я велела шассеру поискать, спросить в кассе.

А мосье Пьер смотрит на меня и так странно улыбается.

— Вам, — говорит, — наверное, ужасно здесь скучно, при вашей исключительной внешности.

Я приняла достойный вид.

— Ничуть, — говорю. — Я очень люблю работать.

А он опять:

— При такой постоянной усталости необходимо развлекаться, иначе можно совершенно перегрузить нервы. Может быть, — говорит, — разрешите зайти за вами насчет кинематографа.

Я согласилась, однако с большим достоинством.

Он страшно обрадовался и кричит шассеру:

— Перчаток не ищите, я их уже нашел.

Тут я поняла, что он все это выдумал, чтобы меня повидать.

Признаюсь — очень меня это зацепило. Вот, думаю, вращается человек в таком пышном американском кругу и вдруг так на мою внешность реагировал.

Ну и пошло, и пошло.

Стал у меня бывать. И все, как говорится, «любите ли вы меня, да любите ли вы меня».

Я, по нашей русской манере, ни да ни нет, полна загадочности, хоть ты издыхай.

Он совсем истомился.

— Елена, — говорит, — вы святая. Вы святая Елена, и я погибну, как Бонапарт.

Месяца два проманежила я его, наконец говорю:

— Скорее да, чем нет.

Он, конечно, совсем обезумел.

— В таком случае, — говорит, — разрешите принести пирожных.

Принес, да по рассеянности сам все и съел.

И между прочим выяснилось, что фамилия его — трудно поверить! — Курицу. Может быть, по-румынски это и очень шикарно. Может быть, по-румынски это Мусин-Пушкин-Шаховской и Гагарин. Почем мы знаем. Конечно, ужасно, но я так влюбилась, что и Курицу проглотила.

А он стал напирать на брак. Вот тут мне мысль о Курицу показалась невеселой, ну да уж не до того было.

Занимался он комиссионными делами. Зарабатывал, кажется, недурно. Впрочем, относительно этого ничего толком не знаю.

А он уж приходит настоящим женихом и даже сделал мне подарочек самого семейного духа. Подарил мне электрический утюжок. Очень мило. Мы его всегда вместе в передней в шкапчик прятали.

Так все, значит, идет к своему блаженному концу. И вот как-то, вспоминая нашу первую встречу, говорю я ему:

— А по-моему, Пьеруша, эта старая ведьма была в вас влюблена, и были у нее на вас особые цели.

Он от негодования даже покраснел:

— С чего вы это взяли? Вы все это выдумали.

Я ему рассказала, как она мне о ком-то намекала, с кем только что познакомилась.

Он очень подробно расспрашивал, видимо, очень был возмущен моим предположением. Я старалась шуткой загладить неприятное впечатление, но он стал какой-то рассеянный, задумчивый, очевидно, сильно на меня обиделся. И, представь себе, с того самого случая словно что-то надломилось. Стал реже бывать, о свадьбе молчит. А я, как часто в таких случаях бывает, тут-то и уцепилась. Словно он мне проволокой зуб зацепил — чем дальше тянет, тем мне больнее. Чего я только не делала — и равнодушие на себя напускала, и плакала, и цыганские романсы пела. Нет. Ничего не берет. Отходит от меня мой Курицу. Извелась я вконец.

Вернулась моя американка, пришла красоту наводить. Веселая. Подарила сто франков.

Я говорю нашим:

— Старуха-то наша что-то распрыгалась.

А хозяйка смеется.

— У нее, — говорит, — жиголо. Тот румяный, что к ней сюда перед отъездом прибегал. Я их в автомобиле постоянно встречаю и два раза в ресторане видела.

Я еле часы свои досидела, еле домой приплелась. Написала ему: «Когда прочтете эти строки, приходите, и я сама, молча, скажу вам «прощай».

Послала пневматичкой, а сама достала баночку крысиного яду, накатала пилюлек и проглотила. Реву и глотаю. И жизни не жалко. Придет — думаю — и поймет, что значит «молча, скажу прощай».

И дрянь же этот крысиный яд. Целые сутки наизнанку меня выворачивало. А он, подлец, пришел только через несколько дней. Сидел в профиль, плел какую-то ерунду, что его родители не любят женатых детей. Я разливалась — плакала.

Потом встал, сказал, что мой образ всегда будет перед его духовными очами, но что он слишком благороден, чтобы сделать меня несчастной, подвергнув мести его родителей.

Ушел эффектно, закрыв глаза рукой.

Я распахнула окно и стала ждать. Как только выйдет из подъезда — выброшусь на мостовую. Вот. Пусть.

А он что-то замешкался в передней. Слышу — скрипнул шкапчик. Что бы это могло значить? Входная дверь щелкнула. Ушел! Но что же он такое делал? Почему открывал шкапчик?

Я бросаюсь в переднюю. Открываю шкапчик... Милые мои! Ведь это... ведь это повторить невозможно! Он свой утюжок унес! утю-жо-ок!

Веришь ли, я прямо на пол села. До того хохотала, до того хохотала, и так мне легко стало, и так хорошо.

— Господи, — говорю, — до чего же чудесно на Твоем свете жить! Вот и теперь, как вспомнила, ха-ха-ха, как вспомнила, то, наверное, до утра прохохочу. Утюжок! Утю-жо-ок! Я бы бахнула на мостовую, череп вдребезги, а у него в руках утюжо-ок! Картина!

Эх, милая моя, такое в жизни бывает, что и нарочно не выдумаешь.

Выбор креста

Есть такая новелла: «Выбор креста».

Человек изнемог под тяжестью своего креста, возроптал и начал искать другой крест. Но какой бы он ни взваливал

на свои плечи — каждый оказывался еще хуже. То слишком длинный, то слишком широкий, то остро резал плечо. Наконец, остановил он свой выбор на самом удобном. Это и оказался его собственный, им отвергнутый.

А вспомнилась нам эта новелла вот по какому случаю.

* * *

Ермилов очень уважал свою жену, свою Анну. Это была удобная жена, в меру заботливая, неглупая. Но когда он встретил Зою Эрбель, он даже удивился, как мог прожить столько лет с этой прозаической Анной.

Анна была недурна собою, крупная, ширококостная, с большими руками и ногами, свежим лицом. Одевалась просто, любила английские блузки, башмаки на плоских каблуках, мужские перчатки, не красилась, не душилась. Все на свете для нее было ясно и просто. Мистики были для нее неуравновешенными субъектами. Влюбленность — естественным влечением полов.

Поэзия — «ничего, если носит в себе содержание».

С мужем своим она никогда не нежничала, не называла его разными ласковыми или шутливыми именами, но зато очень внимательно следила, чтобы у него было все, что ему нужно, интересовалась его пищеварением, аппетитом, заставляла делать гимнастику и заниматься спортом.

Ермилов спорта не любил, гимнастика ему надоела, надоела за четыре года жизни и сама Анна.

Скучно было с ней.

Скучно было даже то, что в доме всегда был порядок, все вымыто, вычищено, ничего лишнего.

— Точно в солдатском госпитале, — ворчал он.

Когда он в первый раз попал в дом к Эрбелям, он зашел случайно по делу. Его сначала поразила, потом умилила обстановка той комнаты, где ему пришлось ожидать хозяина.

На столе, заваленном ворохом газет и журналов в таком беспорядке, словно кто-то нарочно рыл их, стояла открытая коробка с огрызками конфет, из-под газет выглядывало что-то розовое и свисала вниз резиночка с пряжкой и бантиком. Тут же на газетах валялся раскрытый кошелек.

Мебель в комнате расставлена была как-то нелепо, как попало. Кресло было повернуто спинкой к столу. Один из стульев вплотную лицом к стене.

Из соседней комнаты доносился звонкий женский голосок, который сначала все напевал странную песенку, грустную по содержанию и веселую по мотиву:

Денег нет, денег нет,
Абсолютно денег нет.

Потом такой же голос в отчаянии воскликнул:

— Шурка! Квик опять утащил мой чулок! Шурка! Посмотри за дверью. Я не могу — там чужой дядя сидит.

В ответ послышалась недовольная басовая воркотня вполголоса. Потом снова женский голосок сказал решительно:

— Ну, что ж делать. Я пойду сама, ты пойми, что это единственные мои чулки. Все остальные собака растащила и разодрала. Что? Ну так что же? Не съест он меня, твой деловой человек.

Дверь осторожно открылась, и молоденькая женщина в розовой пижаме, всклокоченная и смущенная, вошла в комнату.

— Простите, — сказала она. — Муж сейчас выйдет. Он пишет... Я здесь забыла...

Она проворно бегала глазами по полу, взглянула на стол и, увидев розовую резиночку, искренне обрадовалась:

— Ах, и это здесь? Хорошо, что я увидела.

И, повернувшись в сторону двери, из которой вышла, закричала:

— Шурка! Не ищи корсета, я его нашла. И чулок на нем.

Она улыбнулась Ермилову самой светской улыбкой, вытащила из-под журнала свой корсет, на котором действительно висел чулок, помахала приветливо рукой, словно из окна уходящего поезда, и захлопнула за собой дверь. Через несколько минут вошел Эрбель, длинный, растерянный. Одной рукой он придерживал ворот своей рубашки и беспомощно искал что-то глазами — очевидно, потерянный галстук.

— Простите, ради Бога! — смущенно сказал он. — Здесь такой хаос. Я сейчас буду готов, и мы можем пойти тут рядом в кафе, там будет удобнее поговорить.

Он развел руками, заглянул за диван и вышел.

Через минуту за дверью раздался его отчаянный вопль:

— Так зачем же ты завязала собаке мой галстук! Это же идиотство, какому имени нет.

А в ответ раздалась декламация:

Оттого, что душе моей имени нет
И что губы мои нецелованы!

Наконец, Эрбель вышел вполне готовый, потыкался по передней, ища шляпу, но очень быстро сам заметил ее под стулом, тряхнул, дунул и открыл дверь на лестницу.

Они уже шагали по тротуару, когда звонкий голосок пропел над ними:

Ты глаза на небо ласково прищурь,
На пьянящую, звенящую лазурь...

Эрбель сердито прибавил шагу, а Ермилов поднял голову и увидел на балкончике второго этажа розовую фигурку, и в ту же минуту что-то мокрое больно щелкнуло его по носу. Это был брошенный розовой фигуркой цветок, очевидно, вытащенный из вазы, где давно сгнил, потому что весь осклиз, раскис и скверно пахнул. Ермилов тем не менее его поднял.

— Это не вам! — кричал сверху звонкий голосок. — Это злому Шурке, любимому моему ангелу.

«Любимый ангел» обернулся и прошипел Ермилову с самой звериной рожей:

— Да бросьте вы эту мерзость! Вы себе весь пиджак испачкали.

Ермилов шел и улыбался.

«Какая удивительная женщина, — думал он. — С такой не соскучишься. Все в ней поет, все в ней звенит...»

* * *

Эрбель отдавал должное своей жене. Она была молода, весела, беззаботна. Как бы скверны ни были их дела, она никогда не ныла и не попрекала его неудачами.

Но зато и поддержки или помощи ждать от нее было нечего. В доме был беспорядок, в котором пропадали бесслед-

но деловые письма, деньги, вещи. Ни для сна, ни для еды определенного времени не было.

Намерения у нее были самые лучшие, и, видя, что мужа мучает ее безалаберность, она даже завела приходно-расходную книгу, на первой же странице которой Эрбель с интересом прочел:

«Выдано на расходы 600 франков. Истрачено 585. Осталось 100, но их нету. Есть только 15».

— Зоечка, — позвал он жену, — что это значит?

— Это? — деловито спросила Зоя. — Это вычитание.

— Какое вычитание?

— Ты такой придирчивый! Так вот, чтобы ты не придирался, я сделала для тебя специально вот здесь, на полях, вычитание. Видишь? Из шестисот вычла пятьсот восемьдесят пять, получилось сто. Но их нету.

— Постой, почему же сто? — удивился Эрбель.

— Как почему? Смотри сам: пять из ноля ноль.

— Почему ноль?

— Да что ты все — «почему» да «почему»? Ясно почему. Ноль означает цифру, у которой ровно ничего нет. Так как же ты будешь от нее что-то отнимать? Откуда же она тебе возьмет?

— Так ведь надо же занять.

— Это ноль полезет занимать? У кого?

— Да у соседней цифры.

— Чудак! Да ведь там тоже ноль. У него у самого ничего нет.

— Так он займет у соседней цифры, — убеждал ее муж.

— И ты воображаешь, что она ему даст. Да и вообще — полезет он занимать специально для того, чтобы отдать тому первому голодранцу. Ну где такие вещи бывают? Даже смешно слушать.

— Одним словом, я вижу, что ты просто-напросто не умеешь делать вычитания.

— Если делать просто механически, конечно, и я смогу. Но если серьезно вдуматься, то все эти займы у каких-то нулей для меня органически противны. Если хочешь, занимайся этим сам, а меня уволь. Теперь вот дал мне тысячу франков. Три нуля. Веселенькая компания. И все полезут к

этой несчастной единице. Ну... одним словом, как хочешь, с меня довольно.

Эрбель вздыхал, брал шляпу, уныло счищал с нее рукавом пыль и уходил из дома.

Когда он в первый раз увидал Анну — жену Ермилова, он был поражен.

— Какая спокойная, милая женщина! Как все с ней ясно, чисто, просто. Отдыхаешь душой.

Он долго сидел у Ермиловых, и ему не хотелось идти домой. Но идти все-таки пришлось, и когда он, войдя в свою переднюю, споткнулся о какой-то развороченный чемодан и услышал из спальной громовую декламацию, он чуть не заплакал.

Дня через два, ожидая к себе Ермилова ровно в три часа, он, вернувшись к двум, застал уже своего нового приятеля. Ермилов сидел верхом на стуле и с упоением кормил собаку шоколадом, а Зоя, подкатав выше колен штаны своей пижамы, плясала пред ним матросский танец.

При виде Эрбеля Ермилов ужасно смутился и, путаясь, стал объяснять, что пришел раньше, потому что надеялся застать Эрбеля дома и, таким образом, больше очистилось бы времени для деловой беседы.

Эрбель совершенно не понял его конфуза.

Зато, когда он на другой день пошел к Ермилову «узнать адрес хорошей переписчицы» именно в тот час, когда хозяин обыкновенно дома не бывает, и на этот раз, в виде исключения, он как раз дома оказался, то Ермилов тоже ничуть этому не удивился.

— Как вы так почувствовали, что я сегодня на службу не пошел? — совершенно искренне спросил он.

Эрбель что-то промямлил, и, когда Анна предложила ему пойти вместе поплавать в бассейне, он согласился так быстро и с таким восторгом, что Ермилов посмотрел на него с презрением.

— Вот никогда бы не мог подумать, что вы любите эту ерунду!

Анна в воде была еще очаровательнее, чем в обычной обстановке. Свежая, сильная, быстрая, спокойно-веселая, она учила Эрбеля нырять и прыгать с доски, держала его уверенной рукой так властно и вместе с тем приветливо.

Они решили плавать каждый день. Иногда ходили к пруду кататься на лодке. И все это было чудесно, и чем дальше, тем чудеснее.

Эрбель всегда провожал Анну домой, они вместе обедали, и часто он оставался у нее весь вечер.

Ермилова почти никогда не было дома.

Но вот как-то случилось так, что Эрбелю должен был кто-то позвонить по делу, и он ушел домой раньше обыкновенного. Открыл дверь своим ключом, заглянул в гостиную и не сразу понял, в чем дело.

В комнате было полутемно, и у раскрытого окна сидела Зоя. Сидела она на чем-то высоком, странно подняв согнутую в локте руку и, покачиваясь, декламировала:

Так люби меня без размышленья,
Без тоски, без думы роковой...

Эрбель с интересом вгляделся и увидел, что то высокое, на чем Зоя сидела, были чьи-то колени, и что согнутая Зоина рука обнимала чьи-то плечи.

Желая точнее узнать, в чем дело, он повернул выключатель, Зоя вскочила и обнаружила растерянного и растрепанного Ермилова, который встал и схватился за голову.

Эрбель сделал успокоительный жест и сказал тоном джентльмена:

— Пожалуйста, не стесняйтесь! Простите, что помешал.

Повернулся и вышел. Он был очень доволен собою и ничуть не чувствовал себя оскорбленным. Разве только слегка удивленным.

— Изменять мне с таким болваном!

— Изменять «ей» с таким ничтожеством!

Пожав плечами и забыв о деловом телефоне — до того ли тут, — полетел он к Анне.

Анна отнеслась к новости довольно безразлично.

— Да они оба исключительно неуравновешенные типы, — сказала она. — Граничащие с дефективностью. Надо, чтобы все прошло бы без эксцессов. Я не люблю ничего вредного. А вы должны уйти, потому что Николай может вернуться и ваша встреча с ним легко вызовет эксцессы.

Несмотря на неприятное впечатление, произведенное дважды повторенным словом «эксцессы», Эрбель нашел в себе силы взять Анну за руку и сказать:

— Анна! Я рад, что так случилось. Я рад, что вы и я теперь свободны. Понимаете ли вы меня?

Анна поняла.

— Да, — деловито сказала она. — Разумеется, в этом есть своего рода удобство. Я имею в виду ваше влечение ко мне. Но, с другой стороны, все это нарушает спокойный ход жизни.

— Анна, я люблю вас! — сказал он. — Я хочу соединить наши ходы, то есть жизни, то есть ход жизни. Одним словом — вот.

* * *

Все наладилось.

Эрбель с восторгом переехал в квартиру Ермилова. Ермилов покорно перебрался к Зое.

И время пошло.

* * *

Как именно шло время, мы не знаем, но года через три пришлось Ермилову пойти по делу к Эрбелю.

Созвонились, и в назначенное время Ермилов вошел в знакомый подъезд.

С удивлением прислушиваясь к своему настроению, поднимался он по лестнице.

— Я как будто жалею! — усмехнулся он.

Знакомая передняя. Все как было. Все так же чисто и светло, и так же ничего лишнего. Вот только на вешалке чужое мужское пальто. Но ведь за последнее время пред их разлукой он привык видеть на вешалке чужое пальто. Только тогда это было безразлично, а теперь почему-то грустно.

Встретила его Анна, все такая же крепкая и свежая.

— Здравствуй, Николай, — сказала она спокойно. — Тебе придется подождать. Александра никак нельзя приучить к аккуратности. Это вообще тип, не поддающийся культуре.

Ермилов сел в то самое кресло, в котором и обычно сидел в былые времена.

Анна взглянула на часы.

— Через двадцать пять минут мы можем выпить чаю.

Он вспомнил ее аккуратность в распределении времени.

«Это выходило несколько суховато, — подумал он. — Но зато как удобно!»

Эрбель так и не вернулся к назначенному времени.

— Позвони домой, — посоветовала Анна. — Он, наверное, все перепутал и сам пошел к тебе. Это олицетворенная бестолочь, — прибавила она с раздражением.

Но Ермилову звонить домой не хотелось.

— Тогда оставайся обедать, — предложила Анна. — Я так рада, что вижу тебя.

Он удивился и обрадовался, и с удовольствием пообедал за хорошо сервированным столом, потом сел в свое любимое кресло и машинально протянул руку за газетами.

Потом Анна стала деловито и толково расспрашивать его о делах.

Он испытывал чувства человека, вернувшегося после занятного, но утомительного и надоевшего путешествия к себе домой. Хотелось потянуться, зевнуть и сказать с довольной улыбкой:

— Ну вот, теперь можно отдохнуть, да и за дело.

Домой он попал поздно. Еще на лестнице слышал, как Зоя поет какую-то ерунду, и брезгливо сморщился.

— Не женщина, а какая-то птичья дура.

Вошел и остановился.

На ковре сидел Эрбель, а на диване Зоя. Эрбель положил голову ей на колени и обеими руками обнимал ее за талию.

— Пожалуйста, не стесняйтесь, — спокойно сказал Ермилов. — Простите, что помешал.

Повернулся и вышел.

Вышел и пошел к Анне.

И всю дорогу старался вспомнить, где это он слышал эту гордую и благородную фразу, которую только что с таким шиком произнес.

Но так и не вспомнил.

Точки зрения

Был обычный парижский воскресный день начала лета.

Ни жарко, ни холодно.

Как всегда, парижский плебс понесся по всем дорогам и всеми способами — в трамваях, автобусах, автомобилях и по железным дорогам — вон из города.

Василий Петрович Капов вывел Татьяну Николаевну Рыбину на прогулку.

Он — высокий, худощавый, тусклой окраски, молчаливый, любит, стиснув зубы, шевелить желваками скул.

Она — плотненькая, не чересчур молодая, окраски произвольной золотистой. Выражение лица обиженное.

Идут.

1. Ее прогулка

Ужасный день!

Что может быть отвратительнее парижского воскресенья!

От реки дует. Дует, может быть, и в будний день, но тогда это не так заметно. В будний день Татьяна Николаевна бежит на службу или со службы, спешит, торопится — до погоды ли ей. А сегодня, в воскресенье, когда она на улице, так сказать, для собственного удовольствия, эта отвратительная погода раздражает и злит.

Солнце светит — неприятно светит. Сеет на носы веснушки и больше ничего. И ветер. И иди как дура и радуйся.

И что это за манера непременно идти гулять. Следовало бы хоть немножко считаться с ее вкусами. Ну как не понять, что ей хочется в синема. Она, конечно, человек деликатный и прямо этого высказать не может. Во-первых, потому, что, может быть, у него мало денег, а во-вторых, это слишком явно покажет, что ей с ним скучно, что говорить с ним не о чем и что он ей надоел, а если он это поймет, конечно, сейчас же начнутся упреки и трагедии, появится какой-нибудь ржавый револьвер, как у Ивана Николаевича, и будет он вертеть этим револьвером то перед своим, то перед ее носом. Что может быть хуже истерических мужчин! А он — истерик. Он именно из тех, которые с особенным смаком терзаются. С ним надо быть осторожной.

Скучно гулять. Но все же лучше, чем сидеть в крошечной комнатушке и от нечего делать полировать себе ногти, а он будет курить или шлепать пасьянс. О-о-о! И за что! За что весь этот ужас?

Она остановилась на мосту и долго смотрела через перила, как бежит и кружится вода.

— Пойдем, — сказал он. — Не надо так смотреть.

Он как будто что-то понял. Неужели он догадывается? Надо быть осторожной. У него какой-то странно напряженный взгляд. И за что он так безумно полюбил ее?

Ну что ж, она со своей стороны делает все, что может. Вот сейчас, в воскресенье, вместо того чтобы пойти к Варе Валиковой, у которой, наверное, собрался народ (Господи! ведь все веселее этой идиотской прогулки), — она должна тащиться, как коза на веревке, за этим врожденным самоубийцей.

— Может быть, зайдем в кафе? — спрашивает он.

— Нет, мерси, — отвечает она. — Лучше погуляем.

Зайти в кафе — это значит сидеть в душной, пропахшей табаком и пивом атмосфере, смотреть, как играют в беллот добродетельные мелкие буржуа. а их жены сидят рядом и тупо засматривают им в карты. А ее кавалер заведет тягучий разговор, абсолютно ей не интересный.

Сказать бы ему прямо:

— Я знаю, я верю, что вы любите меня, но я-то, я-то вас не люблю. Поймите это и оставьте меня, без трагедии и без смертей.

Вот они переходят через улицу, и он взял ее под руку.

«Он ищет случая дотронуться до меня, — думает она с отвращением. — Как ужасна эта примитивная страсть!»

— Может быть, вы хотите пойти в синема? — вдруг спрашивает он, и она видит на его лице странное выражение не то мольбы, не то отчаяния. Вероятно, он хочет доставить ей удовольствие и боится, что она согласится, потому что это будет значить, что ей скучно с ним и говорить не о чем.

— Нет, — говорит она, — я с удовольствием пройдусь еще немного. А в синема нельзя ни видеть друг друга, ни разговаривать.

Вот! Больше жертвовать собою, чем она жертвует, уже невозможно. И все из жалости, все из страха, как бы этот

слюнявый неврастеник, выродок, провались он пропадом, не покончил с собой.

Надо бы поговорить о чем-нибудь.

— Посмотрите, какой милый песик бежит, — сказала она, страдальчески улыбнувшись.

— Н-да, — отвечал он. — Бежит, чего ему делается.

Она поняла, что ему неприятен этот пустой разговор о песиках.

«Но ведь нельзя же все время бубнить о своих чувствах! — молча возмущалась она. — Уж очень он простецкий тип. Он не может поддерживать даже самого простого разговора. И как могла я допустить нашу близость. Где были мои глаза!»

— Помните нашу первую встречу у Беликовых? — невольно спросила она.

По лицу его пробежала судорога.

— Гм... — ответил он и чуть-чуть покраснел.

— Что значит «гм»? — раздраженно спросила она. — Вам не хочется со мной разговаривать?

Он испуганно подхватил ее под руку.

— Что вы, что вы! Напротив, страшно хочется. Ужасно хочется. Прямо безумно хочется.

Какой истерик!

— Ну так чего же вы молчите, когда вас спрашивают?

— Я просто как-то не сообразил, что ответить. То есть не то что ответить, а как ответить. Словом, растерялся. Ради Бога, не подумайте... Ну просто человек удивился, что вдруг так, на мосту, и прямо, так сказать, как говорится, всколыхнулись воспоминания. Дорогая, вы как-то странно на меня смотрите, вы точно не верите мне. Вы же знаете...

— Знаю, знаю, все знаю, — с раздражением перебила она. — Проводите меня домой, у меня голова болит.

— Нет, здесь что-то не то, — взметнулся он. — Я чувствую, что здесь не то. Вы, очевидно, меня не так поняли. Вы ведь не можете сомневаться в моем чувстве к вам? — воскликнул он с отчаянием.

— Да нет же, нет, верю, верю, — с раздражением отвечала она и, вздохнув, прибавила: — Проводите же меня домой.

У дверей своего дома она внимательно вгляделась в его расстроенное лицо и вдруг с отчаянием повернулась к нему и поцеловала его в лоб.

— До свиданья. Приходите скорей, — буркнула она, с ужасом глядя, как от ее поцелуя он весь расцвел, порозовел и бодрой, молодцеватой походкой зашагал по улице.

2. Его прогулка

Какой чудесный день! От реки легкий ветерок, солнце весенне-яркое. Прелесть! Если бы можно было провести этот день как хочется! Без всяких идиотских романов, вздохов и психологии, а просто сговориться бы, скажем, с Мишкой Петуховым да пойти пешком, скажем, в Сен-Клу, там в каком-нибудь кабачке закусить, дернуть по рюмочке-другой-третьей коньячку, отвести душу, поругать скаредов Поршевичей, мошенника Борискина, дуру Клопотову, все просто, душевно, уютно и радостно.

А тут эта пава насандалилась и выступает. Непонятая натура! Нудная, как разваренная телятина. Идет и молчит. А ведь не зайди за ней в воскресенье, таких истерик наделает, что за неделю не расхлебаешь. А может быть, и ничего? Надо как-нибудь храбрости набраться, да и ляпнуть сразу. Один конец. Повесится? Да, это именно такой тип. И смерть, наверное, выберет самую мерзкую, с высунутым языком. Ну вот и води ее, как серб обезьяну.

Она остановилась на мосту и стала смотреть на воду.

«Какой у нее унылый нос, — подумал он с отвращением. — И чего уставилась? Наверное, мысли о самоубийстве и прочая истерия. Вот навязалась!»

— Пойдем, — сказал он. — Не надо так смотреть.

Какая тоска! И с каждым шагом раздражение все увеличивается.

— Зайдем в кафе, — предлагает он.

Она отказывается. Назло, конечно. И чего она злится? Изволь ей все время в любви изливаться. Ведь родятся же такие Иродицы!

Она мельком взглянула на него, и он с испугу схватил ее под руку. Предложил пойти в синема. Не хочет. Ну и черт с ней.

Идут.

Невыносимо идут. Прямо зареветь можно.

— Посмотрите, песик бежит! — вдруг умилилась она.

«Ах ты старая перечница, — думает он. — «Песик бежит», нежности какие! «Песик». Какая, подумаешь, деточка, никогда не видала, как собака бежит. Прямо за человека стыдно».

А рожа у нее, между прочим, презлая. Ну да все равно, только бы не перешла на нежности.

— А помните нашу первую встречу?

Трах! Вот оно, началось!

Его так и передернуло. Заорать бы на всю улицу: «Помню, черт тебя дери, эту встречу. По-о-омню!» Уф, даже в жар кинуло. Что она там стрекочет?

— Вы не хотите разговаривать, и тра-та-та, и тра-та-та...

Ну, пошло! Успокою ее, как могу. Вот навязал себе на шею! Голова болит? Ну и слава Богу. Только бы не заманила к себе пасьянсы шлепать. И зачем столько ерунды на свете? Столько глупой-глупой ерунды!

У подъезда она вдруг поцеловала его в лоб.

— Дорогая, — пробормотал он, но, кажется, она не слышала. Ну и пусть не слышала. К черту! Какое счастье, что у людей иногда голова болит! Какой простор, что болит, то есть простор для другой головы, которая не болит.

Куда теперь? Да никуда. Просто вот так пошагать пешком вдоль набережной. Что за прелестный вечер! А ведь придется завтра же зайти. А то, кто ее знает, еще повесится. Право, никогда ни одной минуты нельзя быть спокойным с таким типом. Я человек добрый, мне это тяжело. Хотя, может быть, — вот грешная мысль! — может быть, так было бы и не хуже.

Банальная история

Это, конечно, случается довольно часто, что человек, написав два письма, заклеивает их, перепутав конверты. Из этого потом выходят всякие забавные или неприятные истории.

И так как случается это большею частью с людьми рассеянными и легкомысленными, то они как-нибудь по-

своему, по-легкомысленному, и выпутываются из глупого положения.

Но если такая беда прихлопнет человека семейного, солидного, так тут уж забавного мало.

Тут трагедия.

Но, как ни странно, порою ошибки человеческие приносят человеку больше пользы, чем поступки и продуманные, и разумные.

История, которую я хочу сейчас рассказать, случилась именно с человеком серьезным и весьма семейным. Говорим «весьма семейным», потому что в силу именно своих семейных склонностей — качество весьма редкое в современном обществе, а потому особо ценное — имел целых две семьи сразу.

Первая семья, в которой он жил, состояла из жены, с которой он не жил, и дочки Линочки, девицы молодой, но многообещающей и уже раза два свои обещания сдерживавшей, — но это к нашему рассказу не относится.

Вторая семья, в которой он не жил, была сложнее.

Она состояла из жены, с которой он жил, и, как это ни странно, — мужа этой жены.

Была там еще чья-то маменька и чей-то братец. Большая семья, запутанная, требующая очень внимательного отношения.

Маменьке нужно было дарить карты для гаданья и теплые платки. Мужу — сигары. Братцу давать взаймы без отдачи. А самой очаровательнице Виктории Орестовне разные кулончики, колечки, лисички и прочие необходимости для женщины с запросами.

Особой радости, откровенно говоря, герой наш не находил ни в той, ни в другой семье.

В той семье, где он жил, была страдалица-жена, ничего не требовавшая, кроме сострадания и уважения к ее горю, и изводившая его своей позой кроткой покорности.

— Леди Годива паршивая!

Кроме того, в семье, где он жил, имелась эта самая дочка Линочка, совавшая свой нос всюду, куда не следует, подслушивающая телефонные разговоры, выкрадывающая письма и слегка шантажирующая растерянного папашу.

— Папочка! Ты это для кого купил брошечку? Для меня или для мамочки?

— Какую брошечку? Что ты болтаешь?

— А я видела счет.

— Какой счет? Что за вздор?

— А у тебя из жилетки вывалился.

Папочка густо краснел и пучил глаза.

Тогда Линочка подходила к нему мягкой кошечкой и шепелявила:

— Папоцка! Дай Линоцке тлиста фланков на пьятице. Линоцка твой велный длуг!

И что-то было в ее глазах такое подлое, что папочка пугался и давал.

В той семье, где он не жил, у всех были свои заученные позы.

Сама Виктория «любила и страдала от двойственности». Ее муж, этот кроткий и чистый Ваня, не должен ничего знать. Но обманывать его так тяжело.

— Дорогой! Хочешь, лучше умрем вместе?

Папочка пугался и вез Викторию ужинать.

Поза чистого Вани была такова: безумно любящий муж, доверчивый и великодушный, в котором иногда вдруг начинает шевелиться подозрение.

Поза братца была:

— Я все понимаю и потому все прощаю. Но иногда моральное чувство во мне возмущается. Моя несчастная сестра...

Для усыпления морального чувства приходилось немедленно давать взаймы.

Поза маменьки ясно и просто говорила:

— И чего все ерундой занимаются. Отвалил бы сразу куш, да и шел бы к черту.

Все детали этих поз, конечно, герой этого печального романа не улавливал, но атмосферу, неприятную и беспокойную, чувствовал.

Но особенно неприятная атмосфера создалась за последнее время, когда к Виктории зачастил какой-то артист с гитарой. Он хрипел цыганские романсы, смотрел на Викторию тухлыми глазами, а она звала его гениальным Юрочкой и несколько раз заставляла папочку брать его с ними в рестораны под предлогом страха перед сплетнями, если будут часто видеть их вдвоем.

Все это папочке остро не нравилось. До сих пор было у него хоть то утешение, что он еще не сдан в архив, что у него «красивый грех» с замужней женщиной, и что он заставляет ревновать человека, значительно моложе его. А теперь, при наличности гениального Юрочки, который, кстати, уже два раза перехватывал у него взаймы, — красивый грех потерял всякую пряность. Стало скучно. Но он продолжал ходить в этот сумбурный дом, мрачно, упрямо и деловито, — словно службу служил.

Странно сказать, но ему как-то неловко было бы перед своими домашними вдруг перестать уходить в привычные часы из дому. Он боялся подозрительных, а может быть, и насмешливых, а то еще хуже — радостных взглядов жены и ехидных намеков Линочки.

В таких чувствах и настроениях застали его рождественские праздники.

Виктория разводила загадочность и томность.

— Нет, я никуда не пойду в сочельник. Мне что-то так грустно, так тревожно. Что же вы молчите, Евгений Павлыч? Вы слышите — я никуда не хочу идти.

— Ну что ж, — равнодушно отвечал папочка. — Не хотите, так и не надо.

Глазки Виктории злобно сверкнули.

— Но ведь вы, кажется, что-то проектировали?

— Да, я хотел предложить вам поехать на Монмартр.

— На Монмартр? — подхватил гениальный Юрочка. — Что ж, это идея. Я бы вас там разыскал.

— А бедный Ваня? — спросила Виктория. — Я не хочу, чтобы он скучал один.

— А я свободен, — заявил братец. — Я мог бы присоединиться.

— А я могла бы надеть твой кротовый балдахин, — неожиданно заявила маменька.

— Да, но как же бедный Ваня? — настойчиво повторяла Виктория. — Евгений Павлович! Я без него не поеду.

«Ловко, — подумал Евгений Павлович. — Это значит, волоки все святое семейство. Нашли дурака».

— Ну, что же, голубчик, — нежно улыбнулся он, — если вам не хочется, то не надо себя принуждать. А я, хе-хе, постариковски с удовольствием посижу дома.

Он взял ручку хозяйки, поцеловал и стал прощаться с другими.

— Я вам, то есть вы мне все-таки завтра позвоните! — всколыхнулась Виктория.

— Если только смогу, — светским тоном ответил папочка.

Ему самому очень понравился этот светский тон. Так понравился, что он сразу и бесповоротно решил в нем утвердиться.

На следующее утро, утро сочельника, жена-страдалица сказала ему:

— Ты не сердись, Евгеша, но Линочка позвала сегодня вечером кое-кого. Разумеется, совершенно запросто. Тебя, конечно, дома не будет, но я сочла нужным все-таки сказать.

— Почему ты решила, что меня не будет дома? — вдруг возмутился Евгений Павлович. — И почему ты берешь на себя смелость распоряжаться моей жизнью? И кто, наконец, может мне запретить сидеть дома, если я этого хочу?

Выходило что-то из ряда вон глупое. Страдалица-жена даже растерялась. Ее роль была стоять перед мужем кротким укором. Теперь получалось, что он ее укоряет.

Она почувствовала себя в положении примадонны, у которой без всякого предупреждения отняли всегда исполняемую ею роль и передали артисту совершенно другого амплуа.

— Господь с тобой, Евгеша, — залепетала она. — Я, наоборот, страшно рада...

— Знаем мы эти радости! — буркнул папочка и пошел звонить по телефону.

Звонил он, конечно, к Виктории, но подошел к аппарату братец.

— Передайте, что очень жалею, но едва ли смогу вырваться.

— То есть как это так? — грозно возвысил тон братец. — Мы уже приготовились, мы, может быть, отклонили массу приглашений! Мы, наконец, затратились.

Папочка затаил дыхание и тихонько повесил трубку. Пусть думает, что он уже давно отошел.

Но было тревожно.

Жена ходила по дому растерянная и как-то опасливо оборачивалась, втянув голову в плечи, точно боялась, что

ее треснут по затылку. Шепталась о чем-то с Линочкой, а та пожимала плечами.

Папочка нервничал, поглядывал на телефон и бормотал тихо, но с чувством:

Нет, в этот вырубленный лес
Меня не заманя́т.
Где были дубы до небес,
Там только пни торчат.

При слове «пни» с омерзением представлял себе Викторьину маменьку в кротовом «балдахине».

Вечером страдалица-жена, окончательно потерявшая платформу, попросила его купить коробку килек и десятка три мандаринов.

Он вздохнул и прошептал:

— Теперь уж я на побегушках.

Пошел в магазин, купил мандарины и кильки и, уже уходя, увидел роскошную корзину, выставленную в витрине. Огромная, квадратная. В каждом углу, выпятив пузо, полулежали бутылки шампанского. Гигантский ананас в щитовидных пупырях, словно осетровая спина, раскинул пальмой свой зеленый султан. Виноград, крупный, как сливы, свисал тяжелыми гроздьями. Груши, как раскормленные рыхлые бабы в бурых веснушках, напирали на круглые лоснящиеся рожи румяных яблок.

Потрясающая корзина!

И вдруг — мысль!

— Пошлю этой банде гангстеров. Вот это будет барский жест!

На минуту стала противна ясно представившаяся харя гениального Юрочки, хряпающая ананас. Но красота барского жеста покрыла харю.

Чудовищная цена корзины даже порадовала Евгения Павловича.

— Братец, наверное, справится у посыльного, сколько заплачено. Ха! Это вам не гениальный Юрочка. Это барин, Евгений Павлович.

Папочка достал свою карточку и надписал на ней адрес Виктории.

Но теперь приказчик уже никак не мог допустить, чтобы такой роскошный покупатель сам понес сверток с мандаринами. Он почти силой овладел покупкой и заставил Евгения Павловича написать на карточке свой адрес.

Ну, вот тут, на этом самом месте, и преломилась его судьба. Преломилась потому, что чахлые мандарины и плебейские кильки поехали к гангстерам, а потрясающая корзина прямо к нему домой, и вдобавок так скоро, что уже встретила его на столе в столовой, окруженная недоуменно-радостными лицами страдалицы-жены, подлой Линочки, горничной Мари и даже кухарки Анны Тимофеевны (из благородных).

Потом пришли гости. Кавочка Бусова, веселая Линочкина подруга, подвыпив шампанского, пожала папочке под столом руку.

— Какая цыпочка! — умилился папочка. — И ведь это всего от одного бокала!

И тут же подумал, что был он сущим дураком, тратя время и деньги на нудную Викторию, у которой шампанское вызывало икоту.

— «Нет, в этот вырубленный лес...»

* * *

Виктория долго выдерживала характер и не подавала признаков жизни.

Папочка отоспался, поправился и повеселел. Повел Кавочку в синема.

Наконец, гангстеры зашевелились — пришло письмо от братца.

«Если вас еще интересует судьба обиженной и униженной вами женщины, то знайте, что у ее брата нет весеннего пальто».

Папочка зевнул, потянулся и сказал бывшей страдалице-жене:

— А почему, ма шер[1], ты никогда не закажешь рассольника? Понимаешь? С потрохами?

На что бывшая страдалица, окончательно утратившая прежнюю платформу, отвечала рассеянно и равнодушно:

— Хорошо, как-нибудь при случае, если не забуду.

---

[1] Дорогая (от *фр.* cher).

Психологический факт

Мне кажется, что я конченый человек.

Я уверен, что ничто мне не поможет, никакие капли, ни даже кратковременный отпуск и поездка на юг.

Я соскочил с зарубки. Я четыре дня пью, а ведь я непьющий. Я, положим, держу себя как джентльмен и даже не скандалю, но недалеко и до этого.

И как все это случилось, и почему? Я словно потерял себя.

Что же я за человек?

Вот брошу сам на себя посторонний взгляд.

Нормальный я? Конечно, нормальный. Даже более чем нормальный. Я даже чересчур хорошо владел собою. Если случалось, что меня оскорбят, я не только не скандалил, но даже, как чистейший джентльмен, в ответ только улыбался.

Я добр. Я, например, дал Пенину пятнадцать франков, зная, что тот не отдаст, и даже не попрекаю его.

Я не завистлив. Если кто-нибудь счастлив — черт с ним, пусть счастлив, мне наплевать.

Я люблю чтение. Я развитой: я достал «Ниву» за тысяча восемьсот девяносто второй год и читал ее с увлечением.

Внешность у меня приятная. Лицо полное, спокойное.

Имею службу.

Словом, я — человек.

Что же со мной случилось? Почему мне хочется петь петухом, глушить водку? Конечно, это пройдет. И что же, собственно, случилось? Ведь этого даже рассказать никому нельзя. Это такая психология, от которой меня четыре дня трясет, а как подумаешь, особенно если начнешь рассказывать, то не получается ровно никакой трагедии. Так отчего же я пришел в такое вот состояние? Откуда такой психологический факт?

Теперь спокойно поговорим о ней. Именно спокойно. И тоже бросим на нее взгляд постороннего человека.

На взгляд постороннего человека она прежде всего ужасно высока ростом. Как у нас на Руси говорилось, «на таких коров вешать». Изречение народной мудрости, хотя где бы-

вал такой случай, чтобы коров надо было вешать? Когда их вешают? Но довольно. Не хочется тратить время на тяжелые и сумбурные размышления.

Итак — она высока и нескладна. Руки болтаются. Ноги разъезжаются. Удивительные ноги — чем выше, тем тоньше.

Она никогда не смеется. Странное дело, но этот факт я установил только теперь, к финалу нашего бытия, а прежде не то что не замечал (как этого не заметишь?), а как бы не понимал.

Затем нужно отметить, что она некрасива. Не то что на чей вкус. На всякий вкус. И лицо обиженное, недовольное.

А главное дело — она дура. Тут уж не поспоришь. Тут все явно и определенно.

И представьте себе — ведь и это открылось мне не сразу. Уж кажется бьет в глаза — а вот почему-то не поддалось мгновенному определению и баста. Может быть, оттого, что, не предвидя дальнейшего, не останавливался мыслью на ее личности.

Теперь приступим к повествованию.

Познакомился я с ней у Ефимовых (от них всегда шли на меня всякие пакости). Она пришла и сразу спросила, который час. Ей ответили, что десять. Тогда она сказала:

— Ну, так я у вас могу просидеть ровно полчаса, потому что мне ровно в половине девятого нужно быть в одном месте.

На это Ефимов, засмеявшись, сказал, что уж торопиться нечего, все равно половина девятого прошла уже полтора часа тому назад.

Тогда она обиженным тоном сказала, что будет большая разница — опоздает ли она на два часа или на три.

А Ефимов опять посмеивается.

— Значит, — говорит, — по-вашему выходит, что, например, к поезду опоздать на пять минут гораздо удобнее, чем на полчаса.

Она даже удивилась.

— Ну, конечно.

Я тогда еще не знал, что она дура, и думал, что это она шутит.

Потом вышло так, что мне пришлось проводить ее домой.

По дороге выяснилось, что зовут ее Раиса Константиновна, что муж у нее шофер, а сама она служит в ресторане.

— Семейная жизнь у меня идеальная, — говорила она. — Муж у меня ночной шофер. Я прихожу — его уже нет, а когда он возвращается, меня уже нет. Никогда никаких ссор. Душа в душу.

Я думал, она острит. Нет, лицо серьезное. Говорит, как думает.

Чтобы что-нибудь сказать, спросил, любит ли она синема. А она в ответ:

— Хорошо. Зайдите, пожалуй, за мной в четверг.

Ну, что мне делать? Не могу же я ей сказать, что я ее не звал. Невежливо.

Ну и зашел.

С этого и началось.

Ведь какие странные дела бывают на свете!

Веду ее, поддерживаю под ручку.

— Вы, — говорю, — такая очаровательная.

Но ведь надо же что-нибудь говорить.

А она в ответ:

— Я об этом давно догадалась.

— О чем? — удивляюсь я.

— О том, что ты меня любишь.

Так и брякнула. Я даже остановился.

— Кто? — говорю. — То есть кого? — говорю. — Одним словом, что?

А она эдак свысока:

— Не надо так волноваться. Не вы первый, не вы последний, и любовь вообще вполне естественное явление.

Я глаза выпучил, молчу. И, заметьте, все еще не понимаю, что она дура.

А она, между тем, развивает дальше свою мысль и развивает ее в самом неожиданном уклоне, но чрезвычайно серьезно.

— Мы, — говорит, — мужу ничего не скажем. Может быть, потом, когда твое роковое чувство примет определенную форму. Согласись, что это важно.

Я ухватился обеими руками:

— Вот-вот. Ни за что не надо говорить.

— А я буду для тебя недосягаемой мечтой. Я буду чинить твое белье, читать с тобой стихи. Ты любишь творожники? Я тебе когда-нибудь приготовлю творожники. Наша близость должна быть, как сон золотой.

А я все:

— Вот именно, вот именно.

И, откровенно говоря, эта ее идея насчет штопки мне даже, так сказать, сверкнула своей улыбкой. Я человек одинокий, безалаберный, а такая дамочка, которая сразу проявила женскую заботливость, это в наше время большая редкость. Конечно, она несколько экзальтированно поняла мой комплимент, но раз это вызвало такие замечательные результаты, как приведение в порядок моего гардероба, то можно только радоваться и благодарить судьбу. Конечно, она мне не нравится, но (опять-таки народная мудрость!) — с лица не воду пить, а с фигуры и подавно.

Я ей на прощанье обе ручки поцеловал. И потом, ночью, обдумав все это приключение, даже сам себе улыбнулся. В моей одинокой жизни можно только приветствовать появление такой чудесной женщины. Вспомнил и о творожниках. И это ведь недурно. Очень даже недурно.

Решил, значит, что все недурно, и успокоился.

А на другой день прихожу со службы, открываю дверь — а она сидит у меня в номере и сухари принесла.

— Я, — говорит, — обдумала и решилась. Говори мне «ты».

— Помилуйте! Да я не достоин.

— Я, — говорит, — разрешаю.

Вот черт! Да мне вовсе не хочется.

Я и уперся:

— Не достоин, — и баста.

А она все говорит и говорит. И на самые различные темы. И все такие странные вещи.

— Я, — говорит, — знаю, что ты страдаешь. Но страдания — облагораживают. И смотри на меня как на высшее существо, на твой недосягаемый идеал. Не надо грубых страстей, мы не каннибалы. Поэт сказал: «Только утро любви хорошо». Вот я принесла сухари. Конечно, у них нет таких сухарей, как у нас, чуевские. У них дрянь. Они даже не понимают. Знаешь, я в тебе больше всего ценю, что ты русский. Французы ведь совершенно не способны на возвышенное чувство. Француз, если женится, так только на два года, а потом измена и развод.

— Ну что вы? С чего вы это взяли? Да я сам знаю много почтенных супругов среди французов.

— Ну, это исключение. Если не разошлись, значит, просто им нравится вместе деньги копить. Разве у них есть какие-нибудь запросы? Все у них ненатуральное. Цветы ненатуральные, огурцы с полено величиной, а укропу и совсем не понимают. А вино! Да вы у них натурального вина ни за какие деньги не достанете. Все подделка.

— Да что вы говорите! — завопил я. — Да Франция на весь мир славится вином. Да во Франции лучшее вино в мире.

— Ах, какой вы наивный! Это все подделка.

— Да с чего вы взяли?

— Мне один человек все это объяснил.

— Француз?

— Ничего не француз. Русский.

— Откуда же он знает?

— Да уж знает.

— Что же он, служит у виноделов, что ли?

— Ничего не у виноделов. Живет у нас, на Вожираре.

— Так как же он может судить?

— А почему же не судить? Четыре года в Париже. Наблюдает. Не всем так легко глаза отвести, как, например, вам.

Тут я почувствовал, что меня трясти начинает.

Однако сдерживаюсь и говорю самым светским тоном:

— Да он просто болван, этот ваш русский.

— Что ж, если вам приятно унижать свою кровь...

— Его и унижать не надо. Болван он.

— Ну, что ж — целуйтесь с вашими французами. Вам, может быть, и говядина ихняя нравится. А где у них филей? Где огузок? Разве у них наша говядина? Да у ихних быков даже и частей таких нет, как у наших. У нас были черкасские быки. А они о черкасском мясе и понятия не имеют.

Не знаю, в чем тут дело, но меня это почему-то ужасно рассердило. Я не француз, и обижаться мне нечего, а тем более за говядину, но как-то расстроило это меня чрезвычайно.

— Простите, — говорю, — Раиса Константиновна, но я так выражаться о стране, приютившей нас, не позволю. Я считаю, что это с вашей стороны некрасиво и даже неблагодарно.

А она свое:

— Заступайтесь, заступайтесь! Может быть, вам даже нравится, что у них сметаны нет? Не стесняйтесь, пожалуй-

ста, говорите прямо. Нравится? Вы готовы преклоняться? Вы рады топтать Россию.

И такая она стала омерзительная, длинная, рот перекошенный, лицо бледное.

— Топчите, топчите Россию!

И что тут со мной произошло — сам не знаю. Только схватил я ее за плечи и заорал козлиным голосом.

— Пошла вон, ду-ура!

Я так орал, что соседи в стенку стукнули. Всего меня трясло.

Она еще на лестнице визжала что-то про Россию. Я не слушал. Я топтал ногами ее сухари И хорошо сделал, потому что, если бы выбежал за ней, я бы с ней прикончил. Потому что во мне в этот миг сидел убийца.

Я был на волосок от гильотины. Потому что как объяснишь французским присяжным русскую дуру?

Этого они понять не смогут. Вот этого французы действительно не могут

Это им не дано.

Джентльмен

В этот замечательный день они встретились, совершенно случайно, на пересадке в метро «Трокадеро». Она пересаживалась на «Ласси», а он, как говорится, «брал дирексьон[1] на «Сен-Клу». И как раз в коридоре, у откидного железного барьерчика, бьющего зазевавшихся по животу, они и встретились.

От неожиданности она уронила сумку, а он крикнул: «Варя!» и, сам испугавшись своего крика, схватился обеими руками за голову. Потом они кинулись друг к другу.

Она (чтобы было ясно, почему он так взволновался) была очень миленькая, курносенькая и смотрела на мир Божий веселыми, слегка припухшими глазками через белокурые колечки волос, наползавшие на брови И одета была

[1] От *фр.* prendre la direction — направляться (дословно брать направление).

кокетливо, старательно, вся обшитая какими-то гребешками и петушками.

Он (чтобы было понятно, почему она уронила сумку) был высокий, элегантный господин с пробором, начинающимся от самой переносицы. Так что даже под шляпу этот исток пробора спрятать было трудно. Галстучек, пошетка, носочки — все в тон. Немножко портило дело выражение лица — оно было какое-то не то растерянное, не то испуганнее. Впрочем, это уж пустяки и мелочи.

Итак — они кинулись и схватили друг друга за руки.

— Значит, вы рады, что встретили меня? — залепетала дама. — Правда? Правда, рады?

— Безумно! Безумно! Я... я люблю вас! — воскликнул он и снова схватился за голову. — Боже мой, что я делаю! Ради Бога, простите меня! Неожиданная встреча... я потерял голову! Я никогда бы не посмел! Забудьте! Простите, Варвара Петровна!

— Нет-нет! Вы же назвали меня Варей! Зовите меня всегда Варей... Я люблю вас.

— О-о-о! — застонал он. — Вы любите меня? Значит, мы погибли.

От волнения он шепелявил. Он снял шляпу и вытер лоб.

— Все погибло! — продолжал он. — Теперь мы больше не должны встречаться.

— Но почему же? — удивилась Варя.

— Я джентльмен, и я должен заботиться о вашей репутации и о вашей безопасности. Вдруг ваш муж что-нибудь заметит? Вдруг он оскорбит вас подозрением? Что же мне тогда — пулю в лоб? Как все это ужасно!

— Подождите,— сказала Варя.— Сядем на скамейку и потолкуем.

Он пошел за ней с жестами безграничного отчаяния и сел рядом.

— А если нас здесь увидят?

— Ну, что за беда, — удивилась Варя. — Я вот вчера встретила на «Пастере» Лукина, и мы с ним полтора часа проболтали. Кому какое дело.

— Так-то так! — трагически согласился он. — Но вы забываете, что ни он в вас, ни вы в него не влюблены. Тогда как мы... Ведь вся тайна наших отношений всплывет наружу. Ведь что же тогда — пулю в лоб?

— Ах, что за пустяки! Василий Дмитрич! Голубчик! Мы только время теряем на ерунду. Скажите еще раз, что вы любите меня. Когда вы полюбили меня?

Он оглянулся по сторонам.

— В четверг. В четверг полюбил. Месяц тому назад, на обеде у мадам Компот. Вы протянули руку за булкой, и это меня словно кольнуло. Я так взволновался, что схватил солонку и насыпал себе соли в вино. Все ахнули: «Что вы делаете?» А я не растерялся. Это я, говорю, всегда так пью. Ловко вывернулся? Но зато теперь, если где-нибудь у общих знакомых обедаю или завтракаю, всегда приходится сыпать соль в вино. Нельзя иначе. Могут догадаться.

— Какой вы удивительный, — ахала Варя. — Вася, милый!

— Подождите! — перебил ее Вася. — Как вы называете вашего мужа?

— Как? Мишей, конечно.

— Ну так вот, я вас очень попрошу: зовите меня тоже Мишей. Так вы никогда не проговоритесь. Столько несчастий бывает именно из-за имени. Представьте себе — муж вас целует, а вы в это время мечтаете обо мне. Конечно, невольно вы шепчете мое имя: «Вася, Вася, еще!» Или что-нибудь в этом роде. А он и стоп: «Что за Вася? Почему Вася? Кто из наших знакомых Вася? Ага! Куриков! Давно подозревал!» И пошло́, и пошло́. И что же нам делать — пулю в лоб? А если вы привыкнете звать меня Мишей (ведь я же и в самом деле мог бы быть Мишей — все зависит от фантазии родителей), привыкнете звать Мишей, вам и черт не брат. Он вас целует, а вы мечтаете обо мне и шепчете про меня — понимаете? — про меня: «Миша, Миша». А тот дурак радуется и спокоен. Или, например, во сне. Во сне я всегда могу вам присниться, и вы можете пролепетать мое имя. А муж тут как тут. Проснулся, чтоб взглянуть на часы, да и слушает, да и слушает. «Вася? Что за Вася?» Ну и пошло. Я джентльмен. Я — что же — я должен себе пулю в лоб?

— Как у вас все серьезно! — недовольно пробормотала Варя. — Почему же у других этого не бывает? Все влюбленные зовут друг друга по именам, и никаких бед от этого не бывает, наоборот, — одно удовольствие.

— Боже мой, как вы неопытны! Да половина разводов основывается на этих Васиньках и Петиньках. Зачем? К чему? Раз этого так легко избежать.

— А вы не боитесь проговориться? Ведь назвали же вы меня сегодня Варей, вдруг и опять назовете?

— Нет, уж теперь не назову. Это случилось потому, что наши отношения были неясны и нам самим не известны. А теперь, когда я, как джентльмен, должен быть начеку и думать о вас, только о вас, дорогая (простите, что я вас называю дорогой, это тоже глупая неосторожность), теперь я вас не подведу.

— А как же вы меня будете называть? Это любопытно. Вы ведь не женаты. Ну-с?

— Гм... Я живу один, то есть с мамашей. Я мог бы называть вас мамашей, понимаете? — привычка, человек живет с мамашей, ну, ясно, что и обмолвится. Понимаете? Я ничем не рискую, если в разговоре с вами назову вас «мамаша, дорогая». Если кто услышит, подумает: «вот, вспомнил человек свою маму», и все будет вполне естественно.

— Ну, это, знаете ли, прямо уж черт знает что такое! Какая я вам мама! Вы меня еще бабусей величать начните. Глупо и грубо.

— Ах, дорогая, то есть Варвара Петровна. Ведь это же я исключительно из джентльменства.

— Вы будете завтра на юбилее доктора Фогельблата? Знаете, я по секрету попросила распорядителя посадить нас рядом. Муж будет сидеть с комитетом, а мы поболтаем. Я ужасно рада, что догадал...

— Что вы наделали! — воскликнул Вася. — Теперь мне уж абсолютно нельзя будет пойти на банкет. Конечно, если бы у нас были прежние, чисто дружеские отношения, это было бы даже очень мило. Но теперь — это немыслимо. Какая обида! Деньги я уже внес, а пойти не могу. Разве вот что: позвоню-ка я сам к распорядителю и, будто ничего не знаю, попрошу его посадить меня непременно, скажем, с докторшей Сициной. А? Идея?

— А если он скажет, что я просила посадить вас со мной?

— Гм... А я притворюсь, что даже забыл, кто вы такая. Это, скажу, какая такая Варвара Петровна? Это та жирная, которая ко всем лезет? Понимаете? Нарочно отнесусь отрицательно. То есть даже не к вам, а как будто все перепутал. Такая, скажу, грязная и прыщавая? Понимаете? Чтобы было ясно, что я даже не знаю, о ком речь идет.

— Ну, это уж, простите, совсем глупо, — вспыхнула Варя. — Распорядитель Пенкин столько раз видел вас у меня, как может он поверить, что вы вдруг меня не знаете?

— Ну, я, знаете, так о вас отзовусь, что он поверит. Что-нибудь исключительно грубое. Уж я сумею, я найдусь, не бойтесь.

— Да я вовсе не желаю, чтобы вы обо мне говорили всякие гадости.

— Дорогая! То есть Варвара Петровна, то есть бабуся — ффу! Запутался. Хотел начать привыкать и запутался. Дорогая мама! Ведь это же для вас, для вас. Неужели вы думаете, что мне приятно, что мне не больно сочетать ваше имя с разными скверными прилагательными? Ничего не поделаешь — надо. Значит, я сяду рядом с докторшей. Мало того — я окину присутствующих небрежным взглядом, кивну вам свысока головой и пророню. Понимаете? Именно пророню, процежу свысока сквозь зубы. Все свысока — и кивну, и процежу: «Ах, и эта дура здесь». Вот уж тогда эта самая докторша не только никогда не поверит в нашу близость, да и других-то всех разуверит, если кто-нибудь начнет подозревать. Конечно, мне это очень тяжело, но чего не сделаешь для своей дамы. Я рыцарь. Я джентльмен. Я вас в обиду не дам. И вообще, если в обществе начнется о вас разговор, — можете быть спокойны — я вас так распишу, что уж никому в голову не придет, что вы мне нравитесь. Я все высмею: вашу внешность — ха-ха, скажу, эта Варька — задранный нос! Конечно, мне будет больно. Ваш туалет, ваши манеры. «Туда же, скажу, пыжится, журфиксы устраивает. Ей бы коров доить с ее манерами, а не гостей принимать». Ну, словом, я уж там придумаю. «И еще, скажу, воображает, что может нравиться. Ха-ха!» Словом, мамаша, можете быть спокойны. Вашу честь я защищу. Бывать у вас я, конечно, лучше не буду. «Вот еще, скажу, не видал я ее завалящего печенья из Uniprix, по полтиннику фунт». «Вообще, скажу, эти ее курносые журфиксы». Словом, что-нибудь придумаю. Боже, как все это тяжело и больно. Что? Что? Я не понимаю, что вы говорите? М-ма-маша?

— К черту! Вот что я говорю! — крикнула Варя и вскочила со скамейки. — Убирайтесь к черту, идиот шепелявый. Не смейте идти за мной, гадина!

Она быстро повернулась и побежала по лестнице.

— Ва... то есть ма... — лопотал Вася в ужасе. — Что же это такое? Почему так вдруг, в самый разгар моей жертвенной любви? Или, может быть, она увидела кого-нибудь из знакомых и разыграла сцену? Это умно, если так. Очень умно. Прямо даже замечательно умно. Если кто видел — сразу подумает: «Эге, этот господин ей не нравится». А потом, если и увидит нас вместе в обществе, он уже не будет нам опасен. Это с ее стороны очень умно. Хотя, наверное, ей было больно так грубо говорить с любимым существом. Но что поделаешь? Надо.

Он сунул руки в карманы и, беспечно посвистывая, чтобы никто ничего не подумал, стал спускаться с лестницы.

«Я люблю и любим, — думал он. — Вот это и есть счастье. Только нужно быть осторожным. Иначе что же? — Пулю в лоб?»

Чудо весны

Светлый праздник в санатории доктора Лувье был отмечен жареной курицей и волованами с ветчиной.

После завтрака больные прифрантились и стали ждать гостей.

К вечеру от пережитых волнений и непривычных запрещенных угощений, принесенных потихоньку посетителями, больные разнервничались. Сердито затрещали звонки, выкидывая номера комнат, забегали сиделки с горячей ромашкой и грелками, и заворчал успокоительный басок доктора.

— Зачем все они терзают меня своей любовью! — томной курицей кудахтала в номере пятом испанка с воображаемой болезнью печени. — Зачем мне эти букеты, эти конфеты? Ведь они же знают, что я умираю. Позовите доктора, пусть он даст мне яду и прекратит мои мучения.

В номере десятом рантьерша мадам Калю запустила стаканом в кроткую и бестолковую свою сиделку Мари. Ее, мадам Калю, никто не известил, да она и не разрешила ни

мужу, ни детям показываться ей на глаза. А злилась она оттого, что вопли испанки ее раздражали.

Она, собственно говоря, не была больна. Она спаслась в санаторию от домашнего хаоса.

— Не надо сердиться! — кротко уговаривала ее Мари. — Надо быть паинькой, надо кушать суп, чтобы скорее поправиться и ехать домой, где бедный маленький муж скучает о своей маленькой женке и детки плачут о своей мамочке.

Мадам Калю вспомнила о своем муже, плешивом подлеце, содержавшем на ее счет актрисенку из «Ревю», вспомнила сына, подделавшего под векселями ее подпись, дочь, сбежавшую к пузатому банкиру, и бросилась с кулаками на кроткую Мари.

Но больше всего досталось в этот вечер русской сиделке, безответной и робкой Лизе. Вверенный ей здоровенный больной, греческий генерал, во-первых, объелся страсбургским паштетом, а во-вторых, поругался с женой. Вручая этот самый паштет, жена сказала ему, что он вислоухий дурак и притворщик и что на те деньги, которые он тратит на лечение, она могла бы поехать в Монте-Карло.

Генерал вопил, что он умирает, и требовал морфия.

Лиза успокаивала его как могла, но он стучал на нее кулаком.

— Вы старая дева! Безнадежная старая дева и, конечно, в ваших глазах спокойствие важнее всего. А я полон сил и обречен на гибель!

Почему он обречен на гибель, он и сам не знал. Не знала и Лиза и, отвернувшись, заплакала.

И слезы ее подействовали на него магически. Он сразу развеселился, забыл о морфии и попросил касторки.

У него была особого рода неврастения: при виде какой-нибудь неприятности, приключавшейся с другими, меланхолия его мгновенно сменялась отличнейшим настроением. Когда однажды в его присутствии горничная свалилась с лестницы и сломала себе ногу, он весь день весело посвистывал и даже собирался организовать домашний спектакль.

Да. Странные болезни бывают на белом свете...

Ночью Лиза долго не ложилась, вздыхала, разбирала старые открытки с болгарскими видами, исписанные русскими

буквами. Потом сняла со стены фотографию лысого бородатого господина и долго вопросительно на нее смотрела.

* * *

На другое утро, прибрав своих больных, она спустилась вниз.

Толстая кроткая Мари спешно допивала свой кофе.

— Я сейчас иду на станцию, — сказала она. — Нужно получить пакет.

Лиза вышла за ней на крыльцо.

— Я, пожалуй, сбегаю с вами, — сказала она, слегка ежась от свежего, сильного весеннего воздуха.

— Вы простудитесь, — сказала Мари. — Накиньте что-нибудь.

— Нет, так отлично!

Пасха была ранняя.

Деревья в ясном холодном небе купали тонкие свои, чуть розовеющие, наливающиеся соками прутики.

Длинная, сухая прошлогодняя трава порошила сквозной щетинкой плотный, ядовито-зеленый газон.

Облака кудрявились, как на наивной картинке в детской книжке. И все было такое новое, непрочное, и неизвестно было, останется ли, окрепнет ли в настоящую весну или только мелькнет обещанием и снова уйдет в отходящую зиму.

И это ярко раскрашенное небо, и обещающие жизнь розовеющие цветочки, и то, что она так по-молодому, легкомысленно, выбежала в одном платье, — все это вдруг ударило Лизу весенним вином прямо в сердце. Желтое лицо ее порозовело, страдальческие морщинки около рта разгладились, и вялые губы улыбнулись бессмысленно-счастливо.

— Я всегда такая! Мне всё всё равно! — звонко сказала она и удало тряхнула головой.

Мари с удивлением поглядела на нее. Она служила в санатории всего второй месяц и мало встречалась с Лизой.

— Да, вы, русские, совсем особенные, — сказала она. — Оттого все в вас и влюбляются.

Лиза засмеялась задорно и весело.

— Ну, знаете ли, влюбляются действительно, но далеко не во всех.

Было в ее тоне что-то многозначительное. Так как-то вышло, без всякого умысла, потому что она вовсе не на себя намекала.

Весенний воздух пьянил, веселил. Проходя мимо сложенных вдоль дороги бревен, Лиза вскочила на поваленную толстую липу и, балансируя руками, пробежала и спрыгнула.

— Какая вы ловкая! — ахнула Мари. — Как молоденькая!

Лиза обернулась. Ее лицо раскраснелось, волосы выбились из-под косынки.

Проходивший мимо почтальон закричал:

— Браво! Браво!

Лиза бросила ему лукавый взгляд.

— Ах, какая же вы шалунья! — восторженно удивлялась Мари. — Я всегда думала, что вы такая тихонькая, а вы такой чертенок. Наверное, все больные от вас без ума!

— Ну уж и все! — кокетливо улыбалась Лиза. — Далеко не все. Почтальон! Постойте. Нет ли у вас письма на имя мадемуазель Лиз Корнофф?

Почтальон, посматривая на нее блестящим глазком и пошевеливая усами, стал рыться в сумке.

— А уж он и рад, что вы с ним болтаете! — шептала Мари, радостно волнуясь.

— Мадемуазель Корнофф. Так? — спросил почтальон и подал Лизе открытку.

Лиза взглянула на розового зайца, несущего в лапках синее яйцо с золотыми буквами «Х. В.». Марка была болгарская, но письма она без очков прочесть не могла. Да это и не было важно. Важно было, что после почти трехмесячного перерыва она получила поздравление, что она не забыта и что все то, что она начинала считать умершим, потерянным навсегда, еще жило, и обещало, и звало.

Она сунула открытку в карман передника и весело засмеялась. А когда подняла глаза, увидела прямо перед собой молодое вишневое деревцо, словно в каком-то буйствующем восторге всего себя излившее в целый гимн белых цветов. Маленькое, хрупкое, и выбрызнуло столько красивой радости прямо к небу, к солнцу, к сердцу.

— От «него»? — спросила Мари, указывая глазами на торчащую из кармана открытку.

Лиза засмеялась и пренебрежительно махнула рукой.

— Старая история! Не хочет понять, что мне моя свобода дороже всего. Мы вместе служили в госпитале. Он — врач. Должен был тоже приехать во Францию, но задержался и, конечно, в отчаянии.

— А вы? — спросила Мари, сделав заранее сочувствующее лицо.

— Я?

Лиза передернула плечами и засмеялась:

— Я, дорогая моя, люблю свободу.

И, обнажив широкой улыбкой свои длинные желтые зубы, пропела фальшивым голоском:

L'amour est un enfant de Bohême,
Qui n'a, jamais connu de loi...[1]

— Это из «Кармен»!

— Какая вы удивительная! А скажите, этот ваш греческий генерал, наверное, тоже к вам неравнодушен?

Лиза презрительно пожала плечами.

— Неужели вы думаете, что я стану обращать внимание на чувства такого ничтожного человека?

«Удивительная женщина! — думала добродушная Мари. — И некрасива, и немолода, а вот умеет же сводить с ума! Ах, мужчины, мужчины, кто поймет, что вам нужно?»

А Лиза бежала походкой смелой и быстрой, какой никогда у себя не знала, и смеялась, удивляясь, как она до сих пор не видела, что жизнь так легка и чудесна.

Вернулись в санаторию немножко усталые, и горничная сразу крикнула Лизе:

— Бегите скорее к вашему генералу. Он так ругается, что с ним сладу нет.

Лизе очень хотелось сбегать к себе за очками, чтобы узнать наконец, о чем чудесном сообщает ей розовый заяц. Но медлить она не посмела и пошла в комнату номер девятый, затхлую, прокуренную, где злой человек с одутлым лицом долго ругал ее старой ведьмой, жабой и дармоедкой.

Штора в комнате были опущены, и небо за ними умерло.

---

[1] Любовь — дитя богемы,
Никогда, никогда не знавшее закона (*фр.*).

Потом привезли новую больную, потом приехал профессор...

Лиза уже не улыбалась. Она только тихонько дотрагивалась до кармана, где лежала открытка, и тихо сладостно вздыхала. Все небо, все чудо весны было теперь здесь, в этом маленьком кусочке тонкого картона.

И только вечером, после обеда, быстро взбежав по лесенке в свою комнату и закрыв дверь на задвижку, она блаженно вздохнула:

— Ну вот! Наконец-то!

Надела очки, села в кресло, чтобы можно было потом долго-долго думать...

Милый знакомый почерк... И как много написано! Ого! Не так-то, видно, скоро можно меня забыть!

«Дорогая Лизавета Петровна, — писал знакомый почерк, — простите за долгое молчание. Причины к тому были важные. Не удивляйтесь новости: я на старости лет женился, да еще на молоденькой. Но когда познакомитесь с моей женой, то поймете меня и не осудите, такая она прелестная. Она Вас знает по моим рассказам и уже полюбила.

Искренне преданный Вам

Н. Облуков.

P. S. Ее зовут Любовь Александровна. *Н. О.*»

Блаженны ушедшие

Началось с того, что Балавин встретил на станции метро Сорокина и наскоро — так как они бежали в разные стороны — сообщил ему о скоропостижной смерти Мурашева.

— Да что вы! Быть не может! Когда? Отчего? Кто вам сказал? — взволновался Сорокин.

— Да только что на пересадке в «Трокадеро» мне сказал один знакомый. Сегодня утром неожиданно захворал, отвезли в больницу, он и скончался.

— Что за ужас! Третьего дня был жив и здоров.

— Чего же тут удивляться, — философски сказал Балавин. — Он, наверное, и за две минуты до смерти был жив.

— Постойте, — перебил его Сорокин. — А жене дали знать?

— Да нет, она куда-то уехала, он, кажется, и сам не знал еще ее адреса. Она еще и написать ему не успела. Так, по крайней мере, мне сказали.

— Ну, я-то, положим, знаю ее адрес. Совершенно случайно. От Петруши Нетово. Это, конечно, между нами. Петруша с ней вместе в Жуан-ле-Пэн.

— Да что вы? Интересная дамочка?

— Так себе. Но вы, конечно, как джентльмен, надеюсь, никому ни слова.

— Ну, за кого вы меня считаете? Так вот, раз вы во все посвящены, дайте ей телеграмму. А то, подумайте, какой может разыграться скандал. Она, может быть, и газет не читает и будет разводить веселый романчик, а мужа в это время давно похоронили, и она вдова. Да и Петруша ваш, может быть, совсем не расположен ухаживать за свободной женщиной.

— Н-да, — сказал Сорокин. — В ваших словах есть некоторая доля подкладки. Я, пожалуй, возьму на себя печальный долг. Пошлю телеграмму. Хотя сегодня как раз безумно занят. Надо бы заехать к нему на квартиру.

— Да там ведь, наверное, никого и нет. Он умер в больнице.

— Ну, тем лучше. До свиданья. Увидимся на похоронах? Вот жизнь человеческая: живешь, живешь, а потом, смотришь, и умер.

В смятенном душевном состоянии поднялся Сорокин из метро, продолжая размышлять на тему горестной судьбы человеческой.

«Хорошо еще, что эта пакость со всеми случается. А то вдруг бы только со мной. Ужасно было бы неприятно. А бедная Наташа Мурашева! Лазурное море, влюбленный Петруша, перед обедом аперитивы, наверное, нашила себе тряпочек, накрутила шапочек и вдруг — стоп. Вдова. Черный креп. Петруша скорби не любит. Утирать слезы вдовам и сиротам — это не его дело».

— Pardon, monsieur![1]

Это pardon относилось не к Петруше и вдовам, а к господину, которого он в рассеянности чувств ткнул локтем в

---

[1] Извините, мсье! (*Фр.*)

бок. Пострадавший обернулся и оказался вовсе не мосье, а Сергей Петрович Левашов.

— А, здравствуйте! — сказал Сергей Петрович. — Чего вы такой мрачный?

— Я? Я-то ничего, — отвечал Сорокин. — А вот бедный Мурашев. Слышали? Сегодня утром скоропостижно скончался.

— Да что вы! — ахнул Левашов. — Господи! Четыре дня тому назад... да, да, в пятницу он забегал ко мне по делу. Вы не знаете — это не самоубийство?

— Нет, не думаю.

— У него, кажется, очень расстроены были дела. Я знаю, что ему до зарезу нужны были деньги.

— Не знаю, не слыхал. Все может быть. Теперь какая-то эпидемия самоубийств. До свиданья. Безумно спешу.

Он побежал на телеграф.

«Боже мой! — думал он. — Неужели и правда, это самоубийство? Такой, кажется, был спокойный, приятный человек. Жаль, что я так мало обращал на него внимания. Все больше вертелся около этой дурынды Наташи. Боже мой, какого друга я в нем потерял! И еще подхихикивал, когда дурында укатила с Петрушей Нетово разводить роман. Бедный, бедный Мурашев! Может быть, если бы я дружески подошел к нему, ласково, внимательно, я бы сумел отговорить его от ужасного шага. Я сказал бы: «Дорогой, жизнь прекрасна, плюнь на все!» Нежно сказал бы: «Гони свою дуру к черту». Ах, вовремя сказанное ласковое слово может воскресить и вернуть к жизни. И вот его нет. Ушел в небытие».

На почте Сорокин испортил четыре телеграфных бланка. Хотел составить телеграмму сначала осторожную, потом деловитую и, наконец, решил мстить негоднице и быть жестоким.

Окончательная редакция телеграммы была такова:

«Venez vite stop votre malheureux mari suissid stop horreur *Sorokine*»[1].

[1] «Приезжайте срочно стоп ваш несчастный муж покончил с собой стоп ужас. *Сорокин*» (искаж. *фр.*).

Подумал, что добросовестнее было бы телеграфировать, что умер, раз самоубийство еще не установлено, но потом решил, что так ей будет больнее. Очень уж раскалился.

А в это время Левашов, уныло опустив голову, шел к себе домой.

«Это ужасно, — думал он. — Надеюсь, что это все-таки не самоубийство. Но ведь не мог же я в самом деле святым духом знать, что его положение так безвыходно. Допустим, что я согласился бы дать ему эти несчастные четыре тысячи — очевидно, это его не спасло бы, раз положение было так уж серьезно. Это паллиатив. Короткая отсрочка, а затем что? Затем либо опять выручай, либо снова вопрос о самоубийстве. Нельзя же так, господа. Не обязан же я в самом деле... А с другой стороны, если бы я дал ему эти деньги, может быть, он и вывернулся бы. Надо было дать. Он сделал вид, что мой отказ не особенно огорчил его, но теперь-то я вижу, какой выход был у него на уме. Надо было дать. Теперь, конечно, не вернешь. Тяжело. Очень тяжело. Но разве мог я знать? Если бы знал, так конечно...»

* * *

Море, солнце, джаз, пижамы без спины, загар красный, загар бурый, загар оливковый.

Но Мурашевой не до того. Не до джаза и не до загара.

Она сидит у себя на балкончике и тупо смотрит на мятый клочок синей бумаги с наклеенными на нем белыми полосками. На белых полосках бездушный аппарат выстукал жестокие строки, составленные мстительным Сорокиным.

У Мурашевой красный нос и красные глаза. Она уже два раза плакала. Она очень огорчена. Тем более что вот уже два дня, как она стала с нежностью думать о муже. Потому что без нежности думала о Петруше Нетово.

Петруша Нетово оказался не на высоте. Она четыре раза сказала ему, что муж опаздывает с присылкой денег, а он, как говорится, хоть бы бровью повел. В последний раз она даже не поскупилась на некоторую инсценировку: ничего не ела за завтраком, а был, между прочим, омар по-американски, которого она очень любила, и вообще хотелось есть. А он, вместо того чтобы забеспокоиться и спросить, в чем дело,

на что и последовал бы с ее стороны ответ о муже и деньгах, он только вскользь сказал:

— Что же вы не едите? Увлекаетесь худением?

Какой болван! Разве можно его сравнить с Мишей? Миша все-таки заботливый. И она променяла его на такого селезня! Бедный Миша! Он даже виду не показал, что ему неприятен был ее отъезд. Конечно, он догадался или кто-нибудь открыл ему глаза. И вот он, без злобы, без упрека, гордо и красиво ушел из жизни. О, может быть, он еще жив? Опасно ранен, но жив? Она бы выходила его, и всю жизнь, всю жизнь...

В дверь стукнули, и вошел Петруша.

— Что случилось?

Она взглянула на него с ненавистью:

— Муж все узнал и покончил с собой.

Петруша тихо свистнул и опустился на стул.

— Что же теперь?

— Уезжаю с вечерним поездом.

Петруша снова свистнул.

— Уходите! — крикнула Мурашева и громко, с визгом заплакала.

* * *

Отослав телеграмму, Сорокин отправился прямо домой. Нужно было еще пойти по кое-каким делам, но он так себя настроил и расстроил, что решил дела отложить, а подождать дома назначенные на сегодня rendez-vous[1].

Сидел, ждал, думал о смерти и мучился за Мурашева.

Покончив с делами и проводив посетителей, он уже приготовился было поехать на квартиру Мурашева расспросить хоть консьержку о подробностях, как вдруг телефон донес до него голос Балавина, того самого, который сообщил ему утром печальную весть.

— Голубчик! Идиотская ошибка! Умер не Мурашев, а Парышев, тоже мой знакомый. А Мурашев жив и здоров, и сейчас заходил ко мне занимать деньги.

— Ну вы, надеюсь, не дали? Как все это глупо! — сердито оборвал его Сорокин. — Чего же вы путаете, людей с

[1] Свидания (*фр.*).

толку сбиваете. А я телеграмму послал. Бедная Наташа там, наверное, с ума сходит. Пошлю сейчас другую. До чего все это глупо.

Ему стало жаль Наташу. Молоденькая женщина, в первый раз в жизни вырвалась. Так понятно. Этот Мурашев — олицетворенная хандра. Сам, небось, не застрелился, а ее, пожалуй, при случае пристрелит. Нужно позвонить Левашову, а то он как будто расстроился.

* * *

После телефонной беседы с Сорокиным Левашов, иронически смеясь сам над собой, думал:

«Нет, милый мой, такие не стреляются. Наверное, еще десять раз прибежит попрошайничать. Хорошо сделал, что не дал. Дать раз, потом не отвяжешься. И, наконец, я же не виноват, что они не умеют устраивать свои дела. Придет еще раз — не приму его, и кончено. Так проще всего».

* * *

Петруша Нетово уныло укладывал в чемодан свои вещи. Он не хотел оставаться один в Жуан-ле-Пэн. Он был расстроен.

«Глупо все это. Из-за такой ерунды погиб хороший человек. Если бы она не лезла ко мне, он мог бы быть моим другом. Из них двух во всяком случае он интереснее. Конечно, в другом роде, но все же. И зачем нужно было затевать эту поездку? Сидели бы в Париже. Несчастный человек. Так погибнуть ни за что. И я даже не замечал, что он догадывается. Как он умел скрывать свое горе! Гордая, красивая душа! О, если бы я мог заплакать, мне было бы легче».

— Петруша! Петруша! — кричала Мурашева, вбегая в комнату Нетово. — Петруша! Ура! Все напутали. Вот телеграмма. Этот болван преспокойно жив. Вот, читай:

«Ochibka stop Mouracheff give et zdorove stop privete Petrouché zeloujou ruchki.

Vache Sorokine».

— Как я рада. «Зелую рюшки». Значит, все благополучно. Хорошо все-таки, что он жив. Я, конечно, не люблю его, по-

тому что я вся твоя, но все эти трагедии так противны. Ну, поцелуй же меня и бежим со мной в Казино.

И Петруша поцеловал ее и побежал с ней в Казино.

Бабья доля

Наружность у Маргариты Николаевны была, что называется, интересная. Можно было изучать ее часами и все равно ничего не понять.

Какой, например, она масти? Волосы у нее темно-рыжие в локонах, желтые на висках, красные на темени, вишневые на затылке.

Где правда? Куда смотреть с доверием? Куда со снисхождением к женской слабости? Куда с осуждением? Куда с восторгом?

Брови черненькой ниточкой без волос — как пигмент. Ресницы синие. Ноздри сиреневые. Губы оранжевые. Зубы фарфоровые, голубоватые с золотом.

И весь этот хаос и игра красок озаряются мудрым выражением тусклых серых глаз. Глазам пятьдесят четыре года.

У Маргариты Николаевны репутация умной женщины. К ней приходят за советом в психологически трудную минуту. Исключительно женщины. В материально трудную минуту к ней не приходят. Вполне логично. Раз она умная, значит, денег не даст.

Маргарита Николаевна садилась на диван спиной к свету, психологически запутанную даму сажала лицом к окну — отчего не только душевные, но и физические ее тайны вылезали наружу — и задавала наводящие вопросы.

Иногда после двухчасовой беседы совет являлся совершенно простым и очень коротким:

— Да плюньте и все тут.

— То есть как так плюнуть? — удивлялась запутанная женщина. — Ведь он же, однако, безумствовал, он возил меня четыре раза обедать. У меня было столько неприятностей от мужа, приходилось врать и ему, и дочке, и... и, на-

конец, Андрею Петровичу, который очень страдает. Так же нельзя. Как говорится — за что боролись?

— Плюньте, плюньте и плюньте! — спокойно повторяла Маргарита Николаевна. — Я понимаю все. Он вас бросил, и вы в отчаянии. Когда человек в отчаянии, он должен прежде всего плюнуть.

— А я специально для него купила шляпу с голубем.

— Шляпу с голубем амортизируйте в смысле Саблукова. Он ведь вам нравился.

— Да, но ведь это не то.

— И слава Богу, что не то.

— А вы знаете, что этот негодяй теперь ухаживает за Кротовой. Она дура и урод, и совершенно мне не нравится.

— А вам нужно, чтоб человек выбирал вам соперницу непременно по вашему вкусу?

— Ну, знаете, все-таки не так обидно, если изменил из-за красавицы. А то променял на урода.

— Напротив, гораздо обиднее, если из-за красавицы. С уродом нет-нет да о вас и вспомнит с удовольствием, а с красавицей, если и вспомнит, так только вам же к невыгоде.

— Все-таки все это очень трудно пережить! — вздыхает покинутая.

— А что же, он был очень интересен, этот тип?

— Он? Интересен? Да вы смеетесь надо мной! Это такое ничтожество, такой негодяй! Плечи косые, ноги кривые, морали никакой, менталитета ни малейшего. Тощища с ним адовая. Сама не знаю, как я могла столько времени с ним вытерпеть. Четыре раза — подумайте только! — четыре раза обедала. Прямо дурман какой-то. И обеды длинные, в пять блюд с кофием. Ведь все это надо было вытерпеть. Молчит и ест. Жует, как овца, — нижней челюстью из стороны в сторону. И при этом, заметьте, — никакой морали. Я даже не понимаю, почему я так страдаю от его измены. Ну добро бы красавец, темпераментный, светский. Такая дрянь, да еще, изволите ли видеть, охладел. Охладевшая дрянь. А я расстраиваюсь. И почему?

— Дорогая моя, — говорит Маргарита Николаевна. — Если сидишь под деревом и птичка испортила тебе шляпку, то тебе совершенно безразлично, что это за птичка — соло-

вей или ворона. Так вот. Изменил ли тебе шекспировский Ромео или приказчик из башмачной лавки — одинаково неприятно.

— Ну все-таки стерпеть обиду от приказчика труднее.

— Наоборот. Тут по крайней мере есть сознание, что он не мог понять тонкой натуры и оценить изящной красоты.

— Так что же мне делать?

— Плюнуть, дорогая моя. Иначе — сама понимаешь — только хлопоты да расход. Покинутая женщина прежде всего бежит в «institut де ботэ»[1]. Для поднятия духа, это во-первых, а во-вторых, из-за надежды, что если негодяй увидит ее в новом, освеженном виде, так ахнет и вернет ей свое сердце.

Затем покинутая женщина с той же целью и по той же причине бежит к портнихе и к шляпнице и тратит деньги на туалеты и шляпы. Так вот, подумайте сами. Огорчение, в конце концов, пройдет само собой. Ведь не думаете же вы всю жизнь оплакивать вероломство такого ничтожного типа.

— Ну еще бы! Того еще не хватало!

— Ну вот, я и говорю. Все пройдет, а деньги за платья плати. И за шляпы плати. И все без толку. Так уж лучше плюнуть.

— Все это хорошо, — вздохнула покинутая женщина, — но нервы от этих неприятностей очень расстраиваются.

— Надо клин клином вышибать. Тебе изменили, так и ты измени.

— Да так скоро, как говорится, не подберешь. И потом все-таки еще живы отголоски прошлого.

— Ничего. С отголосками легко справиться. Попей валерьянки.

— Пила-а.

— Еще попей.

— И еще пила-а.

— Ну, так пойди к нервному доктору.

Покинутая женщина задумалась.

— Вот Лиза Раканова ходила.

— Ну что же, помог?

— Очень даже.

---

[1] Институт красоты (от *фр.*).

— А что с ней было?

— Муж удрал с балериной. Ну она, конечно, очень страдала. Главным образом, было обидно, что балерина тяжело прыгала. Это даже критика отметила. Ну вот от этого обстоятельства она особенно остро страдала. Ну и пошла к нервному доктору. Рассказала ему про свою беду. Он ее страшно пожалел, даже по руке погладил и тоже насчет валерьянки очень горячо говорил. Потом видит, что совет этот не принимается, он и говорит, вот как вы сейчас: «Если он такой подлец, что вам изменяет, так и вы ему измените».

Ну она, конечно, «ах, ах! Как это возможно, я его так любила, я себе прямо представить не могу».

А он, доктор-то, говорит:

— И ничего тут нет страшного. — Да трах, трах, трах, взял да и поцеловал ее. — Что, говорит, ведь не страшно?

— А что же это за трах-трах? — спросила Маргарита Николаевна, удивленная странным звукоподражанием.

— А это так говорится. Просто для изображения неожиданности.

— Ну и что же?

— Ну и ничего. Развелась с мужем и вышла замуж.

— За этого самого доктора?

— Нет, что ж так мрачно. За какого-то инженера.

— Да, нервные доктора, они иногда очень помогают, — задумчиво проговорила Маргарита Николаевна. — Наука сильно шагает вперед.

— Не знаю только, счастлива ли она во втором браке. Если опять на бабника попала, так недолго счастье протянется.

Маргарита Николаевна посмотрела на покинутую женщину очень строго и сказала:

— Ну уж это, милая моя, вы оставьте. Бабников вам в обиду не дам.

— Ну чего же в них хорошего? — возмутилась покинутая — Сегодня ухаживает за мной, а вчера ухаживал за другой, а завтра будет ухаживать за третьей. Ведь это же возмутительно. А послезавтра еще за другой.

— И отлично, — спокойно решила Маргарита Николаевна. — Если бы он всегда ухаживал за другой, так на твою долю никогда бы ничего и не досталось.

И действительно, нам, средним женщинам, только и радости, что от бабников. И как можно превозносить однолюба? Однолюб — да ведь это самый ужасный тип. Для него, конечно, очень удобно. Один раз раскачался, полюбил, и никаких хлопот. Сиди и страдай. Но для окружающих какая картина! Тощища-то какая. Ни на кого не смотрит, буркнет что-нибудь себе под нос и в десять часов спать пойдет.

Бабник рюмочку коньячку выпил и пошел кренделя выписывать. Комплимент направо, комплимент налево, той, которая визави[1], закрутит тухлый глаз, — молчу, мол, но страдаю. И всем весело, и всем хорошо.

К однолюбу не подступишься. Любезности не жди. Комплимент считает изменой идеалу. Если с однолюбом пошутишь, он посмотрит исподлобья, покраснеет и станет искать свою шляпу.

Уходит домой раньше всех. А дома страдалица-жена, отославшая его одного под предлогом головной боли, спешно подбирает чьи-то окурки и переставляет в комнате предметы в симметрическом порядке.

И там, значит, от однолюба заботы и горе.

Бабник у себя дома не засиживается. Вечно ему куда-нибудь бежать надо. Поэтому жена его присутствие ценит, а отсутствие употребляет с пользой для себя.

Кроме того, бабник существо абсолютно безопасное. Никогда он не разведет никакой трагедии. Для него все легко. Измены прощает охотно, не всегда даже и замечает их. В переживание не углубляется. Ревнует ровно постольку, поскольку это женщине льстит. Не то что притворяется или сдерживается, а просто таков по натуре.

Однолюб любит философствовать, делать выводы и чуть что — сейчас обвиняет, и ну палить в жену и детей.

Потом всегда пытается покончить и с собой тоже, но это ему почему-то не удается, хотя с женой и детьми он промаха не дает.

Впоследствии он объясняет это тем, что привык всегда заботиться в первую голову о любимых существах, а потом уж о себе. «Кое-как да как-нибудь. Сам я всегда на втором плане».

---

[1] Напротив (от *фр.* vis-à-vis).

— Да, милочка, — закончила свою речь Маргарита Николаевна. — Никогда не браните бабников и бойтесь однолюбов.

Покинутая подумала, вздохнула и спросила с сомнением:

— А может быть, мне влюбиться в Шуриного мужа? Я ему нравлюсь.

— В дурака Митеньку? Ну, милая, таких штук никогда делать не следует. Это грех прямо против десятой заповеди.

— Как десятой? Седьмой. Не прелюби-то в седьмой.

— В седьмой — там вообще, а в десятой прямо указывается: «Не пожелай себе осла ближнего твоего». Увлечь Митеньку! Да ведь это все равно, что с чужого двора осла свести. Некрасиво.

— Так как же?.. — снова начала покинутая.

Но Маргарита Николаевна остановила ее властным жестом и сказала проникновенно:

— Плюнь.

Атмосфера любви

Начало той истории, которую я хочу вам рассказать, довольно банально — дама позвала к себе в гости тех людей, которые, по ее мнению, ее любят и поэтому никаких неприятных моментов ей не доставят.

Собрать таких людей, между прочим, вовсе не так-то просто. Ну, вот вы, например, знаете, что такой-то Иван Андреевич очень многим вам обязан, но чувствует ли он к вам благодарность — это еще вопрос. Может быть, именно терпеть вас не может за то, что многим вам обязан? Разве этого не бывает?

И вот та дама, о которой идет речь, долго обдумывала и решила, что позвать можно только тех, кто отдал ей когда-то кусок души. Человек никогда не забывает того места, где зарыл когда-то кусочек души. Он часто возвращается, кружит около, пробует, как зверь лапой, поскрести немножко сверху.

Это, впрочем, касается, скорее, мужчин. Женщины существа неблагодарные. Человека, который от них отошел, редко вспоминают тепло. О том, с которым прожили лет пять и прижили троих детей, могут отозваться примерно так:

— И этот болван, кажется, воображал, что я способна на близость с ним!

Мужчины относятся благодарнее к светлой памяти прошедшего романа.

Итак, дама, о которой идет речь, решила пригласить четырех кавалеров. Двое из них принадлежали ее прошлому, один настоящему и один будущему.

Первый из принадлежащих прошлому был не кто иной, как разведенный муж этой самой дамы. Когда-то он очень страдал, потом переключил страдание на безоблачную дружбу, женился и, когда новая жена надоела, опять переключился на умиленную любовь к прежней жене. Выражалось это в том, что он приходил к ней иногда завтракать и дарил ей десятую часть на Национальную лотерею. Звали его Андреем Андреичем.

Второй из прошлой жизни был тот, из-за которого пришлось развестись. Он был давно переключен на дружбу, однако полную обожания и благодарности за незабываемые страницы — конечно, с его стороны. Его приглашали в дождливую погоду для тихих разговоров и чтения вслух. Он умел красиво говорить, он играл на гитаре, вздыхал и брал взаймы небольшие суммы. Звали его Сергей Николаич.

Принадлежащий настоящему был Алексей Петрович. Как и полагается герою текущего романа, он был подозрителен, ревнив, всегда встревожен, всегда готов закатить скандал. Словом — в его чувстве сомнений быть не могло.

Человек будущего был дансер Вовочка. Вовочка еще был в стадии мечтаний и желаний, в эпохе комплиментов и моментов. Он был чрезвычайно мил.

Словом, вся компания, весь мажорный аккорд из четырех нот, обещал быть приятным, радостным, поднимающим настроение и дающим сознание своих женственных сил. А у каждой женщины известных лет (которые вернее было бы называть «неизвестными») бывают такие настроения, когда нужно поднять бодрость духа. А ничто так не подни-

мает этот упавший дух, как атмосфера любви. Чувствовать, как тобой любуются, как следят за каждым твоим движением влюбленные глаза, тогда все в чуткой женской душе — прибавленные за последние дни два кило веса и замеченные морщины в углах рта — исчезает, выпрямляются плечи, загораются глаза, и женщина смело начинает смотреть в свое будущее, которое сидит тут же, подрыгивает ногой и курит папироску.

Итак, дама, о которой идет речь, — звали даму Марья Артемьевна — пригласила этих четырех кавалеров к обеду.

Первым пришел — олицетворяющий настоящее — Алексей Петрович. Узнав, кто еще приглашен, выразил на лице своем явное неодобрение.

— Странная идея! — сказал он. — Неужели эти люди могут представить какой-нибудь интерес в обществе? Впрочем, это дело ваше.

Он стал задумчив и мрачен, и только имя Вовочки вызвало на лице его улыбку.

— Милый молодой человек. И вполне серьезный, несмотря на свою профессию.

Марья Артемьевна немножко как будто удивилась, но удивления своего не выказала.

Словом, все обещало идти как по маслу и началось действительно хорошо.

Бывший муж принес конфеты. Это было так мило, что она невольно шепнула ему:

— Мерси, котик.

Второй представитель прошлого, Сергей Николаич, принес фиалки, и это было так нежно, что она и ему невольно шепнула:

— Мерси, котик.

Вовочка ничего не принес и так мило сконфузился, видя эти подарки, что она от разнеженности чувств шепнула и ему тоже:

— Мерси, котик.

Ну, словом, все было прелестно.

Конечно, Андрей Андреич покосился на фиалки Сергея Николаича — но это было вполне естественно. А Сергея Николаича покоробило от конфет Андрея Андреича — и это было вполне понятно. Разумеется, Алексею Петровичу были

неприятны и цветы, и конфеты — но это вполне законно. Вовочка надулся — но это так забавно!

Пустяки — пусть поревнуют. Тем веселее, тем ярче.

Она чувствовала себя веселой пчелкой, королевой улья среди гудящих любовью трутней.

Сели за стол.

Зеленые щи с ватрушками. Коньяк, водка. Все разогрелись, разговорились.

Марья Артемьевна, розовая, оживленная, думала:

«Какая чудесная была у меня мысль позвать именно этих испытанных друзей. Все они любят меня и ревнуют, и это общее их чувство ко мне соединяет их между собой».

— А ватрушки сыроваты, — вдруг заметил Алексей Петрович, представитель настоящего, и даже многозначительно поднял брови.

— Н-да! — добродушно подхватил бывший муж. — Ты, Манюрочка, уж не обижайся, а хозяйка ты никакая.

— Ну-ну, нечего, — весело остановила их Марья Артемьевна. — Вовсе они не так плохи. Я ем с большим удовольствием.

— Ну, это еще ничего не значит, что вы едите с удовольствием, — довольно раздраженно вступил в разговор Сергей Николаич, тот самый, из-за которого произошел развод. — Вы никогда не отличались ни вкусом, ни разборчивостью.

— Женщины вообще, — вдруг вступил в разговор Вовочка, запнулся, покраснел и смолк.

— Ну, господа, какие вы, право, все сердитые! — рассмеялась Марья Артемьевна.

Ей хотелось поскорее оборвать этот нудный разговор и наладить снова нежно-уютную атмосферу.

Но не тут-то было.

— Мы сердитые? — спросил бывший муж. — Обычная женская манера сваливать свою вину на других. Подала сырое тесто она, а виноваты мы. Мы, оказывается, сердитые.

Но Марья Артемьевна все еще не хотела сдаваться.

— Вовочка, — сказала она, кокетливо улыбаясь представителю будущего. — Вовочка, неужели и вы скажете, что мои ватрушки нельзя есть?

Вовочка под влиянием этой нежной улыбки уже начал было и сам улыбаться, как вдруг раздался голос Алексея Петровича:

— Мосье Вовочка слишком хорошо воспитан, чтобы ответить вам правду. С другой стороны, он слишком культурен, чтобы есть эту ужасную стряпню. Надеюсь, дорогая моя, вы не обижаетесь?

Вовочка нахмурился, чтобы показать сложность своего положения. Марья Артемьевна заискивающе улыбнулась всем по очереди, и обед продолжался.

— Ну вот, — бодро и весело говорила она. — Надеюсь, что этот матлот из угрей заставит вас забыть о ватрушках.

Она снова кокетливо улыбалась, но на нее уже никто не обращал внимания. Бывший муж заговорил с Алексеем Петровичем о банковских делах. Разговор их заинтересовал Сергея Николаича так сильно, что хозяйке пришлось два раза спросить у него, не хочет ли он салата. В первый раз он ничего не ответил, а на второй вопрос буркнул:

— Да ладно, отстань!

Эту неожиданную реплику услышал Вовочка, покраснел и надулся.

Марья Артемьевна почувствовала, что ее будущее в опасности.

— Вовочка, — тихонько сказала она, — вам нравится мое жабо? Я его надела для вас.

Вовочка чуть-чуть покосился на жабо, буркнул:

— Толстит шею.

И отвернулся.

Ничего нельзя было с ним поделать.

А те трое окончательно сдружились. Хозяйка совершенно перестала для них существовать. На ее вопросы и потчеванье они не обращали никакого внимания, и раз только бывший муж спросил, нет ли у нее минеральной воды, причем назвал ее почему-то Сонечкой и даже сам этого не заметил.

Они, эти трое, давно уже съехали с разговора о банковских делах на политику и очень сошлись во взглядах. Только раз скользнуло маленькое разногласие — Андрей Андреич слышал от одного француза, что большевики падут в сентябре, а Сергей Николаич знал сам от себя, что они должны

быть пасть еще в прошлом марте, но по небрежности и безалаберности, конечно, запоздали.

С политики переехали на анекдоты, которые рассказывали друг другу на ухо и долго громко хохотали.

Потом им надоело шептаться, и Андрей Андреич сказал Марье Артемьевне:

— А вы, душечка, пошли бы на кухню и присмотрели бы за кофе, а то выйдет, как с ватрушками. А мы бы здесь пока поговорили. Удивляюсь, как вы сами никогда ни о чем не догадываетесь.

И все на эти слова одобрительно загоготали.

Марья Артемьевна, очень обиженная, ушла в спальню и чуть-чуть всплакнула.

Когда она вернулась в столовую, оказалось, что гости уже встали и, отказавшись от кофе, куда-то очень заторопились.

— Мы хотим еще пройти на Монпарнас, куда-нибудь в кафе, подышать воздухом, — холодно объяснил хозяйке Алексей Петрович и глядел куда-то мимо нее.

Весело и громко разговаривая, стали они спускаться с лестницы.

— Вовочка! — почти с отчаянием остановила Марья Артемьевна своего дансера. — Вовочка, еще рано! Останьтесь!

Но Вовочка криво усмехнулся и пробормотал:

— Простите, Марья Артемьевна, было бы неловко перед вашими мужьями.

И бросился вприскочку вниз по лестнице.

Пасхальный рассказ

Многие, наверное, помнят те традиционные праздничные рассказы, которые печатались в газетах и журналах в рождественских и пасхальных номерах.

А те, кто их не читал, те, конечно, знают понаслышке, так как рассказы эти столько раз высмеивались.

Темы этих рассказов были специальные.

Для рождественского — замерзающий мальчик или ребенок бедняка на богатой елке.

Для пасхального рассказа полагалось возвращение блудного мужа к жене, одиноко тоскующей над куличом. Или возвращение блудной жены к брошенному мужу, обливающему одинокими слезами бабу.

Примирение и прощение происходило под звон пасхальных колоколов.

Таковы были строго выбранные и установленные темы.

Почему дело должно было происходить именно так — неизвестно. Муж с женой отлично могли бы помириться и в ночь под Рождество, а бедный мальчик вместо елки мог бы так же трогательно разговеться среди богатых детей.

Но обычай вкоренился так прочно, что и подумать об этом было нельзя. Возмущенные читатели стали бы писать негодующие письма, и тираж журнала пошатнулся бы непременно.

Даже крупные писатели покорялись этому обычаю. Заказывали такому писателю рождественский рассказ — он писал рождественский. Заказывали пасхальный — тоже знал, что от него требуется.

Даже такой утонченный писатель, как Федор Сологуб, писал на пасхальные темы с примирением супругов под звон колоколов. Впрочем, было в Сологубе много тайной иронии, и любил он иногда как бы нарочно, как бы издеваясь над самим собой и над заискивающими перед ним в тот период издателями, взять да и подвернуть пошленькую тему.

Но вот, после этого предисловия, расскажу я вам самый настоящий пасхальный рассказ, автором которого является сама жизнь. Можно подумать, что начиталась жизнь всяких пасхальных сентиментальных выдумок, да и решила:

— Нет, господа писатели, все это так, да не так. Вот я вам сейчас изображу все, как надо.

Постараюсь передать рассказ в том виде, в каком рассказала его жизнь.

* * *

Нина Николаевна прижалась плечом к Андрееву. Он взял ее под руку и стал протискиваться через толпу.

— Какая масса народу всегда на этих заутренях, — сказала Нина Николаевна. — Ничего не видно, ничего не слышно,

в церковь не пробраться, топчешься на улице и знакомых не разыскать.

— Иностранцев масса, — сказал Андреев. — Им любопытно.

Гудел тяжелый колокол.

Лица, озаренные снизу теплым розовым огоньком свеч, казались совсем необычными, с темными провалами глаз, широкими дугами бровей и резко очерченным ртом.

Огромные «солнца» кинематографических аппаратов освещали толпу, стоящую на ступенях храма, и медленно льющуюся струю крестного хода.

— Пойдем домой! — сказала Нина Николаевна. — Начинает дождь накрапывать.

— Хочешь сегодня разговляться? — спросил Андреев.

— Да у меня ничего особенного нет. Кулич, пасха, ветчина, колбаса из русской лавки.

— Ну чего же еще! Прямо пир горой. Значит, ты меня приглашаешь?

Нина Николаевна и Андреев очень сошлись характерами. Может быть, потому, что встречались только по вечерам, после работы, и времени еле хватало на выражение нежных чувств, так что о том, чтобы как следует поругаться, и мечтать было нечего.

Нина Николаевна была очень мила и уютна. Андреев был человек несложный, отнюдь не раздираемый всякими проклятыми вопросами и запросами, жил на свете просто, ел, пил, служил и водил свою даму в кино. Воротнички носил свежие и даже чистил ноги.

Человек с такими чудесными качествами и который явился на жизненном пути Нины Николаевны так вовремя, как раз в такую минуту, когда именно такой человек нужен, — не мог не завладеть ее сердцем. А минута их роковой встречи была та самая, когда муж Нины Николаевны, неврастеник самого подлого типа (визгун, пила, нытик), заявил ей, что они никогда не поймут друг друга, и ушел, хлопнув дверью.

Почему он сказал «под занавес» такую неудачную фразу — неизвестно. На самом деле, именно оттого они и ссорились, что очень хорошо друг друга понимали. Она по-

нимала, что он лентяй и бездельник, который злится, что у него нет денег, чтобы сидеть в бистро и развивать перед каким-нибудь случайным слушателем всякие свои ерундовые, всегда желчные мысли.

Он понимал, что ей хочется принарядиться и пойти в кино.

А больше в обоих понимать было абсолютно нечего.

И вот, когда дверь за ним захлопнулась, она вспомнила, что забыла попрекнуть его, что, когда он был осенью болен, так она три ночи не спала.

Живо вскочив с места и распахнув дверь, чтобы крикнуть ему вниз по лестнице, что он неблагодарная свинья, она столкнулась лицом к лицу с очаровательным господином в пестрой пижаме, который, открыв дверь своего номера, выставлял за порог сапоги.

Как потом выяснилось, возбужденное и пламенеющее лицо Нины Николаевны поразило его.

— Экспрессия и темперамент неописуемые, — говорил он.

На другое же утро он робко постучал к ней и спросил, не беспокоит ли ее, что он по ночам курит.

Она выразила изумление.

— Через стену разве это может иметь значение?

— Ах, не говорите! — сказал он. — Парижские постройки такие зыбкие. Здешний бетон такой пористый, все впитывает. И я бы никогда не простил себе, если бы вы из-за меня пострадали.

И пошло́, и пошло́. На другой день он уже знал, что она больше не верит в любовь и навсегда останется одинокой, а она знала, что он никогда не любил и любить не будет.

Выяснив это, он с ее согласия переехал в номер, находящийся по другую сторону от ее комнаты, потому что в этом номере была дверь в ее комнату.

Муж Нины Николаевны так и не вернулся.

Раза два писал ей длинные письма, в которых сообщал, что он никогда не сможет ее простить, но за что именно, так и не объяснил. Зато излагал очень подробно свои взгляды на психологию современного человека и требовал от этого человека непременного совершенствования, и как можно скорее.

— Мир задыхается! — восклицал он.

Нине Николаевне письма его очень не нравились.

«Эдакий болван, — думала она. — Написал бы лучше, нашел ли службу».

Но время шло. Андреев, с которым некогда было ссориться, стал казаться пресноватым.

«Синема да синема. Никаких запросов», — думала она о нем уже с некоторым раздражением.

И письма мужа, валявшиеся на дне рабочего ящика, начали ей больше нравиться.

— Это все-таки был человек незаурядный. Может быть, я действительно была перед ним виновата?

Портретов мужа у нее не было. Была одна старая карточка еще жениховских времен, с хохлом на лбу и вдохновенными глазами. И глядя на него, Нина Николаевна мало-помалу стала забывать пухлую желтую харю последних времен своей супружеской жизни.

* * *

Двери отельчика еще не были заперты, когда они подошли к дому.

Девица-бюро сидела за конторкой и, увидя Нину Николаевну, сказала вполголоса, покосившись на Андреева:

— Мосье сидит в комнате мадам.

Нина Николаевна сначала не поняла, о ком речь.

— Мосье — ваш муж, — внушительно сказала девица и опять покосилась на Андреева.

Нина Николаевна замерла.

— Идите к себе, — сказала она вполголоса. — Мы потом объяснимся. Муж вернулся.

Тот метнулся было к ней, хотел что-то сказать, но только растерянно развел руками и побежал вверх по лестнице, шагая через две ступеньки.

Нина Николаевна медленно, с тяжело бьющимся сердцем стала подниматься. Закрыв глаза, постояла минутку перед дверью.

— Вернулся! Вернулся! Он вернулся! Боже мой! Я, кажется, его люблю!

Она тихо открыла дверь и остановилась.

За столом сидел пухлый желтый человек и с аппетитом ел ветчину.

— Простите, — сказал он спокойно. — Я тут не дождался вас и подзакусил.

Она растерянно смотрела и не знала, что ей делать. Сняла шляпу. Положила ее на кровать. Подвинула стул к столу. Села.

Он скользнул по ней глазами, вытер рот, закурил и спросил деловито:

— У вас чаю нет? Я бы выпил чашку.

— Сейчас, — сказала она дрожащим голосом и пошла за перегородку готовить чай.

«Как все это удивительно! — думала она. — Как в сказке! Вернулся в пасхальную ночь. И как он гордо владеет собою. Но что будет с Андреевым? Трагедия... Вернулся! Как сон... Съел мою ветчину... Как сон. Что же это в конце концов — любовь, или что?»

Когда она снова подошла к столу, он задумчиво жевал кулич, намазывая на него пасху.

— Ну-с, как же вы живете? — спросил он довольно равнодушно. И, не дожидаясь ответа, продолжал: — Я много передумал за это время и решил вас простить. В конце концов вы не виноваты в том, что ваши родители были глупы и передали вам это неудобное качество. Что поделаешь? Если бы вы еще были очень красивы и могли бы красотой покрыть свои духовные дефекты — было бы, конечно, легче. Вы не должны обижаться. Я говорю не для того, чтобы обидеть вас, а для того, чтобы вы уяснили себе ваше положение в мире. Вы, наверное, никогда не задумывались о своем положении в мире? Такое существо, как вы, чтобы оправдать свое существование, должно быть жертвенным. Должно служить существу высшего порядка, натуре избранной.

Он затянулся папироской, развалился в кресле и, засунув руки в карманы, продолжал:

— Я сейчас разрабатываю один план в грандиозно-европейском масштабе. Нужен сильный и быстрый разворот. Постарайтесь следить за моей мыслью. Н-да. Сильный и быстрый разворот. В грандиозно-европейском масштабе. Я, конечно, не думаю поселиться вместе с вами. Меня снова

засосало бы мещанство. Но я вас простил и даю вам возможность быть полезной и мне, и моему делу. Короче говоря — есть у вас пятьдесят франков?

* * *

Она открыла окно, чтобы выветрить табачный дым.

Прислушалась.

Ей казалось, что в воздухе еще гудит пасхальный звон. Нет, это был рожок автомобиля.

Прибрала на столе.

Щеки горели. Но на душе было спокойно и даже как-то уютно. Вероятно, школьник, которому долго грозили наказанием и в конце концов выпороли, — так себя чувствует.

Смела со скатерти крошки, унесла грязную тарелку, подправила фасон пасхи — будто она просто маленькая, а не то что кусок (здоровенный!) уже съеден. Пригладила волосы и постучала к Андрееву.

Он тотчас откликнулся и вошел, надутый, обиженный, не знающий, как себя держать.

Она усадила его за стол и, сделав фатальное выражение лица (брови подняты, глаза опущены, губы сжаты), до утра рассказывала ему про мужа, как этот безумец рыдал, умолял ее простить и вернуться, соблазнял ее своим великолепным положением и крупным заработком:

— Пятьдесят франков в день гарантированных.

Но она отвергла его. И если он застрелится, то:

— Верь мне, — ни одна фибра моего лица не дрогнет.

И Андреев смотрел на фибры ее лица, с которых слезла пудра, и думал:

«Это фатальная женщина. Нужно от нее подальше».

Рассказ продавщицы

И какие только в нашей женской судьбе бывают странности и даже несправедливости. Так, можно сказать, что, например, в животном царстве вы никогда ничего подобного не увидите.

Ну вот, например, история с Бертой Карловной. Ну, где вы нечто подобное, если рассуждать правильно, могли бы встретить? Ведь это прямо если нарочно стараться, так и то не выдумаешь.

Я ведь все это знаю, все на моих глазах было. Мы ведь с ней вместе в Париж приехали. Я, тетенька и она. Приехали и стали, конечно, искать, куда бы приткнуться.

Тетенька скорее всех нашла занятие — в одной тентюрлюрли[1] на чулках подымать петли. Очень и мне советовала приняться за это дело, потому что, если большая тентюрлюрли, так можно шутя двадцать франков в день заработать. Половину, конечно, придется отдать самой тентюрлюрлирше, а десять франков это уж обеспечено.

Но я, короче говоря, на это не соблазнилась. Какой, подумаешь, сахар молоденькой девушке в тридцать лет замариноваться на чужих петлях. Кругом столица мира, а ты сиди, как лошадь, в тентюрлюрли с утра до ночи.

Повидали мы кое-кого из наших, из русских, которые раньше нас приехали и уже устроились. Так они прямо руками на нас замахали.

— Разве, — говорят, — это карьера для современной девицы? Теперь, — говорят, — одна карьера только и есть на свете.

— Какая же, — спрашиваем, — карьера?

— Холливуд.

— Чего такого?

А они опять:

— Холливуд.

Мы думали, что это, может быть, какой-нибудь мужчина. Ну, однако, парижанки все нам объяснили.

Прежде всего — брови долой. Лоб чтобы был голый, а там рисуй на нем, что хочешь. Волосы надо выбелить, лицо, конечно, выкрасить. А потом, если повезет, можно устроиться в Холливуд.

Но тут выяснилось, что бывает в Париже женская судьба и без Холливуда, что богатые англичане, когда достигнут

[1] Красильне (от искаж. *фр.* teinturerie).

почтенного возраста, очень начинают любить русскую душу. И если русская душа к лицу принаряжена, и подмазана, и подщипана, то судьба ее устраивается не только прочно, но даже и законно.

Наслушалась я этих наставлений, да и говорю моей Берте Карловне:

— Ты, милая моя, как хочешь, а я буду метить на Холливуд. Там можно легко миллион в день заработать.

А Берта уперлась.

Между прочим, рожа она, короче говоря, ужасная. Росту большого, спина круглая, что называется — котом, лопатки торчат, ручищи что грабли, лицо длинное и под носом усы. Даже не похожа на немку, бровастая какая-то. Думаю, между прочим, что, если ее забелить да ощипать, так она, пожалуй, еще страшнее стала бы. На Холливуд ей, значит, дороги нет. На англичанина тоже вряд ли пути ей открыты, потому что душа у нее нерусская. Хоть и родилась она в России, а говорит как-то неладно. К каждому слову все что-то «всяко ж» да «всяко ж». Будто и не по-русски.

Заложила я теплое пальто и мамочкино колечко, пошла в парикмахерскую, разделала себя под Холливуд. С непривычки как будто и некрасиво. Волосы белые, морда от них сизая, вместо бровей опухоли. Но, действительно, вид стал модный, а это, говорят, самое главное.

Ну, стали мы с подружкой, с Берточкой, хлопотать о месте. Я сначала решила было не торопиться. Если пригласят в Холливуд, так не стоит поступать на службу, а потом живо бросить. Только нервам трепка.

Посидела недельки две, да вижу — дело идет туго. Никто даже и не интересуется, что у меня брови щипаные. А ведь я, не пито-не едено, отвалила парикмахеру за весь этот Холливуд сорок шесть франков, да два на чай.

Между тем, Берта Карловна нашла себе место. Кассиршей в конфетном магазине. Очень была довольна, только жаловалась, что от двери дует, за три недели два флюса натянуло.

Очень мне обидно было, что я такая, милочка и модница, сижу без ангажемента, а усатая Берта так хорошо устроилась.

И вот как-то она вдруг и предлагает мне:

— Хочешь, я попробую тебя продавщицей устроить.

Очень меня это укололо.

— Не к такой карьере я себя готовила. Я молода и хороша, и чего же мне всю жизнь на чужие рты конфеты заворачивать.

А Берта отвечает:

— Никто не знает своей судьбы. Вот была здесь в одном курорте продавщица, тоже в конфетном магазине, и зашел в тот магазин индейский король. Как ее увидал, так сразу на полтора миллиона конфет купил и бух на колени: «Будьте, кричит, моей женой, иначе мне не жить и вам не жить, один конец». Хозяева перепугались, послали за переводчиком, тот все точно изложил, а на другой день и свадьбу сыграли.

— Всяко ж, — говорит Берта, — в конфетный магазин масса всяких королей ходит. Может быть, какой-нибудь и тобой заинтересуется.

Ну, думаю, короче говоря, почему бы мне и не начать с конфетной торговли? С чего-нибудь да надо же начинать.

В этом деле как раз мне и повезло. Понадобилась еще продавщица, Берта Карловна попросила, меня и взяли.

Кроме меня, было там еще две. И обе на меня похожи. Тоже мазаные, щипаные, волосы белые, щеки от них сизые. Ну прямо как сестрицы. Очень миленькие — совсем Холливуд. А Берта наша огромная, костистая, бровастая, стоит, машинкой гремит, и на щеке флюс. Ужасно неинтересная. Ну, прямо не женщина, а тетка. Даже к конфетному делу не подходит. Около конфет нужна улыбочка, вертлявость, душок приятный, фиалковый одеколончик. Ну, да Бог с ней, думаю, каждому человеку жить надо.

Вот приходит к нам как-то седой господин, очень интересный, в новых перчатках. Мне одна из наших, из мармазелей, шепчет: «На своем ото[1] приехал». Я как раз ему конфеты накладывала. Ну, конечно, улыбаюсь, пальчики петушиным гребешком складываю, все так изящно, что прямо хоть на музыку перекладывай. Купил фунт шоколаду фондан и полфунта крокан. Очень, короче говоря, сдержанный тип. Потом пошел к кассе и что-то очень внимательно нашу Берту рассматривал. Сам деньги скла-

---

[1] Автомобиле (от *фр.* auto).

дывает, а сам на нее смотрит, да так, что даже бумажки мимо кошелька тычет.

Ушел, а мы, мармазели, стали промеж себя толковать, что нехорошо такую кассиршу держать. Ну прямо пугало, и щека подвязана. Ну, однако, не наше дело, а тем более не мое. Она мне друг и меня на место устроила.

Недельки через две является наш сдержанный тип снова. Купил фунт трюф-о-шоколя и опять на нас никакого внимания. А как подошел к кассе, снова на Берту уставился, да вдруг и говорит:

— А у вас опять флюс? Это вам, верно, от двери дует?

Берта плечами пожала.

— Да, — отвечает, — дует, а что же я могу?

Он покачал головой и ушел.

Ну, думаем, прогонят нашу Берту. Вон уж покупатели замечают, что она с неподходящим флюсом.

Через несколько дней заходит этот самый господин опять. Покупает фунт фондан, идет платить и спрашивает у Берты:

— Это у вас новый флюс или все еще тот же?

Не знаю, что она ответила, только он вдруг нагнулся к ней, взял ее за руку и говорит:

— Вам следует найти себе такое место, где на вас не будет дуть.

И прибавил:

— Подумайте хорошенько над моими словами.

С этим и ушел, сел в свой автомобиль и покатил.

Мы все ужасно удивились, что это может значить? «Следует найти другое место». Может быть, это в том смысле, чтобы она убиралась отсюда вон.

Так мы ничего и не поняли, а Берта весь вечер плакала.

И что же бы вы думали? На другой день является наш господин снова. Ничего не покупает, идет прямо к кассе и что-то шепотом спрашивает. Берта краснеет как рак и начинает махать руками во все стороны. Потом кричит «да!» и начинает хохотать и плакать, как корова.

А он спокойно вынимает из кармана футляр, открывает, достает кольцо с камнем, ловит ее руку, надевает ей кольцо и очень элегантно говорит нам:

— Позвольте вам представить мармазель... как ваше имя?

Она кричит:

— Берта!

— Мармазель Берта, моя невеста. А я Мерлан, фабрикант дверных ручек. У меня теплая квартира, и ее прекрасная щека не будет больше заболевать.

Ну что вы на это скажете?

Конечно, он не король, ну да по нынешним временам у него положение по крайней мере прочное.

Но пусть мне теперь толкуют про щипаные брови и прочий Холливуд. Пусть попробуют потолковать! Я знаю, что я им отвечу!

Мудрый человек

Тощий, длинный, голова узкая, плешивая, выражение лица мудрое.

Говорит только на темы практические, без шуточек-прибауточек, без улыбочек. Если и усмехнется, так непременно иронически, оттянув углы рта книзу.

Занимает в эмиграции положение скромное: торгует вразнос духами и селедками. Духи пахнут селедками, селедки — духами.

Торгует плохо. Убеждает неубедительно:

— Духи скверные? Так ведь дешево. За эти самые духи в магазине шестьдесят франчков отвалите, а у меня девять. А плохо пахнут, так вы живо принюхаетесь. И не к такому человек привыкает.

— Что? Селедка одеколоном пахнет? Это ее вкусу не вредит. Мало что. Вот немцы, говорят, такой сыр едят, что покойником пахнет. И ничего. Не обижаются. Затошнит? Не знаю, никто не жаловался. От тошноты тоже никто не помирал. Никто не жаловался, что помирал.

Сам серый, брови рыжие. Рыжие и шевелятся. Любил рассказывать о своей жизни. Понимал, что жизнь его являет образец поступков осмысленных и правильных. Рассказывая, он поучает и одновременно выказывает недоверие к вашей сообразительности и восприимчивости.

— Фамилия наша Вурюгин. Не Ворюгин, как многие позволяют себе шутить, а именно Вурюгин, от совершенно неизвестного корня. Жили мы в Таганроге. Так жили, что ни один француз даже в воображении не может иметь такой жизни. Шесть лошадей, две коровы. Огород, угодья. Лавку отец держал. Чего? Да все было. Хочешь кирпичу — получай кирпичу. Хочешь постного масла — изволь масла. Хочешь бараний тулуп — получай тулуп. Даже готовое платье было. Да какое! Не то что здесь, — год поносил, все залоснится. У нас такие материалы были, какие здесь и во сне не снились. Крепкие, с ворсом. И фасоны ловкие, широкие, любой артист наденет — не прогадает. Модные. Здесь у них насчет моды, надо сказать, слабовато. Выставили летом сапоги коричневой кожи. Ах-ах! во всех магазинах, ах-ах, последняя мода. Ну, я хожу, смотрю, да только головой качаю. Я такие точно сапоги двадцать лет тому назад в Таганроге носил. Вон когда. Двадцать лет тому назад, а к ним сюда мода только сейчас докатилась. Модники, нечего сказать.

А дамы как одеваются! Разве у нас носили такие лепешки на голове? Да у нас бы с такой лепешкой прямо постыдились бы на люди выйти. У нас модно одевались, шикарно. А здесь о моде понятия не имеют.

Скучно у них. Ужасно скучно. Метро да синема. Стали бы у нас в Таганроге так по метро метаться? Несколько сот тысяч человек ежедневно по парижским метро проезжает. И вы станете меня уверять, что все они по делу ездят? Ну, это, знаете, как говорится, ври, да не завирайся. Триста тысяч человек в день и все по делу! Где же эти их дела-то? В чем они себя сказывают? В торговле? В торговле, извините меня, застой. В работах тоже, извините меня, застой. Так где же, спрашивается, дела, по которым триста тысяч человек день и ночь, выпуча глаза, по метро носятся? Удивляюсь, благоговею, но не верю.

На чужбине, конечно, тяжело, и многого не понимаешь. Особливо человеку одинокому. Днем, конечно, работаешь, а по вечерам прямо дичаешь. Иногда подойдешь вечером к умывальнику, посмотришь на себя в зеркальце и сам себе скажешь:

— Вурюгин, Вурюгин! Ты ли это богатырь и красавец? Ты ли это торговый дом? и ты ли это шесть лошадей, и ты ли

это две коровы? Одинокая твоя жизнь, и усох ты, как цветок без корня.

И вот должен я вам сказать, что решил я как-то влюбиться. Как говорится — решено и подписано. И жила у нас на лестнице в нашем отеле «Трезор» молоденькая барынька, очень милая и даже, между нами говоря, хорошенькая. Вдова. И мальчик у нее был пятилетний, славненький. Очень славненький был мальчик.

Дамочка ничего себе, немножко зарабатывала шитьем, так что не очень жаловалась. А то знаете — наши беженки — пригласишь ее чайку попить, а она тебе, как худой бухгалтер, все только считает да пересчитывает: «Ах, там не заплатили пятьдесят, а тут не доплатили шестьдесят, а комната двести в месяц, а на метро три франка в день». Считают да вычитают — тоска берет. С дамой интересно, чтобы она про тебя что-нибудь красивое говорила, а не про свои счеты. Ну, а эта дамочка была особенная. Все что-то напевает, хотя при этом не легкомысленная, а, как говорится, с запросами, с подходом к жизни. Увидела, что у меня на пальто пуговица на нитке висит, и тотчас, ни слова не говоря, приносит иголку и пришивает.

Ну я, знаете ли, дальше — больше. Решил влюбляться. И мальчик славненький. Я люблю ко всему относиться серьезно. А особенно в таком деле. Надо умеючи рассуждать. У меня не пустяки в голове были, а законный брак. Спросил, между прочим, свои ли у нее зубы. Хотя и молоденькая, да ведь всякое бывает. Была в Таганроге одна учительница. Тоже молоденькая, а потом оказалось — глаз вставной.

Ну, значит, приглядываюсь я к своей дамочке и совсем уж, значит, все взвесил. Жениться можно.

И вот одно неожиданное обстоятельство открыло мне глаза, что мне, как порядочному и добросовестному, больше скажу — благородному человеку, жениться на ней нельзя. Ведь подумать только — такой ничтожный, казалось бы, случай, а перевернул всю жизнь на старую зарубку.

И было дело вот как. Сидим мы как-то у нее вечерком, очень уютно, вспоминаем, какие в России супы были. Четырнадцать насчитали, а горох и забыли. Ну и смешно стало. То есть смеялась-то, конечно, она, я смеяться не люблю.

Я скорее подосадовал на дефект памяти. Вот, значит, сидим, вспоминаем былое могущество, а мальчонка тут же.

— Дай, — говорит, — маман, карамельку.

А она отвечает:

— Нельзя больше, ты уже три съел.

А он ну канючить: «дай» да «дай».

А я говорю, благородно шутя:

— Ну-ка пойди сюда, я тебя отшлепаю.

А она и скажи мне фатальный пункт:

— Ну, где вам! Вы человек мягкий, вы его отшлепать не сможете.

И тут разверзлась пропасть у моих ног.

Брать на себя воспитание младенца как раз такого возраста, когда ихнего брата полагается драть, при моем характере абсолютно невозможно. Не могу этого на себя взять. Разве я его когда-нибудь выдеру? Нет, не выдеру. Я драть не умею. И что же? Рубить ребенка, сына любимой женщины.

— Простите, — говорю, — Анна Павловна. Простите, но наш брак утопия, в которой все мы утонем. Потому что я вашему сыну настоящим отцом и воспитателем быть не смогу. Я не только что, а прямо ни одного разу выдрать его не смогу.

Говорил я очень сдержанно, и ни одна фибра на моем лице не дрогнула. Может быть, голос и был слегка подавлен, но за фибру я ручаюсь.

Она, конечно, — ах, ах! Любовь и все такое, и драть мальчика не надо, он, мол, и так хорош.

— Хорош, — говорю, — хорош, а будет плох. И прошу вас, не настаивайте. Будьте тверды. Помните, что я драть не могу. Будущностью сына играть не следует.

Ну, она, конечно, женщина, конечно, закричала, что я дурак. Но дело все-таки разошлось, и я не жалею. Я поступил благородно и ради собственного ослепления страсти не пожертвовал юным организмом ребенка.

Взял себя вполне в руки. Дал ей поуспокоиться денек-другой и пришел толково объяснить.

Ну, конечно, женщина воспринять не может. Зарядила: «дурак» да «дурак». Совершенно неосновательно.

Так эта история и покончилась. И могу сказать — горжусь. Забыл довольно скоро, потому что считаю ненужным

вообще всякие воспоминания. На что? В ломбард их закладывать, что ли?

Ну-с и вот, обдумавши положение, решил я жениться. Только не на русской, дудки-с. Надо уметь рассуждать. Мы где живем? Прямо спрашиваю вас — где? Во Франции. А раз живем во Франции, так значит, нужно жениться на француженке. Стал подыскивать.

Есть у меня здесь один француз знакомый. Мусью Емельян. Не совсем француз, но давно тут живет и все порядки знает.

Ну вот этот мусью и познакомил меня с одной барышней. На почте служит. Миленькая. Только, знаете, смотрю, а фигурка у нее прехорошенькая. Тоненькая, длинненькая. И платьице сидит как влитое.

Эге, думаю, дело дрянь!

— Нет, — говорю, — эта мне не подходит. Нравится, слов нет, но надо уметь рассуждать. Такая тоненькая, складненькая, всегда сможет купить себе дешевенькое платьице — так, за семьдесят пять франков. А купила платьице — так тут ее дома зубами не удержишь. Пойдет плясать. А разве это хорошо? Разве я для того женюсь, чтобы жена плясала? Нет, — говорю, — найдите мне модель другого выпуска. Поплотнее. И, можете себе представить, живо нашлась. Небольшая модель, но эдакая, знаете, трамбовочка кургузенькая, да и на спине жиру, как говорится, не купить. Но в общем, ничего себе и тоже служащая. Вы не подумайте, что какая-нибудь кувалда. Нет, у ней и завитушечки, и плоечки, и все, как и у худеньких. Только, конечно, готового платья для нее не достать.

Все это обсудивши да обдумавши, я, значит, открылся ей в чем полагается, да и марш в мэри[1].

И вот, примерно через месяц, запросила она нового платья. Запросила нового платья, и я очень охотно говорю:

— Конечно, готовенькое купишь?

Тут она слегка покраснела и отвечает небрежно:

— Я готовые не люблю. Плохо сидят. Лучше купи мне материю синенького цвета да отдадим сшить.

---

[1] Мэрию (от *фр.* mairie).

Я очень охотно ее целую и иду покупать. Да будто бы по ошибке покупаю самого неподходящего цвета. Вроде буланого, как лошади бывают.

Она немножко растерялась, однако благодарит. Нельзя же — первый подарок, эдак и отвадить легко. Тоже свою линию понимает.

А я очень всему радуюсь и рекомендую ей русскую портниху. Давно ее знал. Драла дороже француженки, а шила так, что прямо плюнь да свистни. Одной клиентке воротничок к рукаву пришила, да еще спорила. Ну вот, сшила эта самая кутюрша моей барыньке платье. Ну прямо в театр ходить не надо, до того смешно! Буланая телка, да и только. Уж она, бедная, и плакать пробовала, и переделывала, и перекрашивала — ничего не помогло. Так и висит платье на гвозде, а жена сидит дома. Она француженка, она понимает, что каждый месяц платья не сошьешь. Ну вот и живем тихой семейной жизнью. Я очень доволен. А почему? А потому, что надо уметь рассуждать.

Научил ее голубцы готовить.

Счастье тоже само в руки не дается. Нужно знать, как за него взяться.

А всякий бы, конечно, хотел, да не всякий может.

Сорока

Вид у нее был придурковатый и озабоченный.

Манеры суетливые. Вечно что-то бормочет и наскакивает боком.

Вся всегда в черном с белым — сейчас это сочетание модно.

Нос длинный. Глаза круглые, недовольные и глупые.

Не ищите по этим приметам знакомых вам дам. Не найдете. То есть если и найдете, то речь идет не о них. Речь идет о птице, о сороке.

Живет эта птица-сорока в Париже, на улице Кретель, что против больничного садика.

Познакомились мы с ней следующим образом.

Шли мы как раз мимо этого садика, шли с собакой.

Вдруг видим — шагает по тротуару птица. Вид недовольный, и совершенно нас не боится.

Собака на нее залаяла, но птица и глазом не сморгнула, а напротив того — сердито закрякала, будто заругалась, и стала боком-боком наступать на собаку.

— Что за притча?

— Наверное, ручная.

Из окна нижнего этажа высунулась бабья голова и сказала:

— Кики!

Это, ясно, было обращение к сороке.

У французов вообще все, что не лошадь и не корова, то «кики». «Кики» — кролик, канарейка, обезьяна, черепаха, гиппопотам зоологического сада и собственная внучка.

Значит, сорока была для бабы Кики и, очевидно, ручная.

Подошли, спросили.

Оказывается — угадали. Ручная. И вдобавок известная на весь квартал.

Ну вот, как говорится, первый лед был сломан. Мы стали изредка встречать сороку на ее улице.

И всегда она бывала сердита, озабоченная какими-то сложными и спешными делами, и видно было, что дела эти не ладились.

Но вот — сорока пропала. На улице больше не встречалась. Может быть, захворала?

Как-то неловко было наводить справки. Казалось, будто это как-то не принято. Врываться в частную жизнь. Мало ли почему она больше не гуляет. Вообще в культурных государствах не полагается даже давать адрес ваших друзей, если вы о них справляетесь. Мало ли что может быть. Может быть, они именно от вас-то и прячутся. В культурных государствах частная жизнь священна.

— Почему сорока не гуляет?

— А вам какое дело? Не суйтесь куда вас не спрашивают.

Пришлось подавить в себе естественный прорыв любопытства, и сорока мало-помалу сгладилась в нашей памяти.

И вот в один прекрасный день, проходя по той же сорочьей улице, слышим мы разговор. Говорила какая-то про-

хожая с той самой бабьей головой, которая торчала из окна первого этажа и звала сороку «Кики».

— А что же ее не видно, вашей сороки? — спрашивала прохожая.

— Ах, она страшно занята, — отвечала бабья голова. — Она ищет себе мужа и начала вить гнездо.

Тут мы не вытерпели.

— Где же ее гнездо? Вы простите, что мы спрашиваем. Это не простое любопытство. Мы как старые знакомые. Мы часто встречались, и вообще, может быть, что-нибудь нужно...

— Вот обернитесь, — указала нам бабья голова. — Видите, за оградой большое дерево. Вон там, высоко-высоко, ее гнездо. Чудное гнездо. Роскошное. Уж она туда таскала, таскала всякого добра! У моей дочери лента пропала, искали — с ног сбились, а мадам Раку говорит, что видела, как сорока ее в лапах тащила. У Жюля спортивный значок пропал, у Мишлин ложечка. Муж хотел даже влезть, посмотреть, пошарить у нее в гнезде, да уж очень высоко, трудно. У нее там все шикарно устроено. Теперь сидит и ждет мужа. Только здесь сорок совсем не видно, одни воробьи. Но ведь для воробья она совсем не подходящая.

— В Медоне масса соро́к, — вставила прохожая.

— Да, говорят. Но как же им дать знать? Они сюда не залетают.

— Ей бы самой туда слетать.

— Так ведь она не знает.

— Я слышала, что есть говорящие сороки. Вот если бы ее выучили в свое время говорить, так и можно было бы ей растолковать насчет Медона.

— Теперь уж ей учиться поздно. Теперь у нее не то в голове.

— Ну, может быть, еще и заглянет кто-нибудь сюда. Птицы ведь летают. Кто-нибудь из них увидит сверху и даст знать.

— Если бы какая-нибудь сорока увидела. Они ведь болтливые, недаром существует поговорка «сорока на хвосте принесла».

Прошло еще около месяца. И вот снова мы на этой улице, и снова торчит из окна бабья голова.

Теперь уж мы, как свои люди, связанные сорочьими интересами, прямо приступаем к делу.

— Бонжур-бонжур[1], ну как она, нашла мужа?

Голова уныло качается.

— Ах, если бы вы знали! Ждала-ждала и решила, что гнездо недостаточно шикарно. Представьте себе, бросила его и стала вить новое. Огромное. Прямо точно на орла рассчитывает. У меня за нее сердце болит. Ну, как ей объяснить, что не в этом дело?

— Да, если бы ее в свое время научили говорить!

— Ну, кто же мог знать.

И еще прошло довольно много времени, и снова разговор с бабьей головой.

— Ну, что?

— Совсем беда. Понимаете, какая вышла история. Свила она гнездо всем на удивление. Не только что птице — авиатору было бы где поместиться. Ну и вот, ждала сорока, ждала — так и не дождалась. Ну и решила на законный брак плюнуть и обойтись своими средствами. Нанесла яиц-жировиков и теперь сидит-высиживает. Второй месяц сидит. Похудела, облезла — один нос да глаза. Хвост потеряла. Вылетит на минутку, облетит вокруг гнезда три раза, очевидно, для моциону, и опять сидит.

— Что же теперь делать? Ведь она так погибнет.

— Да, все в квартале волнуются.

— Может быть, можно было бы дать знать в какое-нибудь такое общество?

— В Армию Спасения?

— Ну, что вы! В покровительство животным.

— Так ведь сорока не животное.

— А по-вашему, если не животное, так пусть издыхает?

— Ей бы, дуре, в Медоне поселиться.

— Ну, не будем, господа, вечно возвращаться к этому вопросу. Гораздо проще купить в животном магазине сороку и привезти сюда, чем тащить женщину в Медон.

— Какую женщину? Что вы путаете?

— Я хотела сказать — сороку.

[1] Добрый день (от *фр.* bon jour).

— Купить в магазине! Вот она, наша милая манера все переводить на деньги. Самое святое, что только есть на свете, — материнская любовь, и туда человек сунется со своей платежной силой. Гнусно!

— Прошу вас не делать мне замечаний.

— Не с того конца сорока начала. Нужно сначала жениха найти, а уж потом квартиру отделывать.

— Как вы любите все опошлять.

— Однако! Я бы вас попросил...

— Вы видите, что мне неприятно, когда вы о ней так говорите.

— Что я особенного сказал? Уж не смей про сороку нормальным языком говорить. Кошмар какой-то!

— Господа, перестаньте. Кончится тем, что мы все перессоримся.

— И пусть! Когда кто-нибудь борется за идеалы материнства, то здесь подхихикиванье неуместно.

— Ну, знаете, это еще доказать надо, что здесь идеалы. А по-моему, просто старая морда, которая, как ненормальная, каждому готова на шею вешаться. Видали мы тоже таких-то. Да что далеко ходить — вы, наверное, слышали про нашу Лукию Тарасовну, мадам Кудысело? В нашем отельчике живет. Неужели не слыхали? Столовников держит. Оборотистая такая баба. Два сына женатых, внук. Так вот эта дамочка решила в прошлом году переменить свою судьбу. А именно — выйти замуж. Мы все так и ахнули. Наружность у нее, между нами будь сказано, не очень к таким планам подходящая. Плечи широкие, толстые, а ног быдто совсем нет. Когда сидит, так коленки где-то невидимо под животом сгибаются. Шеи, между прочим, уж окончательно нет, так, одна поперечная морщина, и кончено. Голос у этой дамочки совсем особенный. Не то что неприятный, а какой-то в нашей теперешней заграничной жизни ни к чему. Одним словом, впечатление дает такое, как будто как у нас в Малороссии бабы через тын перекликались. И звук такой, и сила, и выразительность. Ну вот, значит, представляете себе картину. И ко всему этому нос вздернутый, глазки белесенькие и на голове плешь.

Когда она нам свое намерение объяснила, мы, знаете, даже и посмеяться не захотели, а прямо говорим:

— Вы бы все-таки о своих годах подумали. Может быть, внуку обидным покажется.

А она в ответ только фыркает.

— Удивляюсь, — говорит, — вашей серости. Это у нас в Россеюшке, как женщине сорок стукнуло, так уж она в старухах считается. Здесь, милые мои, не так. Здесь женщина в пятьдесят только еще расцветает. Вот водили меня в ихний театр, называют Музик-Голь. Музик — значит с музыкой, и голь показывают. Так там одна бабка была, лет, говорят, под семьдесят, и среди голи самая первая. Так она выводила шесть матерых молодцов, ставила их в ряд, и потом они эту бабку-то за большие деньги в воздухе друг дружке перекидывали. За ногу ее хватят и гоп! Я каждый раз так и взвизгну. Вот какие дела, а вы говорите, что мне замуж поздно.

Ну и дала она в журнал объявление.

«Меланхолическая блондинка тоскует по идеалу, умеет немножко готовить, желает вступить в серьезную переписку с брюнетом тридцати трех лет, рост не обязателен».

И что же вы думаете? Получает из Гренобля письмо.

«Разочарованный в жизни идеалист зовет свою мечту. Имею небольшой, но прочный заработок».

Словом — послала она ему свою старую фотографию, он ей выслал денег на дорогу, и покатила наша Тарасовна в Гренобль.

Приехала — на вокзале никого подходящего. Бродит какой-то пузатый старик и всем барышням заглядывает под шляпки. Пригляделась Тарасовна к старику, а у него из кармана торчит номер того самого журнала. У нее дыханье сперло. И закричала она своим зычным голосом. Как баба через тын:

— Ой, да неужто ж вы тот самый идеалист? Ой, лышечко!

Он глазки выпучил, да как закудахчет:

— Тах-тах-тах-тах! Так это вы? Так вы же мне какую фотографию прислали? С дояпонской войны?

Ну, наша Тарасовна себя в обиду не даст:

— А чего же тебе посылать? Карт-д'идантитэ[1] с кривым рылом, с косым глазом, с тремя носами? Туда же, претензии, идеалист паршивый.

---

[1] Удостоверение личности (*фр.*).

Договорились до того, что он стрекулист, а она старая квашня, однако пришлось ему обратный билет купить и даже напоил в буфете пивом, потому что уж очень она его расчехвостила.

Так с обратным поездом и вернулась.

— Все это хорошо, господа, все эти ваши романы с неизвестными. «Где волны морские, там бури, где люди, там страсти», как выразился поэт. А вот как нам быть с сорокой?

— Н-да. С сорокой дело сложнее. Про сороку ни один поэт ничего не выразил. Сорока, она ведь глубоко переживает. От нее на пиве не отъедешь.

И как в природе все премудро! Как подумаешь, так прямо затошнит!

Вскрытые тайники

Зашел у нас разговор — о том, как находят на улице деньги и что за этим следует.

Вспоминали, как в какой стране к находкам относится закон. В Персии, мол, пострадавшим оказывается нашедший, потому что его ведут в участок, а раз попал человек в участок, то его, прежде чем допрашивать, сначала для порядка обязательно поколотят.

Вспоминали, что и в России было что-то в этом роде. В участке, конечно, не колотили, но неприятностей доставляли немало.

Вспоминали рассказ, как один господин уронил кошелек, нагнулся, чтоб его поднять, как чья-то рука из-под носа у него этот кошелек вытянула, и темная личность деловито произнесла:

— Виноват-с, я этот кошелек нашел.

— Как так вы нашли, — завопил господин, — когда это мой кошелек, и я доказать могу.

— Ваш так ваш, — спокойно согласилась личность. — Но раз я нашел, шестая часть моя. И у меня есть свидетели, и пожалуйте в участок.

Подошел и свидетель, тоже личность несветлая.

Поволокли потерпевшего в участок.

Околоточный выслушал нашедшего и свидетеля, пересчитал в кошельке деньги:

— Шестьдесят рублей.

— Ну так вот, — говорит, — вы должны выделить тридцать рублей нашедшему, да тридцать свидетелю, да десять мне за составление протокола.

— Да помилуйте! — взмолился потерпевший. — Откуда же столько? Я и всего-то шестьдесят потерял, а вы насчитываете за мной долгу семьдесят.

А околоточный спокойно говорит:

— Ну так вы слишком мало потеряли.

Всяких рассказов о находках и их последствиях выплыло немало, но все более или менее друг на друга похожи. Вспомнился среди них один, тоже на другие похожий, но вместе с тем и отличающийся. И отличается он своим незаурядным концом, вскрывающим тайники человеческой души, столь удивительные, что лучше бы им и не вскрываться.

Так вот, ввиду того, что конец этой истории из других, на нее похожих, эту историю выделяет, я ее и хочу рассказать.

* * *

— Ну-с, так вот — начало самое банальное.

Жили-были две дамы. Обе были молоды и недурны собою, обе потеряли мужей в мутном водовороте текущих событий. Отличались они друг от друга, кроме внешности, имени и фамилии, главным образом тем, что одна была особа состоятельная, другая же определенно бедная. И положение это было, по-видимому, прочно за обеими закреплено, потому что богатая дама была женщина практичная: и своего не упускала, и на чужое поглядывала, — а бедная была растяпа, такого подшибленного жизнью образца, которые не то чтобы довольствуются скромной своей долей, а, вздыхая, смиряются.

Дамы эти были давно знакомы, еще когда судьба не разделила так резко их материального положения. Были даже дружны когда-то, а потом продолжали иногда встречаться, но уже не как равные, потому что элегантная дама со щи-

паными бровями и прической «перманант миз ан пли»[1] не может считать себя на одном интеллектуальном уровне с существом, одетым в платье из искусственного шелка «гаранти-ла-вабль»[2], восемьдесят девять франков девяносто сантимов, с небритым затылком и бровями нормальными, как мать родила. К такому существу можно снисходить, можно его терпеть, жалеть, любить, да, даже любить, но, конечно, не считать же его за равного.

Вот обе эти дамы, назовем их для удобства Маривановой (богатую) и Колаевой (бедную), шли как-то вместе по каким-то дамским делам — не то бедная предлагала богатой посмотреть на какой-то доверенный ей окказион, не то богатая вела бедную показать ей для копировки какую-то модель — в точности не знаю, да это и не имеет особого значения для нашего рассказа. Значение имеет только то, что шли они вместе.

Так вот, шли они вместе и вдруг, недалеко от магазина «Прентан», видит бедная — лежит на тротуаре бумажник.

— Смотрите, Женичка, бумажник!

Богатая отвечает:

— Ну да. Нужно скорее поднять.

Бедная нагнулась, а богатая говорит:

— Давайте его мне, вы с деньгами обращаться не умеете.

Подняла бумажник, смотрят, а в нем сорок две тысячи. Так и ахнули.

— Бежим скорее в комиссариат! — говорит бедная.

— Чего ради? — удивляется богатая. — Какая-то ворона теряет такие деньги, а мы изволь отдавать? Не будь другой раз вороной. Ворон учить надо.

А бедная, как человек непрактичный, благородно волнуется:

— Не можем же мы присвоить себе чужие деньги! Тем более что в бумажнике визитные карточки лежат, значит мы знаем владельца. Это же получается форменное воровство.

Спорили долго, пока бедная в благородстве своем не пригрозила, что подойдет к ажану да все ему и расскажет.

---

[1] Перманентная укладка (от *фр.* permanent mise en plis).

[2] Стирка с гарантией (от *фр.* garantie lavable).

Тогда богатая решает идти прямо к владельцу и самим передать ему деньги из рук в руки. Бедная согласилась, и пошли.

Приходят — квартира большая, встречает лакей, идет докладывать, просит войти.

Богатая и говорит бедной:

— Ты подожди в передней, ты черт знает как одета, неловко.

Пошла богатая к хозяину — интереснейший господин, элегантный, с седыми височками, с маникюром, в зубах платина, и весь пахнет дорогой сигарой. Встречает радушно, выслушивает рассказ, восторженно принимает свой бумажник и, пересчитав деньги, предается благодарному экстазу. Но между прочим спрашивает:

— А где же ваша приятельница? Вы ведь говорите, что шли вдвоем.

— А она, — говорит, — ждет в передней.

— Ах, ох, как же так можно!

Бежит в переднюю, приводит смущенную Колаеву, усаживает, благодарит, приглашает обеих вечером в ресторан, потом встречаются снова. И хотя ни гроша он им за находку не дал, но ни та, ни другая в обиде себя не чувствовали, потому что очень он обеим понравился, катал их, угощал, и так все выходило, что даже будь с его стороны поползновение на какую-нибудь награду, это только совершенно искренне смутило бы его новых приятельниц.

И вот как-то в разговоре выяснились подробности находки. Бедная проболталась, что это она настояла, чтобы деньги были возвращены владельцу. Она при этом ничуть не хотела очернить богатую и даже подчеркивала, что мысль сдать находку с рук на руки владельцу пришла именно богатой, но все-таки владелец (назовем его для удобства просто французом) понял и усвоил, что деньги он получил благодаря настойчивой бескорыстности Колаевой, и, сопоставляя при этом, что она бедна как крыса и работает как вол, и, сопоставив этих двух животных, столь различествующих в своей величине и силах, — проникся таким восторженным умилением к благородной славянской душе Колаевой, что не только влюбился в нее, но даже, минуя всякие так называемые гнусные предложения, прямо предложил ей быть его женой.

Богатая очень, конечно, была его выбором уязвлена, но ничего не попишешь, пришлось смириться, и так как бедная теперь не только сравнялась с ней рангом, но даже перекозыряла (у богатой «ситроен», у бедной «бьюик», у богатой три комнаты, у бедной — шесть, у богатой угловой парикмахер, у бедной — Антуан), то можно было войти с ней в настоящую дружбу.

Француз блаженствовал, изучал славянскую душу, но... вот тут и начинается. Начинает француз приглядываться.

— Почему не хватает трех тысяч? Куда ушли?

— На благотворительность.

— Где картина, что висела в столовой, — зайцы с малиной?

— Пожертвовала на лотерею.

— Что это за дура сидит все время в бельевой и что-то ест?

— Это добрая женщина, которую выгнали родные дети за дурной характер. Куда ей деться?

Французу эти штучки стали определенно не нравиться.

— Милый! — отвечала бывшая бедная на его упреки. — Милый! Разве не за нежную и чистую душу полюбил ты меня? Разве я поступаю теперь не так, как поступила бы прежде? Смотри — картина, которая висела в столовой, была выиграна в лотерею. Разве не вытекает из этого, что мы должны ее пожертвовать в пользу лотереи? Три тысячи франков, ты сам говорил, достались тебе случайно. Разве не вытекает...

— Ничего ни из чего не вытекает! — мрачно оборвал француз.

— Но почему же раньше...

— Раньше мне понравилось, что вы решили отдать мне принадлежащие мне деньги. Но теперь, когда вы мои деньги раздаете другим, мне это абсолютно не нравится. Эта сторона славянской души мне определенно противна. Поучитесь у вашей подруги, мадам Мариванов. Вот женщина, которая понимает цену деньгам, она практична и приятна.

Ревность вспыхнула в сердце бывшей бедной.

— Может быть, она и приятна, — сказала она дрожащим голосом, — но она взяла у меня жемчуг на один день и вот уже третий месяц не возвращает и, по-видимому, хочет присвоить его совсем. Разве это хорошо?

— Если что в этой истории нехорошо, — презрительно отвечал муж, — так это ваша безалаберность. А мадам Мариванов понимает толк в вещах, дорожит ими и вообще обладает качествами хорошей жены. Ваши же качества для жены не годятся.

— А разве тебе понравилось, что она хотела присвоить себе чужие деньги?

— Если бы я тогда был ее мужем, то нашел бы этот поступок приятным и полезным.

На этом месте бывшая бедная заплакала.

Дальнейший ход разговора неизвестен. Но известен дальнейший ход событий: француз развелся с бывшей бедной и женился на богатой, на мадам Мариванов.

Таков необычайный конец этой обычной истории.

Яркая жизнь

В пять дней был создан мир.

«И увидел Бог, что хорошо», — сказано в Библии.

Увидел, что хорошо, и создал человека.

Зачем? — спрашивается.

Тем не менее создал.

Вот тут и пошло. Бог видит, «что хорошо», а человек сразу увидел, что неладно. И то нехорошо, и это неправильно, и почему заветы, и для чего запреты.

А там — всем известная печальная история с яблоком. Съел человек яблоко, а вину свалил на змея. Он, мол, подстрекал. Прием, проживший многие века и доживший до нашего времени: если человек набедокурил, всегда во всем виноваты приятели.

Но не судьба человека интересует нас сейчас, а именно вопрос — зачем он был создан? Не потому ли, что и мироздание, как всякое художественное произведение, нуждалось в критике?

Конечно, не все в этом мироздании совершенно. Ерунды много. Зачем, например, у какой-нибудь луговой травинки

двенадцать разновидностей и все ни к чему. И придет корова, и заберет широким языком, и слопает все двенадцать.

И зачем человеку отросток слепой кишки, который надо как можно скорее удалять?

— Ну-ну! — скажут, — вы рассуждаете легкомысленно. Этот червеобразный отросток свидетельствует о том, что человек когда-то...

Не помню, о чем он свидетельствует, но, наверное, о какой-нибудь совсем нелестной штуке: о принадлежности к определенному роду обезьян или каких-нибудь южно-азиатских водяных каракатиц. Пусть уж лучше не свидетельствует. Червеобразный! Эдакая гадость! А ведь сотворен.

Кроме дара критики, дан еще человеку дар фантазии. Критика осуждает, фантазия творит на свой лад. Поправить что-нибудь фактически, конечно, фантазия не может. И все «фактическое» большею частью так скучно и несовершенно, что принимать его в голом виде часто бывает неприятно, как нечто художественно неудачное.

И вот есть на свете натуры, которые этих нудных бытовых фактов принять не могут, не могут принять и считаться с ними не желают. Факт, по их мнению, может так же ошибиться, как и человек.

И вот они, эти люди, эстетически быта не воспринимающие, исправляют его своей фантазией (тоже для чего-то им дарованной, не хуже червеобразного отростка), и дальше живет в них этот быт, живет и распространяется уже в исправленном виде.

В просторечьи называется это — враньем.

* * *

Все вышеизложенное есть только предисловие к повести о Валентине Петровне. Повести краткой, охватывающей всего только один день ее богатой событиями жизни.

Итак — живет на свете Валентина Петровна. Живет, как все мы, и шатко и валко. Это внешне. Но на самом деле жизнь ее богата содержанием, пестра и разнообразна.

Внешняя сторона ее жизни такова: ей пятьдесят пять лет (это ведь тоже относится к внешней стороне), одета она скверно, с чужого плеча, волосы у нее какие-то пестрые, лицо мятое, но выражение глаз вдохновенное.

Живет она в комнате у вдовы Парфеновой, вяжущей светры на продажу. За комнату платит не очень аккуратно, но это, с ее точки зрения, – пустяки. (Парфенова с этим взглядом не согласна, но пока что решила терпеть.) Занятие Валентины Петровны – продавать светры Парфеновой, шить кошельки, рисовать пошетки – словом, что подвернется. Иногда, когда работы много, она просиживает по три-четыре дня, не выходя из дому, но – пожаловаться не может – впечатлений все-таки получает массу.

– Без вас приходил почтальон, – говорит она Парфеновой. – Я не знаю, любил ли этот человек когда-нибудь, но я прочла на его энергичном лице столько самоотвержения и готовности бороться за личное счастье, какие редко приходилось мне встречать. Я долго думала о нем, и, вероятно, воспоминание о нем глубоко врежется в мою душу на всю жизнь.

Или:

– Без вас угольщик принес уголь. Знаете, меня поразили необычайно ритмические движения всего его корпуса. В нем чувствуется незаурядно талантливая натура, и пойди он по другому пути – как знать, может быть, из него вышел бы второй Ван-Дик?

Если же Валентина Петровна выходит на улицу, то достаточно ей дойти до угловой булочной, чтоб жизнь ее наполнилась впечатлениями на два дня.

Она непременно встретит какую-нибудь девушку с итальянскими глазами, рваную, но, конечно, из высшего общества, встретит девчонку, дочку зеленщицы, которая, наверное, была в детстве украдена у высокопоставленных родителей, о чем свидетельствует ее необычайного благородства нос.

Она встретит в молочной совершенно незнакомого господина, который посмотрит на нее так, как будто хочет сказать: «От меня не скрыта ваша душа. Вы нежны и одиноки, и я понимаю красоту вашей печали».

– И откуда все это у вас берется? – удивляется вдова Парфенова.

Если же Валентине Петровне доводится провести вечер в гостях, то рассказов хватает на месяц. Одна поездка чего стоила.

— Вчера в трамвае ехал какой-то военный, поскольку я могу судить по благородству его выправки. Он так странно смотрел на меня, и т. д.

— Удивительно! — говорит Парфенова. — Как это вы ухитряетесь всегда кого-нибудь подцепить! Я вот каждый день в трамвае езжу и, кроме блох, ничего подцепить не могу.

В тот день, в который начинается наша повесть, Валентина Петровна отнесла светр к Поповым. Там ее пригласили выпить чашку чаю. У Поповых были гости. Рассказывали о каком-то Быкове, который изменяет жене.

— Ну, она скоро утешится, — вставил кто-то. — Ей, кажется, нравится какой-то французский художник.

— Не думаю, — заметил другой. — Она такая размазня.

После этого Валентина Петровна распрощалась и поехала в трамвае к Шуриным.

Народу в вагон набилось много. Ей пришлось стоять. И вот какой-то господин поднялся и уступил ей место.

Господин был довольно молодой, одет простовато, в толстом вязаном кашне, в руках держал два завернутых в бумагу магазинных пакета.

Валентина Петровна, взволнованная и смущенная, разглядывала его.

«Прост, но элегантен, — думала она. — Рыцарь. Это именно тот тип, который нравится женщинам. Если бы эта несчастная Быкова, о которой сегодня рассказывали, встретила такого человека на своем пути, он бы утешил ее. Он рыцарь. А может быть, — и ничего нет удивительного в этом предположении — может быть, это и есть тот француз, который ей нравится. Это было бы ужасно. Я не хочу становиться ей поперек дороги. Я сумею себя устранить. Я сейчас же подойду к нему и скажу: «Я знаю, вы художник, вас любит несчастная Быкова, я себя устраняю». Скажу и спрыгну с площадки, и тихий сумрак огромного города поглотит мои шаги».

— Рю[1] Лурмель! — крикнул кондуктор.

Валентина Петровна выскочила — это была ее остановка, на Лурмель жили Шурины.

---

[1] Улица (от *фр.* rue).

О ужас, о счастье, и «он» тоже вылез. Он шел за ней, за ней!

С громко бьющимся сердцем она замедлила шаги, обернулась. Нет. Он повернул к бульвару. Но они еще встретятся. Это предопределено.

У Шуриных удивлялись ее бледности. И она не могла молчать.

— Очень странная история. Самый фантастический роман, который когда-либо приходилось читать, — рассказывала она. — Вы меня знаете. Я не кокетка и не красавица. Я держу себя просто и одеваюсь скромно. И не знаю, и не понимаю, чем объяснить то странное внимание, которым я окружена в жизни. Почему любите меня вы, почему обожает Парфенова — это еще я могу понять. Но почему так тянет ко мне совершенно незнакомых мне людей — это порою прямо меня пугает. Уверяю вас — не льстит, а, скорее, пугает. Мне лично никого и ничего не надо. Пара голубей на подоконнике, полуувядшая роза в бокале, книжка любимого поэта на коленях, легкий ветерок, шевелящий мои кудри, — вот все, что мне нужно. Зачем мне этот вихрь страстей? Зачем эти ненужные мне призывы? Я их не хочу и не хотела. И вот теперь — драма. Вы мои друзья, я скажу вам всю правду. Негодяй Быков бросил свою жену. Страдалица влюбилась в француза художника. Казалось бы, сама судьба улыбнулась ей. Художник — рыцарь, благородный облик в шерстяном кашне. Он может дать ей счастье. И вот — фатальная встреча. Все равно, как и где. Клянусь вам — я не виновата. Я не завлекала его. И я его не люблю. Я не хочу связывать мою жизнь, и без того такую бурную, с его призрачным существованием. Что мне делать? Я решила уехать, пока не поздно. Деньги — пустяки. Две-три тысячи всегда достать можно. Люди, которым я дорога, всегда придут мне на помощь. Я знаю, вам будет тяжело лишиться меня. Парфеновой тоже. И многим еще. Я как-нибудь проживу, но вы все — что будет с вами?

В эту минуту раздался звонок.

Валентина Петровна, сидевшая у двери в переднюю, вскочила, чтобы пропустить хозяина, и вместе с ним вышла в переднюю. Шурин открыл дверь.

— Ах!

Господин из трамвая, он, в толстом шерстяном кашне... Валентина Петровна покачнулась и схватилась за грудь двумя руками.

— Livraison![1] — сказал господин из трамвая, протягивая пакет.

— Лиза! Прислали лампу, — закричал Шурин. — Дай посыльному франк на чай.

Валентина Петровна прислонилась к притолоке, чтобы не упасть.

Она видела, как Лиза Шурина дала господину в кашне франк на чай, и тот сказал: «Мерси, мадам» и захлопнул за собою дверь.

Ей не хотелось сейчас же рассказывать все Шуриным. Ей хотелось все как следует обдумать, понять, как безумный художник все это придумал и проделал?

А вечером или завтра утром она расскажет всю эту небывалую историю вдове Парфеновой, взяв, конечно, с нее слово, что она никому не проговорится.

— Как интересна, сложна и богата моя жизнь! Как все это жутко и как ярко!

Подлецы

Сколько ей лет?

Лет пятьдесят—пятьдесят пять, что-нибудь в этом роде. Волосы рыжие, завитые туго, как грива ассирийского льва. Щеки круглые, клякспапирового цвета. Когда она сердится или негодует — щеки слегка дрожат. Реснички расчесаны, бровки подщипаны. На платье плиссировочки, шнуровочки, бантики, кантики, словом — дамочка за собой следит и себе цену знает.

Да — цену себе знает. Поэтому спорить с ней нельзя.

Говорит она очень авторитетно. От всякого возражения просто отмахивается рукой:

— Ах, бросьте!

---

[1] Доставка! (*Фр.*)

— Ах, оставьте!

Даже и переубеждать не дает себе труда. И так ведь ясно, что она права.

Зовут ее Алевтина Петровна.

— Милая моя, — говорит Алевтина Петровна. — Вы слышали — Шура замуж выходит!

— Ну и пусть себе.

— Как «пусть себе»! Выходить замуж — ведь это значит за мужчину. За подлеца!

— Почему же вы думаете, что он подлец?

— Ах, бросьте! Видели вы когда-нибудь мужчину не подлеца? Видели вы когда-нибудь такого, который своей жене не изменял? Была у меня старушка знакомая, большого опыта женщина. Так она, помню, всегда говорила: «Алевтя, дорогуша, верь мне: мужчины — Божьи собаки». Так их всегда и называла. Большого опыта была женщина. Уж она-то знала.

— У нее, поди, этих собак за долгую жизнь целая свора перебывала?

— Ну да, наверное, немало пришлось ей, бедненькой, перестрадать. «Алевтя, говорит, дорогая, верь мне — у них у всех только бабы на уме». Все понимала. Часто ее вспоминаю. Иногда забежишь послушать какой-нибудь доклад. Ходит по эстраде общественный деятель или какой-нибудь там профессор-бородач, голова копной. Смотрю на него и думаю: «Бреши, бреши, меня не надуешь. Знаю, что у тебя в голове». Да, дорогая моя, недаром Пушкин писал:

Мужчины по улицам рыщут,
Даму сердца себе ищут!

— Ну, что вы! Когда же это Пушкин писал?

— Да уж писал, нас с вами не спросил. И подумать только, что Шура, молоденькая, хорошенькая, и вдруг выходит замуж. Я ее матери прямо сказала: ваша Шура дура. А та: «Ах-ах, он такой интересный, и со средствами, и с положением». А я ей: «Пусть с положением, я не спорю. А что он ее любит, так на это я вам прямо скажу: верить не верьте, а у него по отношению к ней простая порнография». Ну да разве эти идиотки способны понимать! Боже мой, сколько я видела на своем веку мужской подлости! Да вот еще не-

давно зашла в кафе, смотрю, за столиком знакомая рожа. Генерал Кухормин. С молоденькой. Сидят, кофий пьют. А он так весь и блекочет. Стыд и срам. Я даже свое мороженое не доела, ушла и не заплатила — так мне противно стало. На другой день встречаю его у Буркаловых, отвела в сторону и говорю:

— Видела вас. Я, конечно, Софье Петровне ничего не скажу, но вам мое негодование выражаю от души.

Так этот подлец, можете себе представить, еще оправдываться стал:

— Тут, — говорит, — ничего особенно дурного нет, человеку иногда хочется немножко встряхнуться. Я Софью Петровну глубоко ценю и уважаю, но у меня к ней нет эротических эмоций.

— Слышали вы свинью! Эмоции у него нет! К благороднейшей женщине, которая отдала ему сорок пять лет своей цветущей жизни, родила восемь человек детей, была образцовой хозяйкой (какие пироги!), которая вся в ревматизмах, в подаграх, в ишиасах, в печени, в золотухе, в желтухе, в ожирении сердца, ноги, как колоды — я сама видала. Так к такой женщине у него, изволите ли видеть, нет эротических эмоций, а к накрашенной девчонке-балаболке у него эмоции! Ведь каким надо быть подлецом, чтобы до этого договориться! Я хотела было закатить ему тут же пощечину, да как раз пригласили к столу, так уж было неудобно.

Ах, многое могла бы я вам рассказать об этих «подлецах».

Вот, например, жил в нашем городе один помещик Колышев. Человек богатый, но рыло — прямо, что говорится, естественное. Пузатый, нос трубой, вечно рот разинут, и язык набекрень. И целые дни за дамами бегал. Пойдет в ресторан — там уже его четверо ждут. Пойдет в кафе — там пятеро в окошко высматривают, не идет ли.

— Позвольте, так ведь это выходит, что дамы за ним бегали, а не он за ними?

— Ну, знаете, так все повернуть можно. Если этот негодяй просит, умоляет, заклинает прийти, так, конечно, не у всякой женщины хватит духу отказать.

Ну-с так вот, прицелился этот самый Квазиморда к одной нашей барыньке, к Поленьке Окурко. Поленька была

так себе, легкомысленная дамочка. Ну да она этого и не скрывала. Она прямо говорила: «Э, что там!» Очень была искренняя, свежая душа.

И вот, прилип к ней этот гад, чтобы поехала она с ним за границу, что он всяких подарков накупит, а если она ему будет верна три месяца, так он в ее пользу завещание сделает. И даже намекнул, что у него порок сердца, значит, в том смысле, что завещание не пустой райский звук.

Ну, Поленька подумала, посоветовалась со своим парикмахером и решила ехать. Три месяца не такой долгий срок, вытерпеть еще можно, а там, Бог даст, он от путешествия переутомится, и завещание вступит в законную силу.

Ну, и поехала.

Поехала она, и как раз так вышло, что и я тоже отправилась за границу, в Венецию. Остановилась в отеле, смотрю на дощечке: «Синьор Колышев». Ага, думаю, вот они, наши, где. И комната оказалась на том же коридоре.

Ну, Поленька, как только узнала, что я здесь, сейчас же ко мне прибежала.

Она хотя и была легкомысленная, но я ей очень симпатизировала. Что ж, думаю, одинокая женщина перебивается как может. Человек она искренний, простой.

Расспросила ее, как она себя чувствует.

— Заграница очень мне, — говорит, — понравилась. Такие здесь все душки, ходят чистенькие, глазками помаргивают совсем на особый манер, не как у нас. А тут, — говорит, — вчера какой-то совсем бурый человек приехал, вроде арапа. Ну, такой интересный, что прямо смотрю на него разиня рот, а что делать — не знаю. Не знаю, как арапу полагается улыбнуться, чтобы он русскую душу понял.

— Ну, а как же, — спрашиваю, — ваш урод, прилично себя ведет?

— Нет, — говорит, — урод мой форменный негодяй. Клялся, божился, сулил золотые горы, а всего-то гор, что купил в Вене три пары чулок, а в Триесте платяную щетку да зубную щетку. Чего-то его в Триесте на щетки расщедрило, от жары, что ли. Только и всего. Да и то платяной щеткой сам пользуется, еще, пожалуй, отберет.

— Вот, — говорю, — негодяй! Ну, а насчет завещания что слышно?

— Все повторяет, будто, если три месяца выдержу, так все мое. Только ревнует, шпионит, дыхнуть не дает. Прямо беда!

Ну, я ее как могла успокоила — три месяца, конечно, срок большой, но четыре недели уже пронесло благополучно.

— Хоть и шпионил как черт, да не поймал.

— А разве, — спрашиваю, — было на чем ловить?

— Ну, знаете, — говорит, — такой негодяй все может в дурную сторону повернуть.

Ну вот, живем мы в этом самом отеле, но встречаемся нечасто. У меня свои знакомые, а с этим уродом, признаюсь, не очень и стремилась видеться.

И вот как-то ночью, только что собралась я свечку погасить, вдруг дверь распахивается и влетает эта самая Поленька и — можете себе представить — в одной рубашке.

— Что такое? Что случилось?

Она дрожит:

— Спрячьте меня скорее! Подлец меня ищет! Убьет!

— Накиньте, — говорю, — хоть капот. Как же вы голая по коридору?

— Ради Бога, скажите, что я весь вечер у вас. Я, знаете ли, у арапа была. Мой урод в кафе пошел, а я сказала, что голова болит. Подумайте только — ведь никогда в жизни не было у меня романа с арапом, да, наверное, больше и не будет. Ну где у нас в Рязанской губернии арапа найдешь? А тут такой случай — неужели же упускать? Ведь идиотство!

Ну, что ж, — это, действительно, было бы идиотством. И из-за кого, подумаешь? Из-за Квазиморды.

— Ложитесь, — говорю, — ко мне в постель, уж я вас отстою.

Не прошло минуты — трах-тарарах! Барабанят в дверь.

— Кто там?

— Колышев. Она у вас?

— Ну, конечно, — говорю, — у меня. Брала ванну и пришла ко мне отдохнуть.

— Клянитесь, — рычит, — что это правда.

— Ах, вы, — говорю, — негодяй невоспитанный! Да как вы смеете по ночам ломиться в комнату, где приличные дамы отдыхают. Убирайтесь сейчас же или я директора вызову.

А Поленька просит:

— Додержите меня только до утра, он за это время остынет, а уж там я вырвусь.

Ну, ничего, она, бедненькая, действительно, кое-как вырвалась.

Потом я скоро уехала, а он ее еще раза два поймал. Подумайте только, какой негодяй! Ну, она, конечно, не вытерпела и сбежала с каким-то типом в Берлин. Так, несерьезно. Недельки на две. А он, Квазиморда-то, вернулся в наш город, простудился, всю зиму прохворал, а к весне и помер.

И тут только, после его смерти, окончательно открылась вся подлость его души. Представьте себе, ведь этот негодяй бедной Поленьке не оставил ни гроша. Ну буквально-таки ни гроша. Как вам это нравится?

— И все они таковы. Все. Вот заметьте: если женщина влюбится, так сейчас же думает — что бы такое своему предмету подарить? Портсигарчик, галстучек или вышить что-нибудь? А мужчина, если заинтересовался вашей красотой, так сейчас ему, подлецу, подавай что-нибудь «на память». А какая такая память, когда он с утра до вечера перед носом торчит. Когда ему забывать-то? Тут один тип полчаса за мной поухаживал и уж успел платок стянуть. Схватил, нюхал-нюхал, да и в карман. Ужасно, подумаешь, обольстил. А у меня этих платочков с кружевцами и всего-то полдюжины было. Только разрознил.

Лариса замуж выходила, так нашла у мужа в письменном столе, затыканы меж окладных листов, тридцать два дамских платочка.

Так эта дура еще гордилась:

— Он у меня был донжуаном.

— А по-моему, — говорю, — тебе бы лучше справку навести, может, он не донжуан, а вор-домушник.

Так ведь обиделась. Ну да Бог с ней. Я не сержусь. Я ее жалею. Много ей с этим подлецом пришлось слез пролить. Только детки подрастать стали, приставила она к ним бонну из русских немок, для французского языка. Все, как в хороших домах. Только слышит — муж все чего-то декламирует:

Люблю тебя, Петра творенье!

— Это, — говорит, — из классиков.

Ну ей, как жене, конечно, приятно. Только вдруг, как бревном по лбу. Ведь бонну-то зовут Анна Петровна! Вот тебе и Петра творенье. Выгнала? Ну, разумеется, выгнала. Он, подлец-то, конечно, разыграл удивленье и смех. Разве им это дорого стоит! Они такую комедию разыграть могут, что нам и в голову не придет. Они назло даже умереть могут. Ей-богу!

Анюту Латузину помните? Как — не знали? Быть не может! Вы — нашего города. Злосчастная женщина. Вот мученица была! Муж, понимаете ли, инженер. Целые дни носом в чертежи уткнется, и хоть ты об стену головой колотись. Да еще чахоточный. Жена как рыба об лед бьется: и по магазинам бегай, и обеды заказывай, гостей принимай. А он сидит да мосты высчитывает. Как вам это нравится? А тут как-то к весне и совсем раскис. Она, конечно, нервничает, сердится. Вполне естественно. Ну и, значит, предлагает мне — поедем вместе в Аббацию. Там у нее в то время папенька от подагры отдыхал. Тоже, должно быть, в свое время типик был. Недаром от него жена сбежала и всю кассу уволокла. Ну, да Анюта его уважала. Должно быть, за старость. Ну, что ж, отчего же не проехаться? Живо собрались. Старшие ее девочки при отце остались. Им уж было лет по пятнадцати, по шестнадцати. Не возить же хорошенькой молоденькой дамочке таких телушек с собой. А младшего, шестилетнего Володюшку, взяла.

Приехали. В Аббации красота, море — умирать не надо. Папенька ничего себе старый хрен. Бровищи седые, и все что-то ел. Его доктора на диету посадили, так он два обеда съедал — один общий да один особливый, диетный. «Я, говорит, таким образом хотя наполовину, а все-таки лечусь». Ну, словом, ничего себе. И дочка его любила. У него, впрочем, и деньжонки водились. Если родитель с деньгами, так его как-то легче любить. Естественнее. Ну вот, живем мы да поживаем, и вдруг откуда ни возьмись накатил шквал. На горе, как говорится, и палка выстрелит. Короче говоря, влюбилась наша Анюта в кучера. Кучер там был. Молодой, здоровенный детина. Швейцарец. Только на летний срок приезжал. Возил туристов на Монтенегро. Румяный, как черт. И влюбилась в него Анюта, как говорится, первой любовью. Скандалит, ревнует. Целые дни катается, и чтобы не смел других возить. Накупила ему подарков — бич с серебряной

ручкой, куртку белую кожаную, шелками вышитую. Красота. Скандал! Ну что поделаешь? И как осудишь, раз это ее первое светлое чувство?

Ну, кучер ничего себе. Сколько возможно шел навстречу. Но ведь надо принять во внимание — четверка лошадей — целая конюшня. И чисти, и корми, и пои, и запрягай, и подавай. Но главная беда, что наша Анюта по-швейцарски ни бе ни ме ни кукареку. А он как раз из такого кантона, где больше кретины живут, и очень трудный выговор. Слово вроде немецкого, а значение совсем наоборот. А Анюта вообще насчет языков была дубовата.

— Как же, — спрашиваю, — ты с ним объясняешься?

— Да как, — говорит, — беда. Все больше конскими словами — «гоп!» да «стоп!». Очень для сложного переживания трудно.

Купила ему сапоги с крагами. Я уж даже ей валерьянку стала давать.

А тут как на грех все новенькие туристки приезжают, ну и, конечно, нанимают кучера осматривать окрестности. Был при отеле и автомобиль, но все предпочитали экипаж — приятнее и лучше можно любоваться пейзажами.

Ну, а наша бесится. Еще немножко стеснялась своего папеньки, а то прямо не знаю что бы и было.

Папенька, старый эгоист, конечно, думал только о себе, а что у дочери такие исключительные переживания, так он даже и не замечал.

Выходить из дому он не мог, так только, ковылял по комнатам с палочкой. Ноги от подагры еле гнулись.

Вот как-то раз, вечером, понесло этого старого черта к Анюте в комнату, и как раз в то время, как у нее кучер был. И чего этим лешим покоя нет? Ну, сам не спишь, так хоть других не тревожь.

Услышала Анюта, бедняжечка, его шаги в коридоре, натурально, испугалась и спрятала кучера к своему мальчику под кровать. Мальчик спал крепко, ничего не слыхал.

Вот лезет папенька в комнату.

— Мне, — говорит, — Нюточка, захотелось на Володьку взглянуть, как он спит.

Тоже, подумаешь, нашел зрелище. Ну, спит мальчишка и спит. Есть на что смотреть!

Но это бы еще не беда. А беда то, что за стариком увязалась хозяйская собачища. Так, дрянь какая-то, ни породы, ни моды. И вдруг, понимаете, пробудился в ней охотничий дух. Надулась вся, шерсть ершом и ну лаять под кровать. Лает и лает, аж хрипит.

Старик взволновался.

— Что это, — говорит, — у тебя тут, душенька, делается? Право, что-то неладное. Чего это собака так под кровать лает, и в комнате конюшней пахнет? Уж не залез ли кто?

Ну, Анюта не растерялась.

— Это, — говорит, — очень даже для ребенка хорошо и здорово.

А старик на себя дурь напустил.

— Что для ребенка, — говорит, — здорово? Чтобы к нему под кровать залезали?

Ну, Анюта, натурально, нервничает:

— Что вы за пустяки говорите. Не залезать здорово, а здорово, когда конюшней пахнет. Нормальный животный запах полезен для легких до такой степени, что его даже нарочно распространяют по комнатам, где есть дети.

Но старик, однако, не успокоился:

— Нет, душенька, тут что-то не так. Чего же собака-то лает? Уж ты не спорь. Наверное, кто-нибудь да залез. Надо позвать прислугу.

Ведь эдакий осел!

Бедная Анюта прямо из себя выходит. Одно спасенье, что старик не сгибается и заглянуть под кровать не может.

— Там, — говорит она, — наверное, кролик сидит. Сегодня мальчику кролика играть давали. Я лучше собаку выгоню, а то еще загрызет.

Насилу вытурила их обоих, и старика, и собаку.

А кучер потом стал капризничать.

— Мне, — говорит, — ваша собачонка еще нос откусит.

Еле его успокоила.

И вот раз встречаю я Анюту — что такое? Сама не своя. Расстроенная, сердитая.

— Ужасный, — говорит, — день! Прямо одна беда за другой. Из дому письмо пришло — муж помирает. А тут кучер кнут потерял. Все одно к одному. И еще веселенькая новость: приехали две хорошенькие барышни, и, не успела

я принять меры, как они уже укатили с кучером до вечера. Я прямо покончу с собой.

Ну, я спросила, правда ли, что ее мужу так уж плохо.

— Ах, — говорит, — это такой подлец, вы его еще не знаете. Он способен назло захворать именно потому, что я сейчас погружена в такие сложные чувства.

Об этом письме, однако, как-то пронюхал старик — всюду они нос суют! — и велел телеграммой запросить.

Запросила.

Приходит ко мне Анюта вся в слезах.

— Получен ответ, что, если хочу застать в живых, должна немедленно ехать.

Я смотрю на нее, удивляюсь.

— Нюточка, — говорю, — чего же ты плачешь? Он же давно хворает. К чему же такая чувствительность?

А она еще больше плачет.

— Это, — говорит, — такое свинство! Это, — говорит, — самое последнее хамство — помирать именно теперь, когда я не могу оставить кучера одного из-за этих двух бесстыдниц, которые не знаю на что способны.

Старик, однако, настоял, чтобы она уехала.

Поехала. Взяла всего багажа только пилочку для ногтей и из Вены назад вернулась.

— Не могу, — говорит. — У меня все время разрыв сердца делается.

Все, однако, обошлось сравнительно благополучно — в тот же день пришла телеграмма, что ее тошный инженер отдал Богу душу. Ехать, значит, было уже незачем. Хотя старик что-то заерундил, что, мол, неприлично не присутствовать на похоронах. Но бедняжка Анюта нашла в себе достаточно энергии, чтобы отстоять свою независимость.

И действительно — положение тревожное, кучер катает своих негодяек и на гору, и к морю, прямо как последний подлец, а тут изволь все бросать и ехать. И для чего? Чтобы угодить посмертному эгоизму бывшего мужа, который, может быть, и невольно, а все-таки сыграл довольно подленькую роль в эти последние дни.

Сезон кончался, и я уехала. Так и не знаю, чем все завершилось. И Анюту больше не видела, они все куда-то переехали.

Да, Анюту я не видала, но случайно, лет через десять, услышала о ней. И так удивительно все вышло.

Жила я тогда в Одессе. И вот зашла как-то к своему парикмахеру, а тот мне и рассказывает:

— Была у меня сегодня какая-то новая клиентка, сумасшедшая баба. Все ждала какого-то кавалера, и по телефону звонила, и на улицу выбегала. Бутылку лосьону пролила, лампу опрокинула, чуть пожару не наделала, а потом вдруг схватилась и куда-то полетела, и вот бумажничек забыла, не знаю как быть.

Показывает мне бумажничек. Разворачиваю, а там письма на имя — как вы думаете, кого? Анны Ивановны Латузиной, вот кого! Вот кто кавалера-то ждал и по телефону вызванивал.

— Бедная, бедная ты моя страдалица! Опять, думаю, какой-нибудь подлец терзает твое голубиное сердце! Мало ты от законного мужа страдала, так вот!

И за что?

Виртуоз чувства

Всего интереснее в этом человеке — его осанка.

Он высок, худ, на вытянутой шее голая орлиная голова. Он ходит в толпе, раздвинув локти, чуть покачиваясь в талии и гордо озираясь. А так как при этом он бывает обыкновенно выше всех, то и кажется, будто он сидит верхом на лошади.

Живет он в эмиграции на какие-то «крохи», но, в общем, недурно и аккуратно. Нанимает комнату с правом пользования салончиком и кухней и любит сам приготовлять особые тушеные макароны, сильно поражающие воображение любимых им женщин.

Фамилия его Гутбрехт.

Лизочка познакомилась с ним на банкете в пользу «культурных начинаний и продолжений».

Он ее, видимо, наметил еще до рассаживания по местам. Она ясно видела, как он, прогарцевав мимо нее раза три на

невидимой лошади, дал шпоры, и поскакал к распорядителю, и что-то толковал ему, указывая на нее, Лизочку. Потом оба они, и всадник, и распорядитель, долго рассматривали разложенные по тарелкам билетики с фамилиями, что-то там помудрили, и, в конце концов, Лизочка оказалась соседкой Гутбрехта.

Гутбрехт сразу, что называется, взял быка за рога, то есть сжал Лизочкину руку около локтя и сказал ей с тихим упреком:

— Дорогая! Ну почему же? Ну почему же нет?

При этом глаза у него заволоклись снизу петушиной пленкой, так что Лизочка даже испугалась. Но пугаться было нечего. Этот прием, известный у Гутбрехта под названием «номер пятый» («работаю номером пятым»), назывался среди его друзей просто «тухлые глаза».

— Смотрите! Гут уже пустил в ход тухлые глаза!

Он, впрочем, мгновенно выпустил Лизочкину руку и сказал уже спокойным тоном светского человека:

— Начнем мы, конечно, с селедочки.

И вдруг снова сделал тухлые глаза и прошептал сладострастным шепотом:

— Боже, как она хороша!

И Лизочка не поняла, к кому это относится, — к ней или к селедке, и от смущения не могла есть.

Потом начался разговор:

— Когда мы с вами поедем на Капри, я покажу вам поразительную собачью пещеру.

Лизочка трепетала. Почему она должна с ним ехать на Капри? Какой удивительный этот господин!

Наискосок от нее сидела высокая полная дама, кариатидного типа. Красивая, величественная.

Чтобы отвести разговор от собачьей пещеры, Лизочка похвалила даму:

— Правда, какая интересная?

Гутбрехт презрительно повернул свою голую голову, так же презрительно отвернул и сказал:

— Ничего себе мордашка.

Это «мордашка» так удивительно не подходило к величественному профилю дамы, что Лизочка даже засмеялась.

Он поджал губы бантиком и вдруг заморгал, как обиженный ребенок. Это называлось у него «сделать мусеньку».

— Детка! Вы смеетесь над Вовочкой!

— Какой Вовочкой? — удивилась Лизочка.

— Надо мной! Я Вовочка! — надув губки, капризничала орлиная голова.

— Какой вы странный! — удивлялась Лизочка. — Вы же старый, а жантильничаете, как маленький.

— Мне пятьдесят лет! — строго сказал Гутбрехт и покраснел. Он обиделся.

— Ну да, я же и говорю, что вы старый! — искренне недоумевала Лизочка.

Недоумевал и Гутбрехт. Он сбавил себе шесть лет и думал, что «пятьдесят» звучит очень молодо.

— Голубчик, — сказал он и вдруг перешел на «ты». — Голубчик, ты глубоко провинциальна. Если бы у меня было больше времени, я бы занялся твоим развитием.

— Почему вы вдруг говор... — попробовала возмутиться Лизочка. Но он ее прервал:

— Молчи. Нас никто не слышит.

И прибавил шепотом:

— Я сам защищу тебя от злословия.

«Уж скорее бы кончился этот обед!» — думала Лизочка.

Но тут заговорил какой-то оратор, и Гутбрехт притих.

— Я живу странной, но глубокой жизнью! — сказал он, когда оратор смолк. — Я посвятил себя психоанализу женской любви. Это сложно и кропотливо. Я произвожу эксперименты, классифицирую, делаю выводы. Много неожиданного и интересного. Вы, конечно, знаете Анну Петровну? Жену нашего известного деятеля?

— Конечно, знаю, — отвечала Лизочка. — Очень почтенная дама.

Гутбрехт усмехнулся и, раздвинув локти, погарцевал на месте.

— Так вот эта самая почтенная дама — это такой бесенок! Дьявольский темперамент. На днях пришла она ко мне по делу. Я передал ей деловые бумаги и вдруг, не давая ей опомниться, схватил ее за плечи и впился губами в ее губы. И если бы вы только знали, что с ней сделалось! Она почти потеряла сознание! Совершенно не помня себя, она зака-

тила мне плюху и выскочила из комнаты. На другой день я должен был зайти к ней по делу. Она меня не приняла. Вы понимаете? Она не ручается за себя. Вы не можете себе представить, как интересны такие психологические эксперименты. Я не Дон-Жуан. Нет. Я тоньше! Одухотвореннее. Я виртуоз чувства! Вы знаете Веру Экс? Эту гордую, холодную красавицу?

— Конечно, знаю. Видала.

— Ну, так вот. Недавно я решил разбудить эту мраморную Галатею! Случай скоро представился, и я добился своего.

— Да что вы! — удивилась Лизочка. — Неужели? Так зачем же вы об этом рассказываете? Разве можно рассказывать!

— От вас у меня нет тайн. Я ведь и не увлекался ею ни одной минуты. Это был холодный и жестокий эксперимент. Но это настолько любопытно, что я хочу рассказать вам все. Между нами не должно быть тайн. Так вот. Это было вечером, у нее в доме. Я был приглашен обедать в первый раз. Там был, в числе прочих, этот верзила Сток или Строк — что-то в этом роде. О нем еще говорили, будто у него роман с Верой Экс. Ну да это ни на чем не основанные сплетни. Она холодна как лед и пробудилась для жизни только на один момент. Об этом моменте я и хочу вам рассказать. Итак, после обеда (нас было человек шесть, все, по-видимому, ее близкие друзья) перешли мы в полутемную гостиную. Я, конечно, около Веры на диване. Разговор общий, малоинтересный. Вера холодна и недоступна. На ней вечернее платье с огромным вырезом на спине. И вот я, не прекращая светского разговора, тихо, но властно протягиваю руку и быстро хлопаю ее несколько раз по голой спине. Если бы вы знали, что тут сделалось с моей Галатеей! Как вдруг оживился этот холодный мрамор! Действительно, вы только подумайте: человек в первый раз в доме, в салоне приличной и холодной дамы, в обществе ее друзей, и вдруг, не говоря худого слова, то есть я хочу сказать, совершенно неожиданно, такой интимнейший жест. Она вскочила как тигрица. Она не помнила себя. В ней, вероятно, в первый раз в жизни проснулась женщина. Она взвизгнула и быстрым движением закатила мне плюху. Не знаю, что было бы,

если бы мы были одни! На что был бы способен оживший мрамор ее тела. Ее выручил этот гнусный тип Сток, Строк. Он заорал: «Молодой человек, вы старик, а ведете себя как мальчишка!» — и вытурил меня из дому.

С тех пор мы не встречались. Но я знаю, что этого момента она никогда не забудет. И знаю, что она будет избегать встречи со мной. Бедняжка! Но ты притихла, моя дорогая девочка? Ты боишься меня. Не надо бояться Вовочку!

Он сделал «мусеньку», поджав губы бантиком и поморгав глазами.

— Вовочка добленький.

— Перестаньте, — раздраженно сказала Лизочка. — На нас смотрят.

— Не все ли равно, раз мы любим друг друга. Ах, женщины, женщины. Все вы на один лад. Знаете, что Тургенев сказал, то есть Достоевский — знаменитый писатель-драматург и знаток. «Женщину надо удивить». О, как это верно. Мой последний роман... Я ее удивил. Я швырял деньгами, как Крез, и был кроток, как Мадонна. Я послал ей приличный букет гвоздики. Потом огромную коробку конфет. Полтора фунта, с бантом. И вот, когда она, упоенная своей властью, уже приготовилась смотреть на меня как на раба, я вдруг перестал ее преследовать. Понимаете, как это сразу ударило ее по нервам? Все эти безумства, цветы, конфеты, в проекте вечер в кинематографе «Парамоунт» и вдруг — стоп. Жду день, два. И вдруг звонок. Я так и знал. Она. Входит, бледная, трепетная... «Я на одну минутку». Я беру ее обеими ладонями за лицо и говорю властно, но все же — из деликатности — вопросительно:

— Моя?

Она отстранила меня...

— И закатила плюху? — деловито спросила Лизочка.

— Н-не совсем. Она быстро овладела собой. Как женщина опытная, она поняла, что ее ждут страдания. Она отпрянула и побледневшими губами пролепетала: — «Дайте мне, пожалуйста, двести сорок восемь франков до вторника».

— Ну и что же? — спросила Лизочка.

— Ну и ничего.

— Дали?

— Дал.

— А потом?

— Она взяла деньги и ушла. Я ее больше и не видел.

— И не отдала?

— Какой вы еще ребенок! Ведь она взяла деньги, чтобы как-нибудь оправдать свой визит ко мне. Но она справилась с собой, порвала сразу эту огненную нить, которая протянулась между нами. И я вполне понимаю, почему она избегает встречи. Ведь и ее силам есть предел. Вот, дорогое дитя мое, какие темные бездны сладострастия открыл я перед твоими испуганными глазками. Какая удивительная женщина! Какой исключительный порыв!

Лизочка задумалась.

— Да, конечно, — сказала она. — А по-моему, вам бы уж лучше плюху. Практичнее. А?

Нерассказанное о Фаусте

Снилось ему, что он снова стоит перед Мефистофелем и снова заклинает:

Ach, gieb mir wieder jene Triebe
Das tiefe Schmerzenfolle Gluck,
Des Hasses Kraft, die Macht der Liebe,
Gieb meine Jugend mir zuruck.

— Дай счастье, полное боли!

— Дай силу ненависти!

— Дай могущество любви!

— Верни мне мою молодость!

Сон был беспокойный, но в первый раз за много лет проспал он до десяти часов.

Проснулся, потянулся и с удивлением заметил, что поясница не болит.

Привычным движением ухватил себя за подбородок, чтобы вытянуть из-под одеяла свою длинную жидкую, седую бороду. Ухватил и замер. Бороды не было. Курчавились короткие густые завитки. Тут он вскочил, сел, спустил ноги с кровати и все вспомнил.

— Я молод!

И сразу неистово захотел есть.

Посмотрел у себя в шкапчике. Нашел полстакана кислого молока и маленький сухарик. Это был его обычный завтрак, который он разрешал себе в шесть часов утра после целой ночи лабораторной работы.

Теперь в одну секунду сглотнул он молочную кислятину, схрупал сухарь и прищелкнул языком.

— Мало!

Подумал и пошел в другую комнату, где днем работал его ученик.

— Вагнер, — вспомнил он, — вечно что-то жует. Наверное, у него что-нибудь припрятано.

Пошарил по всем углам и нашел за банкой с гомункулусом большой кусок колбасы и пумперникель.

— Хорошо бы к этому выпивку, — пробормотал он и сам смутился такой непривычной для своего мозга мысли.

— Хорошо бы пива!

Но пива не было. Тогда глаза его остановились на банке с гомункулусом. В банке был спирт.

И снова заработала мысль непривычно и жутко. Вспомнилось, как забрались как-то к нему в лабораторию соседние школьники и выпили спирт из-под жабьего сердца, которое предполагалось венчать с черной лилией.

Мальчишки были довольны, несмотря на то что Вагнер их выдрал.

Здесь воспоминания оборвались, и Фауст перешел к реальной жизни. Разорвал пузырь, закупоривавший банку, и хлебнул. Хлебнул, крякнул и вонзил зубы в колбасу:

— Блаженство.

Чуть было не крикнул: «Остановись, мгновенье»! — но вспомнил, что этого-то как раз и нельзя. Покрутил головой, посмеялся, доел колбасу и пошел одеваться.

Тут он с досадой заметил, что от молодости стал весь больше и толще, что платье трещит на нем по всем швам. Кое-как натянул его, надел шляпу, схватил было палку, да вспомнил, что теперь она не нужна, и вышел на улицу. Помнил, что нужно было зайти к старому алхимику потолковать насчет соединения Льва с Аметистом, но вдруг и алхимик, и Лев, и Аметист показались ни к черту не нуж-

ными. А гораздо неотложнее почувствовался план пойти в бирхалку.

— Я молод! — ликовал он. — Теперь жизнь даст мне то, чего я желал, за что продал душу черту. «Глубокое до боли счастье, силу ненависти, могущество любви... юность».

Он шел в бирхалку.

— Я, старый доктор Фауст, знаю, что должен пойти к алхимику, а вот иду в бирхалку. Это меня моя дурацкая молодость мутит. И ничего не поделаешь. Неужели я стал лентяем? Странно и нехорошо.

Но поступил он именно странно и нехорошо. Пошел в бирхалку.

Народу там было уже много. Чтобы получить место, пришлось схитрить. Подстерег минутку, когда один уютный старичок поднялся, чтобы поздороваться с приятелем, и живо занял его место. Старичок вернулся, обиделся, заворчал.

— Да, — поддержал его другой старичок. — Теперь молодежь стала не только не любезная, а прямо наглая. Вот, молодой человек, — обратился он к Фаусту, — в наше время юноша не только не позволил бы себе занять место пожилой персоны, но, наоборот, уступил бы ей свое собственное.

— Стыдно, молодой человек! — ворчал обиженный старичок. — Что из вас выйдет, когда вы войдете в лета? Лоботряс из вас выйдет, бездельник, неуч и нахал.

— Неуч? — удивился Фауст. — Я доктор. Я философ.

— Ха-ха-ха-ха-ха! — дружно расхохотались все кругом.

— Вот шутник!

— Да он пьян!

— Как распустилась наша молодежь! Вместо того чтобы учиться и работать, сидит с утра в бирхалке.

— И скандалит.

— И врет.

— Вылить ему пиво за шиворот, — предложил кто-то.

— Ну, задевать его не советую. Парень здоровый.

Фауст обвел присутствующих глазами. Все лица насмешливые, недружелюбные.

— Драться?

Он не знал, сильный он или слабый. От волнения забыл, что он молод, и поспешил убраться из кабачка.

На улице было весело. День солнечный, яркий. За углом трещал барабан, проходили солдаты. Фауст залюбовался на их крепкие бодрые фигуры, на молодецкий шаг, на сильные ноги.

— О, если бы вернуть молодость! — вздохнул он по старой привычке.

— Ты чего толкаешься? — огрызнулась на него прохожая старушонка. — Чего на фронт не идешь? Смотрите, господа хорошие, какой здоровенный парень болтается зря, а родину защищать не желает.

— Стыдно, молодой человек, — сказал почтенный прохожий. — Воевать не идете и вон старуху обидели.

— Это какой-то подозрительный субъект! — пискнул кто-то. — Вон и одет как стрекулист.

— А и верно, — поддержал другой. — Платье-то не по нем шито, стариковский кафтан. Видно, ограбил какого ни на есть старика.

— Арестовать бы его, да выслать.

— Чего тут. Ясное дело — нежелательный иностранец.

Подошел сторож с алебардой.

— Поймали? — спросил.

— Поймали.

— Ну, так идем в участок.

Сторож ухватил Фауста за шиворот.

— Отправят на фронт, — говорили в толпе.

— Эх, молодежь, молодежь, как распустилась!

Фауст отбивался как мог, и вдруг развернулся и трахнул сторожа в скулу.

«Des Hasses Kraft» — сила ненависти, вспомнилось ему.

— Ловко, черт возьми! — громко крикнул он.

— Возьми? — переспросил знакомый голос. — Беру!

За его плечом улыбалась симпатичная знакомая рожа Мефистофеля.

— Беру! — повторил Мефистофель.

— Пусти-ка его, голубчик, — сказал он сторожу. — Это мой приятель.

Он нагнулся и пошептал сторожу что-то на ухо. Тот осклабился, удивленно уставился на черта и отпустил Фауста.

Мефистофель подхватил Фауста под руку и спокойно повел его вдоль улицы.

— Куда же мы идем? — спросил Фауст.

— Фланировать, — отвечал черт. — Молодые люди всегда фланируют. Пойдем, вон на площади танцуют. Там встретишь Маргариту.

* * *

«Маргарита! Маргарита! Маргарита! — сердито думал Фауст, шагая по своей лаборатории. — Само собою разумеется, что это ее черт мне подсунул».

В лаборатории было скверно, темно, пыльно. Вагнер давно удрал.

— Я был послушным учеником мудрого доктора Фауста, — сказал он. — Но что мне делать с этим ражим малым, от которого с утра пивом несет и который говорит только о девчоночках? Я себя слишком уважаю, чтобы оставаться здесь.

Прихватил черного кота, белого петуха, магическую палочку и ушел.

— Черт оказался форменным болваном, — ворчал Фауст. — Ведь что он воображает? Он воображает, что у меня, у молодого Фауста, остался стариковский вкус. Что такая молоденькая, розовая телятинка закроет для меня весь мир? Дурак черт. Вообще хитер, а в эротике — ни черта. Мне, молодому человеку, нужно совсем не то, о чем мечтал слюнявый старичок доктор Фауст. Мне нужна какая-нибудь ловкая прожженная кокетка, кррасавица грррафиня, жестокая, яркая, чтобы закружила, закрутила, замучила. А Гретхен? Ведь, в сущности, это та же полезная простоквашка, которую я, бывало, ел по утрам.

Он остановился, прислушался к себе.

— Странно! С молодостью у меня мысли стали простые и совсем ясные. Все мои знания остались, как были. Ничто не забыто, все со мной. А между тем, все как-то опростело.

С улицы донесся треск барабана, выкрики.

— Солдаты идут. Странное дело — хочется поработать в лаборатории, а услышу барабан — тянет маршировать. Рраз-два! Рраз-два!.. Прямо что-то унизительное. И потом этот гнусный аппетит, страстный интерес к еде и к выпивке. Не тот гурманский, какой бывает у старичков, — грибочки,

винцо, цыпленочек, кисленькое. Нет. Здоровенный интерес, ражий, ярый. И при этом веселый интерес. Вся душа радуется, лучится, искрится от жареной колбасы с пивом.

Фауст сел, опустил голову на руки. Грустно затих.

— Унизил меня черт. Подло с его стороны. Не потакать нужно было, а отговорить. Ну, да теперь ничего не поделаешь. Иду к Маргарите наслаждаться вечно женственным. Прихвачу брошечку...

— Голубчик черт, — говорил через несколько дней Фауст Мефистофелю. — Гретхен очаровательна. Я сам ее выбрал, хотя теперь и подозреваю, что это ты мне ее подсунул. Но здесь (как будут выражаться через несколько веков), здесь наблюдается явная неувязка. Чем больше я об этом думаю, тем меньше понимаю. Почему ты велел поднести ей целую шкатулку с финтифлюшками? Она должна была потерять от меня голову без всяких сережек. Я молод. По-моему, ты тут что-то напугал. Сережки нужны старичкам. А у меня «Mach der Liebe», могущество любви. Зачем же сережки? Это для меня унизительно. Чего же ты молчишь? Молчит. Я эдак начну сомневаться в могуществе любви. Это совсем не входит в мои планы. За что же я тогда душу-то продавал? За что боролись? Молчит. И потом, голубчик, еще одна деликатная деталь. Да, я молод. Телу моему, действительно, двадцать лет. Но ведь душе-то моей — это, конечно, между нами, — все-таки третьего дня исполнилось семьдесят шесть. Это надо учесть. Мне скучно... Ну, конечно, Маргарита душечка, пышечка, одно очарование. Но ведь она — это тоже между нами, — ведь она дура отпетая. Вот, например, вчера ночью, сидим мы вдвоем в саду. Розы благоухают. Ох, эти заклятые цветы! Как от них кружится голова... Скоро рассвет. И соловей замолчал. Как чудесна эта сладкая истома молодого, сильного тела. Оно как соловей, пропевший предрассветную песнь, задремавший среди цветов сирени. Дремлет. А душа не спит. Душа как бы освободилась от власти тела, от Schmerzenfolle Glück, углубилась в свое святая святых. Я заговорил о лаборатории, о философском камне. А Гретхен, — она, конечно, милая девочка, — она насушила тыквенных семечек, — сидит и лущит. Ну, что мне делать, черт? Мне ску-у-учно! Идти опять в лабораторию, — как-то неловко. Выйдет, что я дурак. Же-

лал, рыдал, душу поставил на карту. Черт! Будь порядочным дьяволом, верни мне мою седую бороду! Верни мне мою золотую старость!

Яго

Все мы знаем, что бывают люди симпатичные и несимпатичные. Это совершенно независимо от того, что сделают они нам зло или будут добры к нам.

Симпатичный человек иногда так обведет вас вокруг пальца, так использует свою симпатичность для собственной выгоды, что вы потом долго удивляетесь, как могли попасться на удочку такому прохвосту.

Но в защиту нас, ротозеев, является так называемая репутация. Относительно некоторых «симпатичных» личностей предупреждают и предостерегают.

Да и вообще, мы ведь знаем, в нашей судьбе тот или иной человек может сыграть большую роль, и мы всегда как бы начеку против людей малоизвестных, неизученных. Если и попадемся, то отчасти сами и виноваты.

Но в чем мы совершенно беззащитны, это в отношении к нам вещей. Странным, пожалуй, покажется такое выражение «отношение вещей». Как может «относиться» неодушевленный предмет?

Вот именно потому, что мы этого не понимаем, мы и беззащитны.

Кто из нас не слыхал легенд о каких-нибудь зловещих алмазах, приносящих несчастье своим обладателям? Но говорят о них только потому, что это предметы дорогие, драгоценные, от которых и пострадать лестно. О какой-нибудь сковороде, срывающейся с кухонной полки и калечащей подряд двух хозяйских кошек, рассказывать никто не станет. Мелко. Кухня, кошки, сковорода — что за тема для разговора!

Но оставим сковороду. Перейдем к предмету более бонтонному[1].

---

[1] Приличному (от *фр.* bon ton — хороший тон).

Каждая дама знает, что есть платья счастливые и несчастные. Счастливое платье может быть и не очень удачное, старенькое и даже не к лицу, но если наденешь его, всегда чувствуешь себя довольной, веселой, все дела удаются, все люди любезны и ласковы.

Несчастное платье может быть очаровательным, дорогим, очень идущим к лицу, прекрасно сидящим, возбуждающим восторг и зависть. А между тем — наденешь его и жизни не рад.

Тот, ради которого оно надето, либо совсем в обществе не появится, либо, появившись, выкажет полное равнодушие или даже неприязнь, совершенно неизвестно почему.

Особа, нарядившаяся в несчастное платье, будет скучать, чувствовать себя обиженной, одинокой, никому не нужной И от этого сознания станет неловкой, ненаходчивой, неостроумной и даже прямо несчастной.

И это, заметьте, каждый раз, когда она надевает это платье.

Психологически, конечно, начнут объяснять так: первый раз, когда дама надела это платье, ей почему-то не повезло, и вот впоследствии каждый раз, надевая его, она подсознательно тревожилась, ожидая повторения неприятных впечатлений, и эта тревога угнетала ее, делала неуверенной, неловкой, а потому и неинтересной в обществе.

Ну, так я вам скажу, что это совершенно неверно. Дама, заплатившая дорого за свое платье и считающая его удачным, ни в какое подсознательное не допустит мысли, что это от него ей не везет. Нужен долгий и очень сознательный опыт, чтобы она пришла к выводу: «А ведь каждый раз, когда я надеваю свое прелестное платье, меня ждут неудачи». Потому что вывод этот несет катастрофу: выбросить платье.

Бывают «невезучие» мелочи туалета, часы, кольца, карандаши.

Бывает так, что какая-нибудь довольно громоздкая часть мебели въедет в квартиру и испортит жизнь в ней живущим, перессорит, разлучит, насплетничает, оклевещет. И никому в голову не придет, что виновата именно эта проклятая штука.

Вот, например, был у моей приятельницы зеркальный шкап. Самой обыкновенной ореховой внешности, внутри разделенный продольной перегородкой, — чтобы по пра-

вую сторону вешать на крючки платья, а по левую класть на полочки белье и мелочи.

Словом, такая банальная штука, что и описывать ее совестно. И вот, — можно ли было подумать, что эта простая на вид штука способна сыграть роль доносчика, шпиона, предателя, шекспировского Яго.

Стоял этот шкап в спальне, а так как квартира была стиля модерн, то дверей в спальню не было, а соединялась она с гостиной большой аркой. Шкап стоял посреди стены, а против него на стене гостиной висело зеркало, как-то наискосок и так лукаво, что, в какой угол ни зайди, непременно в шкапу отразишься.

Муж моей приятельницы был человек занятой и приходил домой в самое неопределенное время, отпирая дверь своим ключом.

И вот первое, что ему бросилось в глаза, — это было отражение в зеркале того, что происходит в доме. Лукавая вещь ухитрялась, через какую-то блестящую поверхность, через узенькое зеркальце над буфетным ящиком, ловить даже то, что делается в столовой и даже в коридоре. Как сплетник и доносчик, шкап бежал впереди всех навстречу хозяину и, торопясь и перевирая, докладывал ему обо всем.

Тщетно убеждала его жена, что зеркало в шкапу испорчено.

— Кто это шмыгнул по коридору на черную лестницу? — мрачно спрашивал муж.

— Да ровно никто! — в благородном негодовании отвечала жена. — Пойди посмотри, там никого нет. Ты безумец!

— Какой смысл смотреть, — упорствовал безумец. — Что же, он будет ждать, чтобы я подошел и набил ему физиономию?

Под разными предлогами жена пробовала переставлять шкап. Но он тогда перемигивался с зеркалом в передней, и спрятаться от него нельзя было даже в ванной.

Отвратительнее всего, по словам невинно потерпевшей, или, вернее, невинно терпящей, было то, что шкап врал. Он отражал то, чего никогда не было.

— Понимаете? — говорила она. — Вроде как мираж в пустыне. Мало ли есть на свете таких обманов зрения, слуха и так далее.

Да, именно «и так далее». Шкап обманывал «так далее».

Однажды, вернувшись домой, владелец проклятого шкапа увидел в его зеркале свою жену, полулежащую в грациознейшей позе на диване и рядом с ней обнимающего ее господина.

Владелец шкапа шагнул в комнату и увидел, что рядом с его женой сидит доктор Ферезев, их постоянный врач. Доктор, вероятно, только что выслушал легкие жены шкапового владельца, потому что тут же на столе лежала трубочка, приспособленная для этого дела.

Жена молчала, выпучив глаза. Зато доктор неестественно восторженно и громко воскликнул:

— А вот и наш муж!

Воскликнул и снова повторил:

— А вот и наш муж!

А потом еще и еще, и все скорее, и все глупее, пока пораженный всем этим муж не спросил наконец:

— Разве ты больна?

На что жена отвечала совершенно некстати обиженным тоном:

— Доктор находит, что я кашляю. Вечно ты придираешься.

Собственно говоря, ничего удивительного и подозрительного тут не было. Зашел доктор, нашел у нее кашель. Кашля до сих пор не было, но на то у него наука, чтобы разыскать скрытое зло. Поискал и нашел. А шкап отразил ерунду. Отразил дело в ракурсе, и получилась оскорбительная для супружеской чести ерунда. Странно только, что доктор, вместо того чтобы поздороваться, стал кричать, как попугай. Но, впрочем, нельзя же ему это серьезно поставить в вину. Тем более что возглас был радостный и, так сказать, приветственный. Если бы он, что называется, «влопался», так, скорее всего, закричал бы «черт возьми!» и, уж конечно, без всякого ликования. Так думал муж, и дело сошло гладко.

Но шкап думал иначе.

Недельки через две после описанного случая муж, вернувшись домой, увидел в бросившемся ему навстречу шкапу свою жену, на этот раз стоящую посреди комнаты. В этой невинной позе стояла она не одна. Ее обнимал какой-то неизвестный субъект и, если верить шкапу, целовал ее прямо

в губы. Затем жена чуть-чуть повернула голову, и в шкапу показались ее глаза, сначала обычного размера и обычной формы, но мало-помалу они стали круглеть и вылезать наружу. Потом она отвернулась и, оттолкнув субъекта, сказала:

— Надо завести граммофон, а так у нас ничего не выйдет.

Субъект странно загоготал, но, повернув глаза, встретился в зеркале с глазами, которых, очевидно, не ожидал, и осекся.

— Это ты, Вася? — вполне естественным тоном сказала жена. — Заведи, дружочек, граммофон. Вот мосье Пирожников так любезен, что согласился научить меня новому танцу.

Значит, шкап опять наврал, опять подстроил ракурсы и опять оставил его в дураках с его ревностью и подозрительностью.

Мосье Пирожников оказался вдобавок совершеннейшим кретином и к тому же кретином несветским. Он молча взял свою шляпу, поклонился и вышел. Словно его выгнали.

— Он робкий и простачок, — объяснила жена.

Конечно, такой не мог ей нравиться.

Гроза пролетела мимо, но шкап не успокоился. Он сделал такую подлость, на какую может быть способен только человек. Да и не всякий человек, а исключительно мстительный и злющий. Яго.

Между прочим — почему все так злобно нападают на Яго? Ведь у Шекспира есть ясный намек на былой флирт Отелло с женой Яго. Следовательно, Яго, разбивая счастье мавра, мстил из ревности. Он, значит, был тоже Отелло (употребляя это имя как имя нарицательное).

Но вернемся к шкапу.

Шкап был хуже Яго. Никто его супружеской чести не оскорблял, и он не страдал ревностью. Но сделал он следующее.

Однажды владелец его, в отсутствие жены, долго искал какой-то галстук и, не найдя, решил, что жена сунула его в свой шкап.

Браня жену за безалаберность, он сердито дернул зеркальную дверцу, и в то же мгновение с верхней полки вылетел перевязанный легкой ленточкой пакет, щелкнул его по лбу и осыпал с головы до ног письмами.

— Вот, мол, дурак. Надо тебя по лбу щелкнуть, чтобы ты поверил.

Жертва шкапа долго сидела на полу, читала писанное разными почерками:

«...Приду, когда твоего болвана не будет дома...»

«...знаю, что ты горишь, но и я сам горю...»

«...что может быть блаженней твоих объятий...»

«...люблю, когда ты шепчешь «еще, еще».

Жертва читала, с недоумением и даже любопытством спрашивая:

— А это кто же?

— Ну, а это-то кто?

А шкап торжествующе отражал его физиономию — растерянную, несчастную и глупую.

Городок

Городок

(Хроника)

Это был небольшой городок — жителей в нем было тысяч сорок, одна церковь и непомерное количество трактиров.

Через городок протекала речка. В стародавние времена звали речку Секваной, потом Сеной, а когда основался на ней городишко, жители стали называть ее «ихняя Невка». Но старое название все-таки помнили, на что указывает существовавшая поговорка: «живем, как собаки на Сене — худо!»

Жило население скучно: либо в слободке на Пасях, либо на Ривгоше. Занималось промыслами. Молодежь большею частью извозом — служила шоферами. Люди зрелого возраста содержали трактиры или служили в этих трактирах: брюнеты — в качестве цыган и кавказцев, блондины — малороссами.

Женщины шили друг другу платья и делали шляпки. Мужчины делали друг у друга долги.

Кроме мужчин и женщин население городишки состояло из министров и генералов. Из них только малая часть занималась извозом — бóльшая преимущественно долгами и мемуарами.

Мемуары писались для возвеличения собственного имени и для посрамления сподвижников. Разница между мемуарами заключалась в том, что одни писались от руки, другие на пишущей машинке.

Жизнь протекала очень однообразно.

Иногда появлялся в городке какой-нибудь театрик. Показывали в нем оживленные тарелки и танцующие часы. Граждане требовали себе даровых билетов, но к спектаклям относились недоброжелательно. Дирекция раздавала даровые билеты и тихо угасала под торжествующую ругань публики.

Была в городишке и газета, которую тоже все желали получать даром, но газета крепилась, не давалась и жила.

Общественной жизнью интересовались мало. Собирались больше под лозунгом русского борща, но небольшими группами, потому что все так ненавидели друг друга, что нельзя было соединить двадцать человек, из которых десять не были бы врагами десяти остальных. А если не были, то немедленно делались.

Местоположение городка было очень странное. Окружали его не поля, не леса, не долины, — окружали его улицы самой блестящей столицы мира, с чудесными музеями, галереями, театрами. Но жители городка не сливались и не смешивались с жителями столицы и плодами чужой культуры не пользовались. Даже магазинчики заводили свои. И в музеи и галереи редко кто заглядывал. Некогда, да и к чему — «при нашей бедности такие нежности».

Жители столицы смотрели на них сначала с интересом, изучали их нравы, искусство, быт, как интересовался когда-то культурный мир ацтеками.

Вымирающее племя... Потомки тех великих славных людей, которых... которые... которыми гордится человечество!

Потом интерес погас.

Из них вышли недурные шоферы и вышивальщицы для наших увруаров. Забавны их пляска и любопытна их музыка...

Жители городка говорили на странном арго, в котором, однако, филологи легко накопили славянские корни.

Жители городка любили, когда кто-нибудь из их племени оказывался вором, жуликом или предателем. Еще любили они творог и долгие разговоры по телефону.

Они никогда не смеялись и были очень злы.

Маркита

Душно пахло шоколадом, теплым шелком платьев и табаком.

Раскрасневшиеся дамы пудрили носы, томно и гордо оглядывали публику — знаю, мол, разницу между мною и вами, но снисхожу.

И вдруг, забыв о своей гордой томности, нагибались над тарелкой и жевали пирожное, торопливо, искренно и жадно.

Услужающие девицы, все губернаторские дочки (думали ли мы когда-нибудь, что у наших губернаторов окажется столько дочек), поджимая животы, протискивались между столиками, растерянно повторяя:

— Один шоколад, один пирожное и один молоко...

Кафе было русское, поэтому — с музыкой и «выступлениями».

Выступил добродушный голубоглазый верзила из выгнанных семинаристов и, выпятив кадык, изобразил танец апаша. Он свирепо швырял свою худенькую партнершу с макаронными разъезжавшимися ножками, но лицо у него было доброе и сконфуженное.

— Ничего не попишешь, каждому есть надо, — говорило лицо.

За ним вышла «цыганская певица Раиса Цветкова» — Раичка Блюм. Завернула верхнюю губу, как зевающая лошадь и пустила через ноздри:

Пращвай, пращвавай, подругва дарагавая!
Пращвай, пращвавай — цэганская сэмэа!..

Ну что поделаешь! Раичка думала, что цыганки именно так поют.

Следующий номер была — Сашенька.

Вышла, как всегда, испуганная. Незаметно перекрестилась и, оглянувшись, погрозила пальцем своему большеголовому Котьке, чтоб смирно сидел.

Котька был очень мал. Круглый нос его торчал над столом и сопел на блюдечко с пирожным. Котька сидел смирно.

Сашенька подбоченилась, гордо подняла свой круглый, как у Котьки, нос, повела бровями по-испански и запела «Маркиту».

Голосок у нее был чистый, и слова она выговаривала просто и убедительно.

Публике понравилось.

Сашенька порозовела и, вернувшись на свое место, поцеловала Котьку еще дрожавшими губами.

— Ну вот, посидел смирно, теперь можешь получить сладенького.

Сидевшая за тем же столиком Раичка шепнула:

— Бросьте уж его. На вас хозяин смотрит. Около двери. С ним татарин. Черный нос. Богатый. Так улыбнитесь же, когда на вас смотрят. На нее смотрят, а она даже не понимает улыбнуться!

Когда они уходили из кафе, продавщица, многозначительно взглянув на Сашеньку, подала Котьке коробку конфет.

— Приказано передать молодому кавалеру.

Продавщица тоже была из губернаторских дочек.

— От кого?

— А это нас не касается.

Раичка взяла Сашеньку под руку и зашептала:

— Это все, конечно, к вам относится. И потом я вам еще посоветую — не таскайте вы с собой ребенка. Уверяю вас, что это очень мужчин расхолаживает. Верьте мне, я все знаю. Ну ребенок, ну конфетка, ну мама — вот и все! Женщина должна быть загадочным цветком (ей-богу?), а не показывать свою домашнюю обстановку. Домашняя обстановка у каждого мужчины у самого есть, так он от нее бежит. Или вы хотите до старости в этой чайной романсы петь? Так если вы не лопнете, так эта чайная сама лопнет.

Сашенька слушала со страхом и уважением.

— Куда же я Котьку дену?

— Ну пусть с ним тетя посидит.

— Какая тетя? У меня тети нету.

— Удивительно, как это в русских семьях всегда так устраиваются, что у них тетей нет!

Сашенька чувствовала себя очень виноватой.

— И потом надо быть повеселее. На прошлой неделе Шнутрель два раза для вас приходил, да, да, и аплодировал, и к столику подсел. А вы ему, наверное, стали рассказывать, что вас муж бросил.

— Ничего подобного, — перебила Сашенька, но густо и виновато покраснела.

— Очень ему нужно про мужа слушать. Женщина должна быть Кармен. Жестокая, огненная. Вот у нас в Николаеве...

Тут пошли обычные Раичкины чудеса про Николаев, роскошнейший город, Вавилон страстей, где Раичка, едва окончив прогимназию, сумела сочетать в себе Кармен, Клеопатру, Мадонну и шляпную мастерицу.

На другой день черноносый татарин говорил хозяину чайной:

— Ты мэнэ, Григорий, познакомь с этим дэвушкой. Она мэнэ сердце взяла. Она своего малшика поцеловала — в ней душа есть. Я человек дикий, — а она мэнэ теперь, как родственник, она мэнэ, как племянник. Ты познакомь.

Маленькие, яркие глазки татарина заморгали и нос от умиления распух.

— Да ладно. Чего ж ты так расстраиваешься? Я познакомлю. Она, действительно, кажется, милый человек, хотя — кто их разберет.

Хозяин подвел татарина к Сашеньке.

— Вот друг мой — Асаев, желает с вами, Александра Петровна, познакомиться.

Асаев потоптался на месте, улыбнулся растерянно. Сашенька стояла красная и испуганная.

— Можно пообедать — вдруг сказал Асаев...

— У нас... у нас здесь обедов нет. У нас только чай, файф-о-клок до половины седьмого.

— Нэт... я говору, что мы с вами поедем обедать. Хотите?

Сашенька совсем перепугалась...

— Мерси... в другой раз... я спешу... мой мальчик дома.

— Малшик? Так я завтра приду.

Он криво поклонился, раз-два, точно поздравлял и отошел.

Раичка схватила Сашеньку за руку.

— Возмутительно. Это же прямо идиотство. В нее влюбился богатейший человек, а она его мальчиком тычет. Слушайте, я завтра дам вам мою черную шляпу и купите себе новые туфли. Это очень важно.

— Я не хочу идти на содержание, — сказала Сашенька и всхлипнула.

— На содержание? — удивилась Раичка. — Кто же вас заставляет? А что вам помешает, если богатый мужчина за вами сохнуть станет? Вам помешает, что вам будут подносить цветы? Конечно, если вы будете все время вздыхать и нянчить детей, то он с вами недолго останется. Он человек восточный и любит женщин с огнем. Уж верьте мне — я все знаю.

— Он, кажется, очень... милый! — улыбнулась Сашенька.

— А если сумеете завлечь, так и женится. Зайдите вечером за шляпой. Духи у вас есть?

Сашенька плохо спала. Вспоминала татарина, умилялась, что такой некрасивый.

— Бедненький он какой-то. Любить его надо бы ласково, а нельзя. Нужно быть гордой и жгучей и вообще Кармен. Куплю завтра лакированные туфли. Нос у него в каких-то дырочках и сопит. Жалко. Верно, одинокий, не пригретый.

Вспоминала мужа, красивого, нехорошего.

— Котьку не пожалел. Танцует по данцингам. Видели в собственном автомобиле с желтой англичанкой.

Всплакнула.

Утром купила туфли. Туфли сразу наладили дело на карменный лад.

— Тра-ля-ля-ля!

А тут еще подвезло: соседка-жиличка начала новый флюс — это значит дня на три, на четыре — дома. Обещала присмотреть за Котькой.

В Раичкиной шляпе, с розой у пояса, Сашенька почувствовала себя совсем демонической женщиной.

— Вы думаете, я такая простенькая? — говорила она Раичке. — Хо! Вы меня еще не знаете. Я всякого вокруг пальца обведу. И неужели вы думаете, что я придаю значение этому армяшке? Да я захочу, так у меня их сотни будут.

Раичка смотрела недоверчиво и посоветовала ярче подмазать губы.

Татарин пришел поздно и сразу к Сашеньке.

— Едем. Обэдыть.

И пока она собиралась, топтался близко, носом задевал.

На улице ждал его собственный автомобиль. Сашенька этого даже и вообразить не могла. Немножко растерялась, но лакированные туфли сами подбежали, прыгнули — словно им это дело бывалое... На то, вероятно, их и сладили.

В автомобиле татарин взял ее за руку и сказал:

— Ты мэнэ родной, ты мэнэ как племянник. Я тэбэ что-то говорить буду. Ты подожди.

Приехали в дорогой русский ресторан. Татарин назаказывал каких-то шашлыков рассеянно. Всё смотрел на Сашеньку и улыбался.

Сашенька выпила залпом рюмку портвейна, думала, что для демонизма выйдет хорошо. Татарин закачался, и лампа поехала вбок.

Видно, не надо было так много.

— Я дикий, — говорил татарин и заглядывал ей в глаза. — Я такой дикий, что даже скучаю. Совсэм один. И ты один?

Сашенька хотела было начать про мужа да вспомнила Раичку.

— Один! — повторила она машинально.

— Один да один будет два! — вдруг засмеялся татарин и взял ее за руку.

Сашенька не поняла, что значит «будет два», но не показала, а, закинув голову, стала задорно смеяться.

Татарин удивился и выпустил руку.

— Надо быть Кармен, — вспомнила Сашенька.

— Вы способны на безумие? — спросила она, томно прищурив глаза.

— Нэ знаю, нэ приходилось. Я жил в провинции.

Не зная, что говорить дальше, Сашенька отколола свою розу и, вертя ею около щеки, стала напевать:

«Маркита! Маркита! Красотка моя!..»

Татарин смотрел грустно.

— Скучно тэбэ, что ты петь должен? Тяжело тэбэ?

— Ха-ха! Я обожаю песни, танцы, вино, разгул. Хо! Вы меня еще не знаете!

Розовые лампочки, мягкий диван, цветы на столах, томное завывание джаз-банда, вино в серебряном ведре. Сашенька чувствовала себя красавицей испанкой. Ей казалось, что у нее огромные, черные глаза и властные брови.

Красотка Маркита...

— У тебя хороший малшик, — тихо сказал татарин.

Сашенька сдвинула «властные» брови.

— Ах, оставьте! Неужели мы здесь сейчас будем говорить о детях, пеленках и манной каше? Под дивные звуки этого

танго, когда в бокалах искрится вино, надо говорить о красоте, о яркости жизни, а не о прозе... Я люблю красоту, безумие, блеск, я по натуре Кармен. Я — Маркита... Этот ребенок... я даже не могу считать его своим — до такой степени мое прошлое стало мне теперь чуждым.

Она вакхически закинула голову и прижала к губам бокал. И вдруг душа тихо заплакала!

— Отреклась! Отреклась от Котьки! От худенького, от голубенького, от бедного...

Татарин молча высосал два бокала один за другим и опустил нос.

Сашенька как-то сбилась с толку и тоже молчала.

Татарин спросил счет и встал.

По дороге в автомобиле ехали молча. Сашенька не знала, как наладить опять яркий разговор. Татарин все сидел, опустив нос, будто дремал.

— Он слишком много выпил, — решила она. — И слишком волновался. Милое в нем что-то. Я думаю, что я его ужасно полюблю.

Расставаясь, она многозначительно стиснула его руку.

— До завтра... да?

Хотела прибавить что-нибудь карменное, да так ничего и не придумала.

Дома встретила ее жиличка с флюсом.

— Ваш мальчишка хнычет и злится. Сладу нет. Я больше никогда с ним не останусь.

В полутемной комнате, под лампой, обернутой в газетную бумагу, на огромной парижской «национальной» кровати сидел крошечный Котька и дрожал.

Увидев мать, он затрясся еще больше и завизжал:

— Где ты плопадала, дулища!

Сашенька схватила его на руки, злого, визжащего, и шлепнула, но прежде чем он успел зареветь, сама заплакала и крепко прижала его к себе.

— Ничего... потерпи, батюшка милый. Немножко еще потерпи. И нас с тобой полюбят, и нас отогреют. Теперь уж недолго...

На другое утро хозяин Сашенькиного кафе встретил на улице Асаева.

Татарин плелся уныло, щеки синие, небритые, глаз подпух.

— Чего такой кислый? Придешь к нам сегодня?

Татарин тупо смотрел вбок.

— Нэт. Кончена.

— Да ты чего такой? Неужто Сашенька отшила?

Татарин махнул рукой.

— Она... ты не знаешь... Она — дэмон. Ашибка вышла. Нэт. Нэ приду. Кончена!

L'ame slave

П. А. Тикстону

I

Обед подходил к концу.

Небритые гарсоны прибирали мокрые корки с залитых вином скатертей и разносили сыр и пахнущий жареной тряпкой кофе.

Егоровы поели не очень плотно: Андрей Сергеевич — шукрут, Ольга Ивановна, не успевшая отнести работу в увруар, почувствовала склонность к вегетарианству и спросила жареного картофеля.

Они собирались уже уходить, как вдруг послышался тихий струнный говорок и вошли двое с гитарами. Один постарше — лысый, обрюзгший, другой — помоложе, с наглыми глазами и фальшивым бриллиантом на грязном мизинце с обломанным ногтем. Оба были оливково-смуглы и громко переговаривались на ломаном французско-испанском языке.

Сели недалеко от Егоровых, подстроили гитары и, резко дергая металлические струны, заиграли песню.

Играли оба, но толстый старик, кроме того, и пел какие-то слова, из которых более или менее понятно выделялся только припев:

— Pardon, madame, pardon, je suis cochon[1].

Кроме того, он, отбрасывая гитару, вскакивал, мотал головой, так что толстые губы его болтались, как резиновые, свистел, кудахтал и лаял по-собачьи.

---

[1] Простите, мадам, простите, я свинья (*фр.*).

Тот, что помоложе, смеялся и подмигивал всем на старика.

Публика была в восторге. Женщины визжали и лезли на стулья, чтобы лучше видеть. Гарсоны останавливались на бегу и стояли, распялив рот и не замечая, как шлепают на пол объедки с грязных тарелок.

Андрей Сергеевич, страдальчески сдвинув брови, долго смотрел на старика, вздохнул и сказал:

— Тяжелое зрелище!

— Что? — спросила жена.

— Человек-то ведь уже немолодой, детный, ради куска хлеба по-собачьи лает. Дома детишки, жена больная... У таких всегда больные жены. Он, конечно, скрывает от них свое ремесло. Они убеждены, что он просто и почтенно играет на гитаре. А если бы они случайно зашли сюда и увидели! Господи!

Ольга Ивановна полезла в сумочку за носовым платком.

— Ну что поделаешь, Андрюша, всем тяжело.

Андрей Сергеич рассердился.

— «Всем»! Сравнила тоже! Думаешь, я не понял твоего намека? Отлично понял. Нас, нажравшихся людей — вон я даже свой стакан пива не допил! — и сравнила с этим несчастным, который в угоду нам лает по-собачьи, топчет в грязь свое человеческое достоинство, пока мы ку-ша-ем! Он и поет-то так скверно оттого, что ему, может быть, от голода горло сводит.

— Но знаешь, Андрюша, он, по моему, все-таки довольно полный. То есть я хотела сказать — не очень истощенный.

— Какое грубое замечание! Господи, какая у тебя грубая душа! Разве в том дело, что человек на вид, как будто и плотный. Питается он нерегулярно и, уж конечно, не жареные легюмы[1] ест, да-с, а какие-нибудь объедки, ну вот и пухнет. Наверное, и сердце — больное от постоянных унижений. Господи! А что я могу сделать? Если бы я даже отвалил ему, ну скажем, два, даже три франка, так ведь я бы этим не спас его ни от голода, ни от позора. Я бы только наиподлейшим образом успокоил в себе угрызения совести, так сказать, позаботился бы о собственном душевном комфорте. Господи! Низость какая! Как подумаешь...

— Да ты успокойся, Андрюша, вон, даже губы дрожат...

---

[1] Овощи (от *фр.* légumes).

— Ах, оставьте меня с вашими замечаниями! Сидим, как Нероны на пиршестве, а перед глазами тигры христиан терзают. Да, да, конечно, это то же самое, в глубине то, в сущности, то... именно, как Нероны. А ты хочешь, чтобы еще и губы не дрожали... Уйдем лучше. Я совсем расстроился. Мне нехорошо.

Пробираясь к выходу, он вдруг круто повернулся и, схватив за руку кудахтавшего старика, крепко, с тоской и мукой, пожал эту руку и вышел.

Старик, которого это пожатие сбило с темпа, скорчил рожу, скосил к носу глаза и, повернувшись, залаял вслед. Публика визжала от удовольствия.

Отставшая от мужа Ольга Ивановна порылась в своем рваном кошелечке, нашла франк и пятьдесят сантимов, взяла пятьдесят сантимов, подумала, положила назад, взяла франк, еще подумала, схватила обе монеты и, смущенно прошептав «пардон», сунула их под тарелку около старика.

* * *

Когда ресторан опустел, старик отпустил своего товарища, плотно поужинал, поболтал с хозяйкой и пошел в кафе, где его ждала стриженная «la petite» с рыже-крашеными щеками и пестрым платочком на шее. «La petite» встретила друга восторженно и раболепно, лепетала про «ton talent». Старик пил кофе, подмигивал дамам и, заглушая музыку, громко кудахтал и лаял, уже не для заработка, а исключительно из честолюбия, чтобы присутствующие поняли, что среди них находится не заурядный обыватель, а тонкий артист.

II

Супруги Угаровы встретили Вязикова в метро и очень ему обрадовались. Столько ведь было пережито вместе! И голодали, и холодали, и вещи теряли, и о визе хлопотали, и какой гадости только не было, пока добрались в трюм до Константинополя.

Там расстались. Вязиков застрял надолго, а Угаровы направились в Париж.

В Париже устроились кое-как и «шатко и валко». Он работал на заводе, она брала работу из магазина белья. Была у

них заветная тысяча франков. Но ее не трогали. Берегли на случай болезни или какой иной беды. А пока что работали.

Вязиков отнесся к Угаровым как-то покровительственно и свысока, несмотря на то что был грязен и ободран до последней степени.

Спросил вскользь — как они поживают, а когда те начали честно рассказывать, он даже не дослушал. Покачал головою и усмехнулся.

— Недолог и ненов рассказ, — как сказал один поэт. — Этак вы двадцать лет просидите, если, конечно, раньше не умрете от такой жизни. Удивительно, как у вас у всех мало инициативы! Ткнула вас судьба носом в какую-то ерунду, вы и сидите и шелохнуться боитесь, точно гуси, которым через клюв мелом черту провели.

— А что же делать-то? — робко спросил Угаров.

— Что делать! Вот, посмотрите я. Я всего четыре дня в Париже, а у меня в портфеле уже четырнадцать предложений. Нужно только детально ознакомиться с ними и выбрать. И заметьте, это все без оборотного капитала, а будь у меня хоть несколько сот франков...

— А у нас есть тысяча, — сказала Угарова, — да мы трогать боимся.

Вязиков оживился.

— Да? У вас тысяча? Послушайте, да ведь это же безумие держать деньги под замком, когда вы можете, начав с этими пустяками, через год быть обеспеченными людьми. Постойте, я к вам завтра же зайду, и мы потолкуем. Ей-богу, мне вас жалко! Вы когда дома-то бываете — наверное, только к обеду? Ну вот, я к обеду и зайду.

— Он хороший, — говорил в тот же вечер Угаров своей жене. — Он сказал: «мне вас жалко».

На другой день Вязиков пришел прямо к обеду. Угарова поделилась с ним супом и макаронами, которые сама варила на спиртовке. Он поел и тотчас же ушел, обещав зайти завтра, чтобы окончательно столковаться.

— Видно, что хороший человек, — сказал про него Угаров.

— И дельный, — прибавила жена.

Хороший и дельный стал ходить каждый день обедать. Иногда сидел весь вечер.

— Предложить бы ему ночевать у нас. Человек деликатный, сам сказать стесняется.

— И то правда. Ходит-то ведь он сюда из-за нас же. Проекты-то для нас вырабатывает.

Вязиков ночевать, слава Богу, согласился.

— А где же вы храните вашу знаменитую тысячу? — спросил он как-то вскользь.

— Да здесь, в комоде. Мы и не запираем никогда. Прямо в коробке из-под папирос лежит. По-моему, запирать все на замок как-то оскорбляет прислугу. Точно уже все кругом воры! Отельчик наш хотя и скверный, но прислуга честная, никогда ничего не пропадало.

На другой день, когда супруги уходили на работу, Вязиков сказал, что останется дома — «кое-что разработать».

Вернувшись, его не застали, и к обеду он не пришел.

Забеспокоились:

— Не случилось ли чего?

Не пришел и на другой день.

Доставая мужу носовой платок, Угарова удивилась, что в комоде все перерыто. Стала прибирать, заглянула в папиросную коробочку — пятисот франков не хватало.

— Неужели ты можешь думать, что это он? — испугался Угаров.

— А если даже и он. Значит, временно понадобилось. Очевидно, завтра все и объяснится.

— Ну, конечно! Если бы это какой-нибудь вор украл, он бы все взял. Ясно, что это Вязиков, и что нужно было именно пятьсот на какой-нибудь спешный задаток.

— Для нас же человек старается.

Вязиков не приходил.

— А знаешь что? — додумался Угаров. — Пожалуй, что это он и не для дела взял, а по нужде... Понимаешь? Чтобы при первой же возможности так же незаметно вернуть, как незаметно взял.

— Ну, конечно! Не стал прямо у нас просить. Он из деликатности так и сделал. А теперь, пока не раздобудет этих денег, из деликатности и приходить не будет.

— Господи, Господи! Может быть, без обеда сидит.

Долго горевали. Наконец решили, — если придет, делать вид, что ничего не замечали и всячески давать ему возможность подсунуть деньги обратно.

— Человек ведь деликатный. Человек стесняется.

Уходя, оставили прислуге ключ, чтобы непременно дала его Вязикову и не мешала ему сидеть в комнате и заниматься сколько захочет.

— Только вряд ли он днем придет. Он ведь знает, что нас днем не бывает.

— Ах, только бы не догадался, что мы заметили. При его деликатности это было бы ужасно!

Вернувшись вечером, с радостью узнали, что Вязиков приходил.

— Ага! я говорил!

— Нет, это я говорила!

Вязиков приходил, но пробыл всего несколько минут, причем двери запер.

Супруги радостно перемигнулись.

— Ага! Ну, кто был прав. Знаю я людей или нет?

— Ну, теперь посмотрим короб... да где же она?

Коробки в комоде не было.

Пошарили еще. Шарили долго.

Нашли ее уже утром, под комодом, пустую.

Вязиков больше не приходил.

Угаровы никогда между собой не говорили о нем. Только раз Угаров задумчиво сказал:

— А все-таки подло с нашей стороны, что мы его подозреваем.

Но тут же сконфузился и смолк.

Григорий Петрович

Его так зовут: Григорий Петрович.

Был он когда-то капитаном русской армии. Теперь он беженец.

В Париж попал не совсем уж бедняком. У него было две тысячи франков.

Но как человек практический, а главное, насмотревшийся на русское беженское горе, решил деньги эти поберечь про черный день (точно чернее нашей жизни теперешней что-нибудь может быть?) и стал искать поскорее заработков.

Пущены были в ход самые высокие связи — русский трубочист и бывший полицмейстер. Судьба улыбнулась. Место нашли в русском гастрономическом магазине. Быть приказчиком.

Григорий Петрович раздул ноздри и сказал хозяину:

— Постараюсь, как честный человек, честно выполнить принимаемую на себя обязанность.

Хозяин посмотрел на него внимательно и задумался.

Григорий Петрович надел белый передник, зачесал волосы ершом и принялся изучать товар.

Целый день тыкался носом по кадкам и ящикам и повторял:

— В этой кадке огурцы, в этой кадке чернослив, в этом мешке репа. В той коробке абрикос, в той коробке мармелад, на тарелке грузди. Справа в ящике халва, слева в кадочке икра, в центре макароны…

Хозяин долго слушал, наконец робко спросил:

— Для чего, собственно говоря, вы это делаете?

Григорий Петрович очень удивился:

— То есть как это так «для чего»? Должен же я знать, где что находится.

— Да ведь товар-то весь на виду — взгляните, всё и увидите.

Григорий Петрович еще больше удивился.

— А ведь вы, пожалуй, правы. И ваша система значительно упрощает вопрос. Действительно, если посмотреть, так и увидишь. Весьма все это любопытно.

Через недельку обжился, пригляделся и пошел торговать.

— Вам, сударыня, чего прикажете? Творогу? Немножко, по правде говоря, подкис, однако если не прихотливы, то есть сможете. Конечно, радости в нем большой нет. Лучше бы вам купить в другом месте свеженького.

— Да разве это можно? — удивляется покупательница. — Мне ваша хозяйка говорила, что вы специально на какой-то ферме творог заказываете.

— И ничего подобного.

— Она говорила, что кроме вашего магазина во всем Париже творогу не достать. Я вот с того конца света к вам ехала. Три пересадки.

— И совершенно напрасно. Пошли бы на центральный рынок, там сколько угодно этого добра-то. Хоть задавись.

— Да быть не может!

— Ну как так не может; мы то где берем? Я сам через день на рынок езжу и покупаю. Я лгать не стану. Я русский офицер, а не мошенник.

Дама уступила с трудом и обещала, что сама поедет на рынок.

— Вот так-то лучше будет, — напутствовал ее Григорий Петрович.

— А вам, сударь, чего угодно? — оттирая плечом хозяина, двинулся он к новому покупателю.

— Мне — десяточек огурцов.

— Десяток? Не многовато ли будет десяток-то? Вам, виноват, на сколько же человек?

— На восемь.

— Так вам четыре огурца надо, а не десяток. Огурец ведь здесь не русский, здесь крупный огурец; его пополам разрезать, на двоих вполне хватит. А уж если пять возьмете, так уж это от силы. Я русский офицер, я врать не могу. А вам, сударыня, чего?

— Мне кулебяки на двадцать пять франков.

— Позвольте — да вам на сколько же человек?

— На десять.

— Позвольте — кроме кулебяки ведь еще что-нибудь подадите?

— Ну, разумеется. Суп будет, курица.

— Да вам если и без курицы, так и то на двенадцать франков за глаза хватит, а тут еще и курица. Больше чем на десять и думать нечего.

— А мне ваша хозяйка говорила, что надо на двадцать пять.

— А вы ее больше слушайте, она вам еще и не того наскажет. Я русский офицер, я врать не могу.

* * *

Когда Григория Петровича выгнали (а произошло это приблизительно через два дня после начала его торговли), пошел он наниматься на автомобильный завод.

Раздул ноздри и сказал:

— Я человек честный, скажу прямо — делать ничего не умею и особых способностей в себе не чувствую.

На заводе удивились, однако на службу приняли и поставили к станку обтачивать гайку. Точил Григорий Петрович четыре дня, обточил себе начисто три пальца, на пятый день пригласили его в кассу.

— Можете получить заработанные деньги.

Григорий Петрович ужасно обрадовался.

— Уже? Знаете, у вас дело чудесно поставлено!

— Да, у нас это все очень строго.

— Подумать только — на других заводах не раньше, как через пятнадцать дней, а тут вдруг на пятый.

— У нас тоже ведь не всем так платят, — объяснила кассирша.

— Не всем?

Григорий Петрович даже покраснел от удовольствия.

— Вот уж никак не думал... Я даже считал, что мало способен... Так значит не всем?

— Да, не всем, — любезно ответила кассирша. — Это только тем, кого выгоняют...

* * *

В поисках занятия и службы познакомился Григорий Петрович с двумя неграми. Негры жили в Париже уже давно и оба происходили с острова Мартиники.

Узнав, что у Григория Петровича есть две тысячи, негры страшно взволновались и тут же придумали издавать журнал специально для Мартиники. Они знают потребности этого острова. В дело внесут свой труд, Григорий Петрович деньги — барыши поровну.

Григорий Петрович согласился с восторгом, только очень мучился, что негры на него трудиться будут. Во сне видел хижину дяди Тома. На другой день при свидании стал убеждать негров, чтобы они взяли каждый по две части прибылей, а ему дали одну. Но негры ничего не поняли и даже стали смотреть подозрительно. Однако за дело принялись ревностно. Решили так: каждый напишет по статье. Один об оливковом масле — это теперь, сказал он, в большой моде. Другой — про гуттаперчевые мешки. Потом картинки. Потом оба переведут какой-нибудь иностранный рассказ и

попросят одного знакомого испанского генерала написать стихи, которые они тоже переведут. Все это составит чудесный первый номер, который весь целиком будет послан на Мартинику и раскуплен там, конечно, в первый же день по баснословной цене. Потом, поделив барыши, можно выпустить второй номер.

Дело только задержал немножко испанский генерал, который долго кобенился и уверял, что стихов отродясь не писал; наконец уломали. Негры перевели.

— Это что же, — робко спросил Григорий Петрович, — верно, что-нибудь патриотическое, боевое, военное? Я ведь в стихах пасс.

— Нет, — говорят, — наоборот, про ландыши.

Напечатали пробный номер. На это ушли все деньги Григория Петровича; негры уверяли, что еще своих прикинули. Потом живо уехали в Марсель грузить журнал.

Григорий Петрович никогда больше не встречался с ними.

Мучился долго — не прогорали ли негры на этом деле, и чувствовал себя мошенником.

Доктор Коробка

— Доктор Коробка?

— Это я-с. Войдите, пожалуйста. Это кто?

— Это мой сын. Я, собственно говоря...

— Простите, я вас перебью. Садитесь. Пусть и сын сядет. Прежде всего кто вам меня рекомендовал?

— Консьержка рекомендовала. Здесь, говорит, доктор живет, только вы, говорит, к нему не ходите. Ну, а где нам по дождю болтаться из-за пустяков, потому что...

— Простите, я вас перебью. Консьержка дура. Занозила палец в двенадцать часов ночи. Я ей промыл палец, да только не тот. Она бы еще в 2 часа пришла. Да и не в том дело. Я, собственно говоря, практикой уже лет двадцать не занимаюсь. Я помещик и страстный охотник. Какие у меня собаки были! Евстигнеев говорил: «продайте». Я говорю: «дуд-

ки-с». До женитьбы, действительно, практиковал. По части акушерства. Дрянное дело. Это по две ночи не спи, давай мужу валерьянки, теще брому и подбодряй всех веселыми анекдотами, а дура орет, и черт ее знает, что еще там у нее родится. Дудки, слуга покорный. Женился и сел помещиком. Ну, а теперь придется тряхнуть стариной. Положение беженское, да и хочется быть полезным. Итак, сударыня, чем вы страдаете?

— Это... вот... у сына горло болит.

— Ах, у сына. Ну ладно — у сына, так у сына. Сколько вам лет, молодой человек?

— Двенадцать.

— Двенадцать? Стало быть, так и запишем... две... над... цать лет. Бо... лит гор.. ло. Тэк-с. И что же, сильно болит?

— Немножко глотать больно.

— Извините, я вас перебью. От какой болезни умерли ваши родители?

— Да ведь это мой сын, доктор, я жива.

— А отец?

— На войне убит.

— Извините, я вас перебью. Не страдает ли чем-нибудь бабушка пациента,- как-то: запоем, хирагрой, наследственной язвой желудка? На что ваша бабушка жалуется? Пациент, я вас спрашиваю!

— Ба... бабушка все жалуется, что денег нет.

— Извините, я вас перебью. Нужно систематически. Какими болезнями страдали вы в детстве? Не наблюдалось ли запоя, хирагры, наследственной язвы желудка? Вы что на меня смотрите? Это у меня всегда так борода прямо из-под глаз росла. Итак, значит, родители и даже предки буквально ничем не страдают. Так и запишем. Двенадцать лет, болит горло, родители и предки здоровы. Не было ли у вас в семье случая чахотки?

— Нет, Бог миловал.

— Вспомните хорошенько.

— Мамочка, у тетиивариной гувернантки чахотка была.

— Ага! Вот видите! Наследственность-то не того. Так и запишем. Туберкулез — единичный случай. Детей у вас не было? Я спрашиваю, детей у вас не было?

— Это вы ко мне обращаетесь?

— Я спрашиваю у пациента. Впрочем, виноват... В таком случае — когда у вас... виноват... да вы на что жалуетесь-то? Ах да, у меня записано: «двенадцать лет, болит горло». Чего же вы так запустили-то? Двенадцать лет!

— Да нет, доктор, у него только вчера к вечеру заболело.

— Гм... странно... Почему же запись говорит другое?.. Ваш дед, прадед на горло не жаловались? Нет? Не слыхали? Не помните? Ну-с, теперь разрешите взглянуть. Скажите «а». Еще а-а-а! Тэк-с. Здорово коньяк хлещете, молодой человек, вот что. Нельзя так. Все горло себе ободрали.

— Позвольте, доктор, да ведь он...

— Извините, я перебью. Так нельзя. Конечно — отчего же не выпить! Я это вполне понимаю. Ну выпейте рюмку-другую. Словом — рюмками пейте, а не дуйте стаканами. Какое же горло может выдержать! Это крокодилова кожа не выдержит, не то что слизистая оболочка.

— Да что вы, доктор, опомнитесь! Да какой там коньяк! Я ему даже слабого вина никогда не даю. Ведь он еще ребенок! Я не понимаю.

— Извините, я перебью. Я, конечно, не спорю, может быть, он и не пьет, хотя... я в диагнозе редко ошибаюсь. В таком случае он пьет слишком горячие напитки. Это абсолютно недопустимо. Ах, господа, ну как это так не понимать, какое это имеет значение! Почему, скажите, животное, собака понимает, а человек понять не может? Да собака вам ни за какие деньги горячего есть не станет. Вот положите перед ней на стол десять тысяч — не станет. А человек даром всю глотку сожжет, а потом к докторам лезет — лечи его, подлеца, идиота.

— Позвольте, доктор...

— Извините, я перебью. Какая температура была у больного вчера?

— Да вчера у него совсем никакой температуры не было. Сегодня мы тоже ме...

— Извините, я перебью. Вы рассказываете невероятные вещи. Все на свете имеет свою температуру; не только люди, но и предметы.

— Да я говорю, что жару не было.

— А я вас перебиваю, что если даже у вашего сына было пятьдесят градусов ниже нуля, так и то это называется тем-пе-ра-ту-ра, а не собачий хвост. Удивительные люди! Идут

к врачу — температуры не знают, болезни своей не понимают, собственных родственников не помнят и еще спорят, слова сказать не дадут. И вот, лечи их тут! «Консьержка к вам послала»! Да она вас к черту пошлет, так вы к черту пойдете? Куда же вы? Эй! Полощите борной кислотой эту вашу ерунду. Да не надо мне ваших денег, я с русских не беру, а с болванов в особенности. И не пойте на морозе! Эй! вы там! Не свалитесь с лестницы! Куда вы лупите-то? Я ведь вас не бью!

— Итак запишем: второй пациент... пациент номер второй. Необъяснимая болезнь гортани... Эге! Практика-то развивается. Если так пойдет...

Разговор

— Ничего, милый Иван Петрович. Все понемногу устроится. Главное, не теряйте вашей bonne humeur[1]. Ну, раз жизнь в Берлине стала немыслима, ясное дело, что вы должны переехать в Париж.

— Вы думаете, что так? — уныло и недоверчиво протянул Иван Петрович.

— Подождите, найдем вам какое-нибудь meublé[2]...

— А в каком бецирке[3] дешевле?

— Что?

— Я спрашиваю, в каком бецирке...

— Господи, да вы совсем по-русски говорить разучились. Ну, кто же говорит «в бецирке»?!

— А как же по-русски?

— По-русски это называется арондисман[4].

— Вы думаете, что так?

— Фрр! «Думаю»! Не думаю, а знаю. Ну, вы не сердитесь, если у меня такой тон bilieux[5]. Я сегодня вообще с левой ноги проснулся.

---

[1] Хорошее настроение (*фр.*).

[2] Меблированные комнаты (*фр.*).

[3] Единица административного деления в Германии.

[4] Округ в Париже (от *фр.* arrondissment).

[5] Раздражительный (*фр.*).

— Как?

— Да вот так. А кроме того, меня уже давно раздражает, когда кувыркают русскую речь.

— Николай Сергеич, а Николай Сергеевич! А ведь, по-моему, нельзя сказать «кувыркают». Уж вы не сердитесь, а, ей-богу, так. Ну, виноват, не буду, не буду.

— Много вы понимаете!

— А знаете, вы шикарно устроились.

— Да, недурно. Холодновато — здесь ведь отопления нет, зато вид чудесный. Тут, конечно, двор, а вот, если вы так до половины в окно высунетесь (только, конечно, держаться надо) и перевернетесь вот так, почти на спину, понимаете? — так вы сможете Эйфелеву башню увидеть. Большое удобство!

— А вы не мерзнете?

— Чудак! Если на улице пять градусов, так ведь у меня уж во всяком случае не меньше. И потом у меня в комнате ветра нет.

— Н-да, это, как говорится, dazu.

— Что?

— Dazu kein Wind. Ветра нет dazu.

— Ничего не понимаю! Вы какой-то странный.

— Э, чего там! Как говорится, «даровому коню на роток не накинешь платок».

— Как?

— Ничего, это я так...

— Ну-с, найдем вам meublé! Уж я постараюсь. Не успокоюсь, пока не увижу вас сидеть в уютном meublé. Ничего, все понемногу устраиваются. Водоватин — помните, этот генерал от инфантерии — плетет шапочки из крашеной соломы. И очень, очень мило. Профессор химии Крылов — шофером. Барон Зельф оказался соло-цыган. Чудесно! Адмирал Кельт делает маникюр. Из Константинополя получил письмо — там тоже наши понемножку устраиваются. Петя с Сонечкой открыли притончик...

— Ну, дай им Бог...

— Вы чего ищете? Бросайте пепел прямо на пол. У них тут сандриешки не полагается. Ах, кстати, хотел у вас спросить, так сказать, на свежее ухо: как правильнее говорить: «дайте вы мне покой» или «дайте вы мне покоя», потому что кого-чего — родительный падеж. А?

— По-моему, уж ежели по-русски, так не покой, а спокой. Дайте спокоя. Ведь слово то «спокойно», а не «покойно». Ведь вы скажете: «он преспокойно взбесился»; а не «препокойно взбесился».

— По-моему, можно и «препокойно». «Он препокойно бросился с лестницы»...

— Сбросился, а не бросился.

— Тогда, уж если хотите — выбросился.

— Выпросился?

— Выспросился...

— Высбросился...

— Подождите! Это надо на свежее ухо. Я очень педантик насчет русского языка. Ведь это единственное, что у нас осталось. Сокровище наше...

— Скажу вам откровенно, — мне теперь уже трудно определить, какое выражение эхт, какое не эхт.

— Это что же?

— Не эхт... не эхт руссиш. Не эхт-русское.

— Не этрусское?

— Как?

— Так можно прямо с ума сойти. Ну, на что вам этруски дались?

— Ничего не понимаю! Впрочем, есть такие русские слова, которые, чувствую, безвозвратно забылись. Деверь, мерин...

— Постойте! Деверь — это, кажется, брат жены, а брат мужа это будет уже свояк... А еще есть шурин...

— А шурин это кто кому как?

— Вот шурин — это, кажется, и есть брат жены. А деверь тогда значит брат двоюродной жены...

— Да такой и не бывает...

— Постойте, не сбивайте. Потому что есть свекровь и есть сноха, это, значит, жена снохача, и есть золовка, и есть невестка, золовкина сестра, что ли, а брат снохача — золовкин деверь...

— А мерин — это кто кому как?

— Ничего не помню. Придется в Ларуссе посмотреть. Беда! А знаете, зашел ко мне недавно солдатик, наш русский солдатик, лудильщиком он здесь. Адреса спрашивал. Я его послал к Фрикам, объяснил, как пройти, а он говорит: «лад-

но, я до собору доеду, а оттентелева рукой подать». Понимаете, — «оттентелева»! Да вы подумайте только! В Париже живет человек, который говорит «оттентелева». Как сказал, верите ли, словно березовым духом на меня пахну́ло... И все увидел. Забор и рубаха на ней распялена, сохнет, красная, кумачовая, с белыми ластовицами, телега стоит, колесо густо дегтем намазано и солома в деготь влипла... куры под телегой носами долбят... сбруйка веревочная на лошади-то... ведь нигде в мире такой нет... Оправят сбруйку эту, причмокнут, да через леса дремучие долго-долго трюх-трюх, а там какой-нибудь Машкин поворот, а «оттентелева уж рукой подать, верстов сорок, не больше»... Да... так и скажут «верстов сорок, ежели длиной оттентелева-то»... Господи!..

— Да вы никак плачете?

— Я-то? Ничего подобного... Уж во всяком случае, не от этого... А вот вы, вы чего такой?

— Нет, я тоже ничего. Я не от этого. Я вообще нервный. Их бин невроз...

Гедда Габлер

На дверях карточка:

«MADAME ELISE D'IVANOFF FANTAISIES».

— Что значит «fantaisies?»

Позвонила еще раз.

За дверью долго шаркали туфли; потом притихли, и кто-то замер, и слышно было, будто дышит.

Жутко стало. Вспомнилась сцена «Преступления и наказания». И вдруг дверь открылась.

— A! Entrez, entrez.

— Madame Elise?

— Да, собственно, зовут меня Ольга. Но мне больше нравится Elise. Это звучит, а Ольга не звучит. Я обожаю звуки. Elise d'Ivanoff.

Она гордо подняла голову, и тут я разглядела ее.

Большая, толстая, в туфлях на босу ногу, в удивительной меховой кофточке, такой драной и обтертой, что она казалась в ней зверем, только что ушедшим от погони, и которому собаки успели задать здоровую всклычку.

Волосы у мадам д-Ивановой были распущены нечесаными прядками, а на затылке торчала железная шпилька.

— Меня направила к вам Анна Петровна, — приступила я к делу. — Мне нужно...

— Подождите, — перебила она. — Я вам сначала покажу портрет моей дочери. Где же она? Как раз перед вашим приходом я перед ним декламировала «Ночь» Рубинштейна. Ей всего восемь лет. Но какой талант! Какой потрясающий талант! Танцует, как Павлова, и пишет стихи, как Владимир Соловьев. Я ее послала за нитками. Скажите, вас не преследуют пятна?

— Пятна?

— Ну да, пятна.

— Н-не знаю. Н-не зам-мечала...

Я быстро метнула глазами на дверь. Успею ли я прыгнуть к двери, прежде чем д-Иванова прыгнет на меня?

— А меня преследуют пятна. Они не дают мне покоя. Во мне душа Веласкеза. Схватить палитру, кисть, и мешать, и мешать...

— Вы, значит, художница.

— Краски преследуют меня. О, если бы мне кисть!

Она закинула голову, прищурила глаза и замерла.

Я решила воспользоваться ее паузой.

— Вот я принесла вам одну переделку. Вот видите, у этого платья...

— Подождите минутку. Я бы вас всю закутала в бирюзовый шелк. А где-нибудь спереди бросила бы яркое страусовое пятно, чтобы оно пело. Понимаете?

— Ну, конечно, понимаю... чего проще.

— Спину расшила бы цветными царственными шелками. Где у меня шелка?

Она порывисто повернулась. От поворота этого свалила с дивана сверток; он покатился, развернулся, оказался куском колбасы и остановился посреди комнаты. Д-Иванова ринулась к столику у окна.

— Где же мои шелка?

На столике груда мятых газет. Из-под них торчит грязная ложка и войлочная туфля.

— Здесь где-то...

Рука уверенно роет в газетах.

— Вот! Ах, нет... Что это? Селедка. Откуда здесь селедка?

Я не знала, откуда селедка, и виновато молчала.

Кто-то позвонил. Д-Иванова притихла и приложила палец к губам. Опять звонок. Еще и еще. Потом стук в дверь — и все стихло.

Д-Иванова на цыпочках подошла к двери и прижалась глазом к скважине.

— Ушла. Вот дурища! Понимаете, притащила коричневую бумазею и хочет, чтобы я шила ей капот. Вы вдумайтесь только! Вы вдумайтесь только... Вы вслушайтесь в звуки этого ужаса; бумазея, коричневый капот... И ей вдобавок самой шестьдесят лет. Ни за что не стану шить. А скажите, вы ведь писательница?

— Да, немножко.

— Значит, пишете дни и ночи?

— Нет, зачем же так мрачно. Пишу изредка.

— А если образы теснятся и не дают вам покоя?

— Да нет, они ничего... они дают мне покой.

— Не понимаю.

Я снова попыталась воспользоваться паузой.

— Вот я принесла с собой старое платье. Вот, вместо этих рукавов я хо...

— Подождите, — перебила она. — А когда вы творите, когда вы, забыв весь мир, гонитесь за убегающими от вас призраками и рука ваша судорожно ищет и хватает перо, скажите, не испытываете ли вы в этот момент высшего экстаза?

— Гм... не знаю. Я вообще не хватаю судорожно. Я, кстати, хотела у вас спросить, сколько надо крепдешина на широкие рукава?

— Ах, вы все об этом. Это прямо удивительно! У меня бывает довольно много дам, и все они только и говорят что о переделках да о крепдешинах. Недавно у меня была одна известная львица. Я развивала перед ней теорию звуков. Звуки преследуют меня. Звуки не дают мне покоя. Верхнее до дает мне молитвенный экстаз, а си-бемоль рождает воспоминания детства. Ми-диез — наше пензенское имение, до того как

его отдали в аренду. Я говорила много, в экстазе, лицо мое было бледно, и только глаза дико горели. А она... Она мне ответила: «когда вы заткнетесь, снимите с меня мерку». И это певица! И это жрица искусства! Если она пришлет мне билет на свой концерт, я верну ей его обратно. Впрочем, нет, не верну, а просто не пойду. Если даже пойду, то все время буду чуть-чуть улыбаться. Она поймет, что это значит!.. О, она хорошо поймет эту жуткую улыбку!.. Она будет петь, сверкая алмазами пошлости, а я на втором балконе, скромная и гордая, буду чуть-чуть улыбаться. И пусть история решит, кто из нас истинная героиня. Я верю только истории. Она неподкупна.

— Мне, к сожалению, пора идти, — вздохнула я. — Вот я вам оставляю мое старое платье и очень прошу отпороть...

Она презрительно улыбнулась.

— Да, да, я так и знала, что этим кончится. И вы, вы светлая, вы яркая, вы тоже. Но скажите, там, в кругу ваших друзей, когда горячие споры об искусстве до утра соединяют вас пылающим кольцом вокруг скромной лампы, когда реющие над вами тени Некрасова и Надсона с любовью склоняются, как бы прислушиваясь к вашим словам, а тень великого Толстого...

Я не знаю, как это вышло. Я сначала не поняла, кто это вопит. Теперь я, конечно, отлично понимаю, что завопила именно я. Но тогда мне казалось, что чужой голос, тонкий и хриплый, который я слушала, с ужасом и отвращением завопил:

— Последний раз говорю: отпорите рукава и вставьте широкие из крепдешина.

И тут случилось чудо. Мадам д-Иванова сразу погасла, спокойно и деловито развернула мой сверток, повертела в воздухе явившимся откуда-то сантиметром и сказала:

— Я могу сама прикупить что нужно. Вы не беспокойтесь, а в конце недели зайдите.

Проводила она меня совсем просто, даже сказала в передней — «осторожней, здесь сундук».

Я все поняла. Она меня презирала. И пока я, сверкая алмазами пошлости, спускалась с лестницы, она, стоя на площадке пятого этажа, скромная, но гордая, чуть-чуть улыбалась своей жуткой улыбкой.

А теперь еще история будет судить нас!

Тяжело.

Сладкие воспоминания

Рассказ нянюшки

Не наше здесь Рождество. Басурманское. На наше даже и не похоже.

У нас-то, бывало, морозище загнет — дышать трудно; того гляди — нос отвалится. Снегу наметет — свету Божьего не видно. С трех часов темно. Господа ругаются, зачем керосину много жжем — а не в жмурки же играть. Эх, хорошо было!

Здесь вон барышни в чулочках бегают, хихикают. Нет, ты вот пойди там похихикай, как снегу выше пояса, да ворона на лету мерзнет. Вот где похихикай.

Смотрю я на здешних детей, так ажно жалко! Не понимают они нашей русской елочки. Хороша была! Особливо ежели в деревне.

Помню, жила я у помещиков, у Еремеевых. Барин там особенный был. Образованный, сердитый. И любил, чтобы непременно самому к елке картонажи клеить. Бывало, еще месяца за полтора с барыней ссориться начинает. Та говорит: выпишем из Москвы — и хлопот никаких. И — и ни за что! И слушать не хочет. Накупит золотых бумажек, проволоки, все барынины картонки раздерет, запрется в кабинете, и давай клей варить. Вонища от этого клея самая гнилая. У барыни мигрень, у сестрицы евоной под сердце подкатывает. Кота и того мутило. А он знай варит да варит. Да так без малого неделю. Злющий делается, что пес на цепи. Ни тебе вовремя не поесть, ни спать не ляжет. Выскочит, облает кого ни попадись, и — опять к себе клеить. С лица весь черный, бородища в клею, руки в золоте. И главное, требовал, чтобы дети ничего не знали: хотел, чтобы сюрприз был. Ну, а дети, конечно, помнят, что на Рождество елка бывает, ну и, конечно, спрашивают. Скажешь «нет» — ревут. Скажешь — «да» — барин выскочит, и тогда уж прямо святых выноси.

А раз пошел барин в спальню из бороды фольгу выгребать, а я-то и недосмотрела, как дети — шмыг в кабинет, да все и увидели. Слышу визг, крики.

— Негодяи! — кричит. — Запорю всех на конюшне!

Хорошо, что его сестрица, в обморок падаючи, лампу разбила — так он на нее перекинулся.

Барыня его потом успокоила.

— Дети, говорит, может и не поняли, к чему это. Я им, говорит, так объясняю, что ты с ума сошел и бумажки стрижешь.

Ну, миновала беда.

А потом начали из школ старшие детки съезжаться. То-то радости! Первым делом, значит, смотреть, у кого какие отметки. Ну, конечно, какие же у мальчишек могут быть отметки? Известно — единицы да нули. Ну, конечно, барыня на три дня в мигренях; шум, крик, сам разбушуется.

— Свиней пасти будете! К сапожнику отдам...

Известно отцовское сердце, детей своих жалеет — кого за волосы, кому подзатыльник.

А старшая барышня с курсов приехала и — что такое? Смотрим, брови намазаны. Ну — и показал он ей эти брови!

— Ты, говорит, сегодня брови намазала, а завтра пойдешь да и дом подожжешь.

Барышня в истерике, все ревут, у барина у самого в носу жила лопнула.

Ну, значит, повеселились, а там смотришь — и Рождество подошло.

Послали кучера елочку срубить.

Ну кучер, конечно, напился да вместо елки и привороти осину. Спрятал в амбар, никто и не видел.

Только скотница говорит в людской: «странную, мол, елку господа в этом году задумали».

— А что? — спрашивают.

— А, говорит, осину.

И такое тут пошло! Барин-то не разобрал толком, кто да что, взял да садовника и выгнал. А садовник пошел кучера бить. Тот хоть и дюже пьян был, однако сустав ему вывернул. А повар, Иван Егорыч был, смотрел-смотрел, да взял да заливное, все как есть, в помойное ведро вывалил. Все равно, говорит, последние времена наступили.

Н-да, весело у нас на Рождестве бывало.

А начнут гости съезжаться — тут-то веселье! Пригласит шесть человек, а напрет — одиннадцать. Оно, конечно, не беда, на всех хватит, только барин у нас любил, чтобы все в аккура-

те было. Он, бывало, каждому подарочек склеит, какой-нибудь такой обидный. Если, скажем, человек пьющий, так ему рюмочку, а на ней надпись: «пятнадцатая». Ну, тому и совестно.

Детям — либо розгу, либо какую другую неприятность. Ревут, конечно, ну да нельзя же без этого.

Барыне банку горчицы золотом обклеил и надписал: «от преждевременных морщин». А сестрице своей лист мушиного клею «для ловли женихов».

Ну, сестрица, конечно, в обморок, барыня в мигрень.

Ну, в общем-то, ничего, весело. Гостям тоже всякие штучки. Ну те, конечно, виду не показывают. У иного всю рожу на сторону сведет, а он ничего, ногой шаркает, веселится.

Ну и нам, прислугам, тоже подарки раздавали. Иной раз и ничего себе, хорошие, а все-таки осудить приятно. Как, бывало, свободная минутка выберется, так и бежим все в людскую, либо в девичью — господ ругать. Все больше материю на платье дарили. Ну, так вот, материю и разбираем. И жиденькая, мол, и цвет не цвет, и узкая, и мало, и так, бывало, себя расстроим, что аж в ушах зазвенит.

— Скареды!

— Сквалыги!

— Работай на них, как собака, ни дня, ни ночи. Благодарности не дождешься.

Очень любили мы господ поругать.

А они, как гости разъедутся, тоже вкруг стола сядут и гостей ругают. И не так сели, и не так ели, и не так глядели. Весело! Иной раз так разговорятся, что и спать не идут.

Ну, я, как все время в комнатах, тоже какое словечко вверну. Иногда и привру маленько для приятности.

А утром, в самое Рождество, в церковь ездили. Ну, кучер, конечно, пьян, а как садовника выгнали, так и запрячь некому. Либо пастуха зови, либо с садовником мирись. Потому что он, хотя и выгнан, а все равно на кухне сидел и ужинал, и утром поел и все как следует, только что ругался все время. А до церкви все-таки семь верст, пешком не сбегаешь. Крик, шум, дети ревут. Барин с сердцов принялся елку ломать, да яблоко сверху сорвалось, по лбу его треснуло, рог набило, он и успокоился. Оттянуло, значит.

За весельем да забавой время скоро бежит. Две недельки, как один денек, а там опять старшеньких в школу везти. За

каникулы-то разъедятся, разленятся, в школу им не хочется. Помню, Мишенька нарочно себе в глаз чернила напустил, чтобы разболеться. Крик, шум, растерялись. Не знают, что прежде — пороть его аль за доктором гнать. Чуть ведь не окривел. А Федю с Васенькой в конюшне поймали — хотели лошадей порохом накормить, чтобы их разорвало и не на чем было бы в город ехать. Ведь вот какие!

Вот и кончилось Рождество, пройдут праздничкии вспомнить приятно. Засядешь в сугробах-то, да и вспоминаешь, новых поджидаешь. Хорошо!

Два

В метро передо мною дама с ребенком.

Ребенку, должно быть, год с небольшим. Он круглый, толстый, одет в мохнатую шубку, теплые гетры. Совсем катыш.

В правой руке у него замусленный сухарь, которым он не сразу попадает в рот — рука-то короткая, рукав толстый, не согнешь. Тычется сухарь, мажет по носу, по щекам, словно сам по себе, а катыш кряхтит и ловит его ртом.

Но главное дело катыша — не сухарь. Главное дело — подняться на ноги. Он сопит, кряхтит и молча борется с рукою матери, которая, не глядя, удерживает катыша на месте. Но эта-то рука и сослужила ему службу. Он уцепился за нее повыше, засопел, закряхтел и вдруг поднялся на своих толстых гетрах. Ухватился за спинку скамьи и устоял.

Сидевшая на другой стороне дама увидела около своего плеча его руку, крошечную, с ямками, с очень розовыми пальцами, с ноготками тонкими, точно слюдяными. Посмотрела, да вдруг и чмокнула.

Катыш рассвирепел. Весь задрожав от негодования, с грозным ревом поднял он по-звериному свою мягкую лапу и неизвестно, что было бы с несчастной дамой, если бы катыш не потерял равновесия. Но он закачался и шлепнулся на сиденье.

Посидел, успокоился и призадумался, глаза заморгали, нос засопел — ясно, что человек думает. Потом уставился

в одну точку, точно запечалился. Лизнул было свой сухарь. Нет, не то. Нет и от сухаря радости. Испорчено настроение, и баста. И вдруг чуть-чуть покраснел, мордочка стала виноватая и добрая. Закряхтел, уцепился, полез, встал, смотрит на даму, а сам двигает к ней руку поближе. Дама вытянула губы, поцеловала. А он засопел и другую свою руку, что с сухарем, тоже тянет.

— Господи, неужто угощать собрался?

Так и есть, тычет ей замусленный свой сухарь — лучшее свое сокровище — прямо в щеку, а лицо уже совсем виноватое, совсем доброе. И все на этом лице: понял, что обидел, пожалел и жить с этой жалостью не мог, и пошел, и все свое отдал, и счастлив.

Где-то видела я уже вот этот самый момент... Где?

* * *

В маленьком садике при скверном ресторанчике маленького и скверного Туапсе завтракали мы в тугие, голодные времена — предбеженские. Ели с грязных тарелок бараньи ошметки, хлеб черствый, кислый и пыльный.

Тощий ресторанный пес бродил между столиками, стучал хвостом по голым ребрам и «ни от какой работы не отказывался» — ел даже огрызки от соленых огурцов. Совсем, видно, пропадать приходится.

И вдруг в другом углу садика появился другой пес. Видно, только что прошмыгнул в калитку.

Остановился у столика, за которым старик пилил ножом какую-то жареную кожу, остановился и присел, не совсем присел, не до земли, а чуть-чуть поджался исключительно из унижения и чтобы подчеркнуть свое бедственное положение. И по всей позе видно было, что он сам сознает, как дело его незаконно.

Старик взглянул на него и бросил ему через голову кость.

Не успел пес лязгнуть зубами, как в один прыжок тот, другой, ресторанный и законный, был уже на нем. Пыль, визг, вихрь, шерсть, хвосты, зубы. Через секунду уже на другой стороне улицы тихое повизгивание, и уныло поджатый хвост медленно скрывается в воротах.

Победитель вернулся, полизал себе бок, разыскал незаконную кость, погрыз, задумался, опять погрыз вяло, без жизни, без темперамента. А ведь это все-таки была ко-о-о-сть. Ведь

не огуречный огрызок, а ко-о-о-ость. Да еще, поди, с мясцом, потому что старик-то, владетель ее и жертвователь, беззубый сидел и обгрызть ее, как прочие посетители, не мог.

Задумался чего-то пес. Морду отвернул, заскучал.

Неужто жалеет того, что прогнал? Чего жалеть-то? Лезут тут всякие, когда самому концы с концами не свести.

Отряхнулся, подошел к столу, минутку постоял, да и отошел. И работа, значит, на ум не идет. Лег у стены. Печальный, совсем расстроился. Вдруг фыркнул носом, вскочил и деловито, трусцой побежал через улицу.

— Смотрите, — сказал мне сосед, — никак мириться побежал.

Через минуту пес уже спокойной, совсем другой походкой вернулся в ресторан. Морда у него была слегка смущенная, но очень добрая и даже веселая. На почтительном расстоянии следовал за ним тот — нарушитель прав, злодей и преступник. Злодей уже не боялся и не приседал, но явно старался держать себя скромно. Разыскал историческую кость, и хотя она была уже совсем объеденная и заваленная, забился с нею скромно под забор, явно подчеркивая, что к клиентам соваться не будет.

Победитель рыскал без толку между столиками и так вилял хвостом, с такою силою, что даже весь на бок поворачивался. Получил раза два здорового тумака, но даже не визгнул, так был счастлив.

Вот вспомнила. И теперь знаю, что эти два — эта маленькая розовая мордочка ребенка и звериная морда голодного пса — единым для меня связаны и в памяти моей, в душе, в жизни, будут всегда рядом. Вспомнится одна — потянет за собой другую. На одном стержне они. На одной золотой нити.

Единым связаны.

Анна Степановна

— Принесла вашу блюзочку, принесла. Хотела вам предложить на желудке рюшечку, да думаю, что вы не залюбите. Думала ли я когда-нибудь, что в портнихи угожу? Жизнь-то

моя протекала совсем в других смыслах. Акушерские курсы, потом в госпитале. Н-да, немало медицины лизнула. Да ведь куда она здесь, медицина-то моя? Кому нужна? Смотришь, так профессора, и те в цыганские хоры поступили. А иголкой я всегда себя пропитаю. Вот вчера сдала платьице — пальчики оближешь. Пуговица аккурат на аппендиците, на левой почке кант и вся брюшина в сборку. Очень мило. Да смотрите — и ваша блузочка, как говорится, совсем фэнтэзи. Вырез небольшой — только верхушки легких затронуты. Купите себе шляпочку маленькую, так, чтобы как раз только серое вещество мозга закрывала. Очень модно. Сходите в галилею, там все есть, к Лафаету.

Разрешите присесть? Устала, как пес. По железе ехала... что? По щитовидной? Ой, что вы путате, по Шан, по Шан железе, а там до бульвара Капусти́н пешком. А на Рояле в автобус села, смотрю, этот... Как его... Ну, такой еще полный... да вы, впрочем, все равно не знаете. — «Здравствуйте, говорит, Анна Степановна, как поживаете». Ведь эдакий, ей-богу! Как, говорит, поживаете. Обхохочешься с ним! Вечно что-нибудь эдакое! Ну, одно можно сказать — талантливая шельма! Какие стихи шикарные пишет! Как это... вот дай Бог памяти... да «Россия, ты Россия»... нет, не так. «Родина моя Россия», нет... «Россия, родина моя»... вот так как-то очень у него складно выходит, мне так не сказать. Вообще, способный малый. Из хлебного мякиша сковырял утку и в умывальник пустил. Дует на нее, а она плывет. Ведь эдакий черт! Уж такой не пропадет. Уж если заставит женщину страдать, так стоит того... Поясок широк вышел? А тут я две пуговицы пришила, на какую сторону хотите, на ту и застегнете — хотите на печенку, хотите на селезенку — одинаково модно...

Была вчера в кинематографе — смерть люблю! Все какие-то ихние бега показывают. На груди номера нашиты, коленки голые, и бегут. А чего бегут, и сами не знают. Умора! Ей-богу, обхохочешься. Завтра опять пойду. Кавалер один флегматичку прислал, что, мол, зайдет. Очень культурный тип. Я, говорит, вашего языка боюсь, он, говорит, у вас как шило, что захочет, то и пришило. Он бывший этот... как его... бывший черт его знает кто. Очень культурный. А уж аккуратный! Все у него по правилам. Спать, говорит, нужно ровно восемь часов. Если какие часы за неделю недоспал,

все подсчитает и потом в субботу доспит. Все, значит, сразу. Но только меня этими пустяками не возьмешь. Не на таковскую напал. И не таких отшивала!

Был у нас в лазарете фершал. Тоже Иван Петровичем звали. Этого-то, кажется, Евгением зовут, ну да все равно, похоже. Так этот фершал вдруг говорит: «что это вы, Светоносова, как вяленая муха ползаете». А я ему в ответ: «вяленая, да не с тобой». Так он даже удивился. «Ну, говорит, и отбрила! Другая, говорит, три года думать будет, такого не надумает!» А мне хоть бы что — повернулась, да и пошла.

Ох, Боже мой, да я и забыла, заслушалась вас... Просила вам передать эта самая... Как ее... ну, эта, знаете, у которой муж-то... ну, как его.... у них еще в этом было... как раз против... как это называется-то, — ну вот еще где... Как оно... ну как же вы не помните — еще напротив такой полный был — жилец, что ли, али свояк... на кумовой свояченице вторым браком, что ли... Ну, как так не помните? А? Что передать-то? Да вот, дай Бог памяти... не то кто-то приехал, не то вы куда-то, или что-то написать... как-то вроде этого что-то. Не могу точно вспомнить. Ну, да вы потом разберетесь. Фамилию? Ну где же ее вспомнить-то? Так сразу ведь не вспомнишь. А вот когда не надо, так она тут как тут. Вот намедни весь день повторяла: «Анна Степановна да Анна Степановна». Привязалась ко мне, а что такое за «Анна Степановна», и сама не знаю. Уж к вечеру только догадалась, что это я свое собственное имя весь день талдычу.

Ну, до свиданья, заслушаешься вас, так и уйти не соберешься. А резервуар!

Майский жук

В сторону Нотр-Дам пейзаж был сизо-голубой. По другую сторону моста туда, к закату, — дымно-розовый.

Костя подумал:

— Хорошо розовое, чудесно голубое. Милый Костенька, выбирай любое. Можно сигануть и туда, и сюда. Жил серенько, а умер весь в розовом. Шик. А на этом мосту, меж-

ду прочим, всегда нищие. Вот бы и мне встать тут и заныть: messieurs, dames, подайте молодому инвалиду, контуженному на полях Врангеля... А вот сегодня есть уже и не хочется. Третьего дня хотелось, а теперь, значит, организм приспособился и сам себя жрет. Ну и жри!

Последние слова он неожиданно произнес громко, совсем во весь голос, так что стоящий неподалеку ажан повернулся и стал медленно и как бы вопросительно подходить.

Костя приподнял шляпу.

— Вы не знаете — здесь глубоко?

Ажан подошел еще ближе и тогда ответил:

— На вас хватит.

Костя подумал мгновенье, что надо как-то отшутиться, но ничего не придумал, снова приподнял шляпу и пошел через мост.

— Это был глупый разговор. Ну, какое мне, в сущности, дело, глубоко здесь или нет. Я должен думать не об одном. Об Жуконокуло. Жуконокуло, семь Quai des Orfévres. И говорить с ним я должен просто и спокойно. Он семью нашу знал, значит, знает, что я не жулик. Меня, конечно, не помнит. Когда он был репетитором у братьев мне было лет восемь. Мама его завтракать оставляла. Хряпал салат. А теперь я хочу есть. Ухвачу его за бороду, он меня и накормит. Нехорошо, однако, что я заранее настраиваю себя враждебно к нему. Может быть, он чудесный малый, узнает, кто я, прослезится, засуетится, потащит в кафе вспомнит старину. И тут неожиданно выяснится, что он был когда-то — вот когда репетитором был — влюблен в маму. Безумно и безнадежно. И у него значит сохраняется, как святыня, ее портрет. Портрет в медальоне. Он раскроет медальон дрожащей рукой, взглянет на меня и затрепещет.

— Боже! какое сходство! Ее глаза! Простите мне, молодой человек, это так, минутная слабость.

И он вытрет слезы.

Я расскажу ему, как мама умирала от сыпняка и не знала, что папа и Володя уже убиты, а Гриша...

Костя остановился.

— Что такое мучает меня сегодня? Что-то было отвратительное, и не могу вспомнить, что. Особенно трагического в моем положении ничего нет. То есть более трагическо-

го, чем, скажем, вчера или третьего дня. В крайнем случае продам сафроновский револьвер, а там видно будет. Пока нужно думать, только о нем, о Жуконокуло. Если он окажется жмотом, скажу, что мне деньги на дорогу нужны, что мне, мол, обещано место в Болгарии или в Чехии. На дорогу все охотнее дают, чем просто на хлеб. На дорогу, значит, раз дал — и к черту, больше беспокоить не будет. Скажу — в Чехию, очень определенно, все, мол, уже налажено, и там меня встретят... Что меня мучает? Что меня мучает?

На Quai des Orfévres[1] собрался кучкой народ. Плотный щетинистый старик в смешном детском берете на круглой голове играл на скрипке и пел ослиным голосом.

«Reviens Colinette et soyons heureux»![2]

Костя улыбнулся и вздохнул глубоким дрожащим, блаженным вздохом, как после плача вздыхают дети.

— Чего это я обрадовался?

Пищала скрипка и хрипел старик, но пищали и хрипели они о любви, любовные весенние слова уводили от Жуконокулы, и зацветали от них цветы на вылощенном резиной асфальте, и пронесшийся мимо автомобиль пропел пастушеской свирелью, поднял золотую полевую пыль, прогремел весенней грозой, и некрасивая девушка с картонкой улыбнулась алым маком губ.

— Отчего вдруг такое счастье? Ах, это молодость моя задрожала во мне. Молодость. Забыл я о ней.

И все еще улыбаясь и дивясь на себя, спросил он у консьержа о Жуконокуло.

— Третий этаж направо.

Кто-то впереди, шумно дыша, поднимался. И дверь третьего этажа направо хлопнула.

— Это, верно, он сам либо кто-нибудь к нему. Только бы не помешали.

Костя позвонил.

Дверь сразу открыли, но тот, кто открыл, сейчас же метнулся куда-то вбок, в другую комнату.

Что-то вспоминалось, вот то тяжелое, что мучило весь день, забрезжило и, неосознанное, угасло. Что же это?

---

[1] Набережная Орфевр (*фр.*).

[2] Вернись, Колинетт, и будем счастливы! (*Фр.*)

— Мосье Жуконокуло?

— Если ко мне, то входите сюда, — ответил кто-то, очевидно тот, кто сейчас метнулся.

Костя пошел на голос.

— Вы что же не закрыли двери?

И мимо, почти толкнув его, пронесся коротконогий коренастый человек, с огромной головой. На нем была коричневая разлетайка, странная для Парижа, русская, помещичья.

— Майский жук!

Костю так качнуло, что он ухватился за косяк двери.

— Майский жук!

Вот что мучило! Вот этот самый поганый сон.

Бывают сны страшные, зловещие, мучительные по своему сюжету, но, отлетев, не оставляют следа ни в памяти, ни в настроении. Но порою приснившаяся самая простая вещь, — коробка из-под папирос, утенок, раскрытое настежь окно — охватит всю душу таким черным, таким неизбывным ужасом, что долгие дни замутятся тоской и тревогой.

Косте приснился майский жук. Сон, связанный с воспоминанием детства, когда жили на юге в деревне и весь сад гудел весной этими жуками, крупными, жадными, пьяными от солнца, объедавшими молодые листья, прятавшимися в волосах и платьях, с разбегу налетавшими и щелкавшими прямо в лоб. Хрущи — называли их там.

И вот раз садовник набрал их полный передник и понес в свиную закуту.

— Кабан съест тай еще спасибо скажет.

Костя маленький пошел за ним и видел, как он высыпал жуков перед хлевом, и они закопошились, наползая друг на друга (они в это время уже налетали), и над ними зачавкало тупоносое рыло розовой безшерстной свиньи, ткнулось и захрупало. Костю замутило от этого хруста, и видел он еще, как садовник подталкивал ногой расползавшихся жуков и одного из них с хрустом раздавил сапогом. Что-то мягкое белое отвратительное, с вдавившимися коричневыми крыльями осталось вместо жука. Костя, громко плача, побежал домой.

И вот теперь приснилось ему, что этот раздавленный жук летел за ним, настигал, гудел все ближе и ближе. Костя бежал, задыхался и знал, что все равно не уйдет, что жук нагонит и ударит его в висок. И тогда он погибнет.

— Чего же вам надо? Ну?

Человек с широким коричневым лицом, с выпуклыми сердитыми глазами, ждал ответа.

— Простите... я на минуту. Я Коноплев.

— Ну?

— Вы когда-то занимались у нас... то есть вообще педагогической деятельностью.

Сердце Кости отчаянно колотилось.

«Это просто от лестницы», — подумал он.

Он смотрел на Жуконокуло.

— Раньше он худой был. Не надо думать про сон.

— Я вас спрашиваю, чего вам от меня надо? — с бешенством повторил Жуконокуло.

— Ввиду нашего старинного знакомства, то есть вашего и моих родителей, — задыхаясь бормотал Костя, — я уезжаю в Чехию... Там меня встретит покойный брат...

— Ничего не понимаю! — развел руками Жуконокуло, и разлетайка его взметнулась, как крылья.

— Ввиду моего знакомства вы едете в Чехию. Это, извините меня, черт знает что такое.

— Я спутался.

Костя хотел улыбнуться, да не вышло.

— Я один на свете. Я контужен два раза. Работал здесь на заводе, но рука плохо действует.

— Все это прекрасно, но я-то здесь при чем?

— Как раз правая рука, — тупо повторил Костя, точно если правая рука, так уж тут Жуконокуло не отвертится.

— Я вас в последней раз спрашиваю, чего вам от меня надо, — растягивая слова, повторил Жуконокуло и покраснел.

— Может быть, вы могли бы, не отказали бы... немножко денег... взаимообразно на проезд.

Жуконокуло покраснел еще больше, обвел выпученными глазами стены комнаты, точно просил у них объяснения.

— Вы желаете, чтобы я свои деньги отдавал вам? Простите, но это уже верх наглости. Вламывается к совершенно посторонним людям и заявляет, что они обязаны отдать ему свои деньги. Да ведь этому названья нет. Да какое мне до вас дело!

Костя почувствовал, что надо извиниться и уйти, но странная слабость одеревянила его всего и как в кошмаре, мучась и не умея поступить иначе, он все стоял на том же месте у дверей и тихо говорил.

— Я бы отдал... У меня есть вот... могу оставить в залог... у меня вот...

Он вынул из кармана револьвер и сделал шаг вперед, чтобы положить его на стол перед Жуконокуло, но тот вдруг так громко и неожиданно взвизгнул, что Костя даже отпрыгнул назад.

— Вон! — завизжал Жуконокуло. — Вон отсюда, или я зову полицию!

Он метался от окна к двери, разлетайка надулась выпуклыми твердыми крыльями, надулась и жужжала.

Костя смотрел, завороженный ужасом, и вдруг Жуконокуло подбежал и толкнул его в плечо. Костя вскрикнул от страшного отвращения, такого, как было во сне, и выбежал из квартиры.

Остановился он только у моста. Колени дрожали и билось сердце неровно и сильно, отбрасывая кровь к вискам.

— Что же это — ужас какой. Он не обязан. Нет, жук, ты обязан. Ты обязан! Когда ты вывозил из России свою поганую поклажу, разлетайку свою вывозил и деньги, мы тебя, жук, своей грудью прикрывали, отдавали жизнь, пока ты грузился на пароходы, когда я твою разлетайку отстаивал, меня вот искалечили, контузили. Ты тогда, жук, лебезил передо мной, льстил мне и сочинял про меня стихи, что я герой. А теперь тебе до меня дела нет. Как же это так, а? Запоганил ты меня, жук, теперь кончено, крышка. Слабый я и больной, и напрасно ты так раскуражился, и кричал, и пугал, — с меня и половины того довольно было бы. Нехорошо, жук, нехорошо. Видишь, вот я и не могу больше. Зачем ты меня тогда обманул? Я служил тебе, жук...

Мимо прошел толстый француз и внимательно посмотрел Косте в глаза.

— Смотрят... надо успокоиться. Ну-с, Костенька, обдумаем все. Работы нет, денег нет, надежды нет. Значит, так. Почему-то казалось, что нужно все это проделывать вечером и непременно за городом. Обычай, что ли, требует. Подумаешь, модник какой. Ладно, и так будет. А вот как быть с револьвером? Он ведь чужой. Записку, что ли, написать, чтобы отдали Сафонову. Карандаша нет и скучно все это. Вот странно, чтобы у такого небытового обстоятельствами столько мелких бытовых хлопот.

Он подошел к перилам, оперся левым локтем, посмотрел в воду и вынул правой рукой револьвер.

Что-то задрожало в груди, мелкой дрожью, будто заплакало.

— Ах, это она, молодость моя плачет. Ну что же, плачь, плачь. Мне-то что! Нам да жуку до тебя дела нет.

Он поднял голову.

С середины моста медленно подходил к нему ажан.

— Ne vous dérangez pas![1] Я живо! — крикнул ему Костя, усмехнулся и, с гримасой невыразимого отвращения, неловко и торопливо приставил револьвер к виску.

Осколки

Забывается быт нашей провалившейся Атлантиды, нашей милой старой жизни. Главное помнится, детали уже еле видны. Порою словно море — неожиданно выкинет память какой-нибудь осколок, обрывок, обломок из затонувшего, навеки погибшего мира, и начинаешь рассматривать его с грустью и умилением, и вспоминаешь, какой он был когда-то, какое целое составлял, как входил в жизнь, служил, учил или только забавлял и радовал.

И всегда такой осколок зацепит душу и поведет в далекое.

* * *

В магазине маленькая, кругленькая, похожая на вишню, продавщица, набросила мне на плечи скунсовый мех. Я опустила голову и вдохнула острый терпкий звериный запах. О-о-о, какой знакомый... Да ведь это воротник моей шубки!

И началось...

Звякает колокольчик резко, нагло. На все стороны кричит: «едем, едем, едем!»

Скрипит сизый вечерний снег. Солнца уже нет — снег светит. Справа толпой белые ели, слева — карлики — пни. Кружатся, поворачиваются. Ели могучие, тихие и зловещие.

---

[1] Не беспокойтесь! (*Фр.*)

Пни суетливые колдуют, обманывают, меняют облики. Вот монашек в клобуке, вот зверь, вот старуха. А у самых саней сбоку следы нехорошие — печатал их зверь, по одной нитке тянул, лапа в лапу, след в след. Волк! И зачем только колокольчик-то наш так храбро кричит. По такой бы дороге, вдоль таких следов, мимо карлов-оборотней, лучше бы крадучись да потише.

— Барышня! А намедни, говорят, около Лычевки нищенку вовки зъели...

— Волки?

— Comme fourrure c'est très pratique[1].

Я смотрю, не понимаю. Что за круглая вишня говорит со мной?

— Et c'est très avantageux[2].

Ах да! Я в Париже, в магазине.

Вишня! Не видала ты сизого снега, не слыхала медного лесного крика — как колокольчик кричит, звериного страха не понимаешь. Наверное, думаешь, что этот самый фурор на фабрике приготовляют. Ничего ты не знаешь!

— Non, merci, c'est trop lourd[3].

* * *

Сегодня утром вспомнилась мне самая простая штука. Календарь. Стенной отрывной календарь.

Проснешься, бывало, протянешь руку и оторвешь листок.

На лицевой его стороне только серьезное, как полагается: месяц, год, число, день. Пониже — святые. Сбоку какие-то ярмарки: конная в Воронеже. Киевские контракты. Серьезно и деловито. А на обратной стороне — все. Обратная сторона удовлетворяет всем потребностям души.

Без всяких предисловий, разделений и объяснений, валяет прямо под ряд. Объяснять незачем. Эта страница знает, что человеку нужно. То и дает.

Вот так:

---

[1] Как мех это очень практично (*фр.*).

[2] И это очень выгодно (*фр.*).

[3] Нет, спасибо, это слишком тяжело (*фр.*).

Понедельник. 30 ноября.
Меню: щи кислые или лапша.
Судак на пару.
Кисель миндальный.

Я вас любил, любовь еще, быть может,
В груди моей угасла не совсем.
Но пусть она вас больше не тревожит.
Я не хочу печалить вас ничем.

А. Пушкин

Дичий сыр из бычей печени.

Купить бычью печень, приготовить из нее сыр на манере дичьего, остудить, огарнировать, подавать как закуску.

Практические советы.

Что делать, если к вам вечером неожиданно съедутся гости, а в доме ничего нет.

Тогда надо взять окорок ветчины, остудить, огарнировать, подавать как птицу.

Взять шесть штук маринованных судаков, остудить, огарнировать, подавать с желтками.

Взять телячью грудинку, выдержать сутки в красном вине, нафаршировать специями, огарнировать языками, подавать как дичь.

Свертеть пломбир, огарнировать фруктами.

Русские загадки.

Шатовило — мотовило по-немецки говорило. (*Часы*).

Научные новости.

Наука неудержимо шагает вперед. Недавно один ученый открыл микроб желтой горячки, который отличается от белой не только по цвету, но и по свирепости. Свирепствует он главным образом на чернокожих и неграх и с успехом излечивается местными травами.

Открытие этого микроба является драгоценным вкладом в науку.

Анекдоты из жизни великих людей.

I

Однажды король Фридрих Второй, проделав свою обычную утреннюю прогулку в королевском парке, сел на скамейку и стал стругать палочку.

— Что вы делаете, ваше величество? — спросила короля проходившая мимо королева-мать.

— Я стругаю палочку — отвечал находчивый король.

II

Однажды Генрих V, король Дессен-Браунский, долго блуждая по лесу с ружьем, изрядно притомился и попросил встречного крестьянина подвезти его к дворцу.

Доверчивый поселянин тотчас согласился и быстро довез своего неожиданного пассажира.

— Знаешь ли ты, кого ты вез? — спросил король, подъехав к дворцу.

— Нет, я не знаю, — отвечал простодушный поселянин.

— Ты вез короля, — сказал Генрих V и удалился, не причинив никому вреда.

Домашняя гигиена.

I

Как уберечь себя от простуды?

Чтобы уберечь себя от простуды, нужно взять так называемую миску, наполнить ее холодной водой и, намочившись голым телом в этой воде, обойти вокруг себя полотенцем.

II

Молодость и красота ценились еще древними греками.

Знаменитые греческие куртизанки для сохранения вечной юности никогда не подвергали лицо губительному действию воздуха. Днем они обмазывали его густой массой толченых фиг, а после заката солнца тотчас же обкладывали его свежим бараньим мясом и сохраняли так вплоть до утра. И так ежедневно до глубокой старости, которая подкрадывалась неслышными шагами.

Ужин.

Нарезать вчерашней курицы.

Подавать с огурцами.

* * *

Милый календарь!

Вот получишь утром такой заряд и на весь день спокоен и доволен, и научен и порадован. И гости неожиданные не смутят тебя, и красоту греческую сохранишь, и сможешь блеснуть в обществе научным образованием.

Обо всем подумано, все предусмотрено.

А ведь забудем мы его, милого, заботливого...

Неблагодарные мы! Забудем.

День

Гарсон долго вертелся в комнате. Даже пыль вытер — чего вообще никогда не делал.

Очень уж его занимал вид старого жильца.

Жилец на службу не пошел, хотя встал по заведенному в семь часов. Но вместо того чтобы, кое-как одевшись, ковылять, прихрамывая, в метро, он тщательно вымылся, выбрился, причесал остатки волос и — главное чудо — нарядился в невиданное платье — твердый узкий мундир, с золотым шитьем, с красными кантами и широкими красными полосами вдоль ног.

Нарядившись, жилец достал из сундучка коробочку и стал выбирать из нее ленточки и ордена. Все эти штуки он нацепил себе на грудь с двух сторон, старательно, внимательно, перецеплял и поправлял долго. Потом, сдвинув брови и подняв голову, похожий на старую сердитую птицу, осматривал себя в зеркало.

Поймав на себе весело-недоумевающий взгляд гарсона, жилец смутился, отвернулся и попросил, чтобы ему сейчас же принесли почту.

Никакой почты на его имя не оказалось.

Жилец растерялся, переспросил. Он, по-видимому, никак этого не ожидал.

— Мосье ведь никогда и не получал писем.

— Да... но....

Когда гарсон ушел, жилец тщательно прибрал на своем столике рваные книжки — Краснова «За чертополохом» и

еще две с ободранными обложками, разгладил листок календаря и написал на нем сверху над числом: «День ангела».

— Н-да. Кто-нибудь зайдет.

Потом сел на свое единственное кресло, прямо, парадно, гордо. Просидел так с полчаса. Привычная постоянная усталость опустила его голову, закрыла глаза, и поползли перед ним ящики, ящики без конца, вниз и вверх. В тех ящиках, что ползут вниз длинной вереницей, скрепленной цепями, лежат пакеты с товаром. Пакеты надо вынуть и бросить в разные корзины. Одни в ту, где написано «Paris», другие туда, где «Province». Надо спешить, успеть, чтобы перехватить следующий ящик, не то он повернется на своих цепях и уедет с товаром наверх. Машина...

Ползут ящики с утра до вечера, а потом ночью во сне, в полусне — всегда. Ползут по старым письмам, который он перечитывает, по «Чертополоху», по стенным рекламам метро...

Жилец забеспокоился, зашевелил усами, задвигал бровями — открыл глаза.

Заботливо оглядел комнату. Заметил, что наволочка на подушке грязновата, вывернул ее на другую сторону, посмотрел в окошко на глухую стену, прямо на трубу с флюгером, там, наверху, подумал, надел пальто, поднял воротник, чтоб спрятать шитье мундира, и спустился вниз.

Через окошечко бюро выглянула масляно-расчесанная голова кассирши и уставилась белыми гладами на красные лампасы, видневшиеся из-под пальто.

Жилец, обыкновенно втянув голову в плечи, старался поскорее пройти мимо, но на этот раз он подошел и долго и сбивчиво стал толковать, что он сейчас вернется и, если в его отсутствие кто-нибудь зайдет один — господин, или двое, или даже господин с дамой — наверно, кто-нибудь зайдет, — то пусть они подождут.

Кассирша отвечала, что все поняла, и повторила отчетливо и очень громко, как говорят с глуховатыми либо с глуповатыми.

Жилец скоро вернулся с пакетиком.

— Никого не было?

— Никого.

Постоял, пожевал губами, словно не верил.

Поднявшись к себе, развернул из пакетика хлебец и кусочек сыру и торопливо съел, поглядывая на дверь, и долго потом счищал крошки с мундира.

Потом опять сел в свое кресло, и опять поплыли ящики. Может быть, все-таки придет полковник. Если нашел службу и занят, так зайдет вечером. Пойдем в кафе, посидим, потолкуем. Наверное, придет.

Ящики приостановились и поплыли снова.

Потом заговорили французские голоса, громкие и сердитые, о каком-то пакете, попавшем не в ту корзину, заныло простреленное плечо и контуженое колено. Ящики остановились, и сон упал глубже — в накуренную большую комнату с огромным золоченным зеркалом. У людей, сидевших в ней, были внимательные и вежливые лица, блестели сквозь табачный дым нашивки, галуны и пуговицы. Кто-то говорил ему:

— А вы, ваше превосходительство, верите в благоприятный исход?

Он не понимал, забыл. Какой такой исход! Какие бывают исходы!

— У меня болит нога, — отвечает он. — Я ранен под Сольдау.

Но тот, который спросил, недоволен ответом.

— Я отказываюсь вас понимать, ваше превосходительство. Никакого Сольдау не было.

Он хочет возражать, но тут же соображает, что с его стороны бестактно было говорить о войне, которую тот не знает. Тот ведь убит в японскую войну.

— У меня болит нога.

Он не знает, что сказать, и чувствует, что все смолкли, смотрят на него и ждут.

И вдруг шорох. Поплыли ящики. Сон стал мельче, тоньше, боль в плече и колене определеннее.

— Они как будто против меня. Они не могут ничего этого понять и только каждый раз сердятся. Я же не виноват, что был убит не в японскую кампанию, а позже. Впрочем, когда же я был убит? Нет, здесь ошибка. Я не был убит.

За дверью шорохнуло.

Он вскочил и спеша и хромая бросился к двери!

— Entrez! Entrez![1]

---

[1] Входите! Входите! (*Фр.*)

За дверью, по темной стене отчетливо плыли ящики, а внизу, что-то неясно шевелилось.

— Кошка.

Кошка смотрела человечьими глазами, испуганно и кротко.

Он хотел нагнуться, погладить, но стало больно.

— А у меня все колено болит, — сказал он и тут же вспомнил, что здесь Франция, и испугался, что забыл об этом, и повторил тихонько:

— J'ai mal au genou.[1]

Кошка шмыгнула в тьму, пропала.

Он зажег лампу.

— Семь часов.

И есть не хотелось.

— Нет. Никто не придет. Да и давно не видались. Пожалуй, несколько месяцев. Может, за это время успели большевиками сделаться. И очень просто.

Он хотел фыркнуть и рассердиться, но не нашел в себе ни жеста, ни чувства. Устал, лег на кровать, как был в орденах и мундире. Опять ящики.

— Ну, что ж, ящики — так ящики.

Пусть плывут. Ведь доплывут же до последнего?

Цветик белый

Наши друзья Z живут за городом.

— Там воздух лучше.

Это значит, что на плохой воздух денег не хватает.

Мы поехали к ним в гости небольшой компанией.

Выехали вполне благополучно. Конечно, если не считать мелочей: не захватили папирос, потеряли перчатки и забыли ключ от квартиры. Потом еще — на вокзале купили на один билет меньше, чем было нужно. Ну что ж делать — обсчитались. Хотя и всего-то нас ехало четверо. Это было немножко неприятно, что обсчитались, потому что в Гам-

---

[1] У меня болит колено (*фр.*)

бурге была лошадь, которая очень бойко считала даже до шести...

Вылезли тоже благополучно на той станции, на какой следовало. Хотя по дороге и раньше иногда вылезали (т.е., честно говоря, — на каждой станции), но, узнав об ошибке, сейчас же очень толково влезали обратно в вагон.

По прибыли на место назначения испытали несколько неприятных минут: неожиданно оказалось, что никто адреса Z не знал. Каждый понадеялся на другого.

Выручил нас тихий ласковый голос:

— А вот и они!

Это была дочка Z, одиннадцатилеточка, ясная, беленькая, с белокурыми русскими косичками, какие и у меня были в одиннадцать лет (много было из-за них поплакано, много было за них подергано!..).

Девочка пришла встретить нас.

— Вот не думала я, что вы придете! — сказала она мне.

— Почему же?

— Да мама все время твердила, что вы либо на поезд опоздаете, либо не в ту сторону поедете.

Я немножко обиделась. Я человек очень аккуратный. Еще недавно, когда М. пригласила меня на бал, я не только не опоздала, но даже явилась на целую неделю раньше...

— Ах, Наташа, Наташа! Вы еще не знаете меня!

Ясные глазки посмотрели на меня внимательно и опустились.

Обрадовавшись, что теперь попадем куда надо, мы решили сначала зайти отдохнуть в какое-нибудь кафе, потом пойти поискать папирос, потом попытаться протелефонировать в Париж, потом...

Но беленькая девочка сказала серьезно:

— Это никак нельзя. Сейчас нужно идти домой, где нас ждут.

И мы смущенно и покорно пошли гуськом за девочкой.

Дома застали хозяйку над плитой.

Она с удивлением смотрела в кастрюльку.

— Наташа, скорее скажи твое мнение, — что это у меня вышло — ростбиф или солонина?

Девочка посмотрела.

— Нет, чудо мое, на этот раз вышла тушеная говядина.

Z бурно обрадовалась:

— Вот и прекрасно! Кто бы подумал!

За обедом было шумно.

Все мы любили друг друга, всем было хорошо, и поэтому хотелось говорить. Говорили все зараз; кто-то говорил о «Современных Записках», кто-то о том, что за Ленина нельзя молиться. Грех. За Иуду церковь не молится. Кто-то говорил о парижанках и платьях, о Достоевском, о букве «е», о положении писателей за границей, о духоборах, кто-то из нас хотел рассказать, как в Чехии делают яичницу, да так и не успел, хотя говорил, не переставая — все перебивали.

И среди этого хаоса беленькая девочка в передничке ходила вокруг стола, поднимала уроненную вилку, отставляла стакан подальше от края, заботилась, болела душой, мелькала белокурыми косичками.

Раз подошла к одной из нас и показала какой-то билетик.

— Вот, я хочу вас чему-то научить. Вы ведь дома хозяйничаете? Так вот — когда берете вино, спрашивайте такой билетик. Накопите сто билетиков, вам полдюжины полотенец дадут.

Толковала, объясняла, очень хотела помочь нам на свете жить.

— Как у нас здесь чудесно! — радовалась хозяйка. — После большевиков-то. Вы подумайте только — кран, а в кране вода! Печка, а в печке дрова!

— Чудо мое! — шептала девочка. — Ты ешь, а то у тебя все простынет.

Заговорились до сумерек. Беленькая девочка давно что-то повторяла каждому по очереди, наконец кто-то обратил внимание.

— Вам надо с семичасовым уезжать, так скоро пора на вокзал.

Схватились, побежали.

На вокзале последний спешный разговор.

— Завтра покупать для Z платье, — очень скромное, но эффектное, черное, но не чересчур, узкое, но чтобы казалось широким и главное, чтобы не надоело.

— Возьмем Наташу, она будет советовать.

И опять о «Современных Записках», о Горьком, о французской литературе, о Риме...

А беленькая девочка ходит вокруг, говорит что-то, убеждает. Кто-то, наконец, прислушался:

— Перейти надо на ту сторону через мостик. А то поезд подойдет, вы заспешите, побежите и опоздаете.

На другой день в магазине два трехстворчатых зеркала отражают стройную фигуру Z. Маленькая продавщица с масляной головой и короткими ногами накидывает на нее одно платье за другим. На стуле, чинно сложив ручки, сидит белая девочка и советует.

— Ах, — мечется Z между зеркалами. — Вот это прелесть! Наташа, что же ты не советуешь? Смотри, какая красота, на животе серая вышивка. Говори скорее свое мнение.

— Нет, чудо мое, нельзя тебе это платье. Ну, как ты каждый день с серым животом будешь? Если бы у тебя много платьев было — другое дело. А так непрактично.

— Ну, какая ты, право! — защищается Z. Но ослушаться не смеет.

Мы идем к выходу.

— Ах, — вскрикивает Z. — Ах, какие воротнички! Это моя мечта! Наташа, тащи меня скорее мимо, чтобы я не увлеклась.

Белая девочка озабоченно берет мать за руку.

— А ты отвернись, а ты смотри в другую сторону, чудо мое, вон туда, где иголки и нитки.

— Вы знаете, — шепчет мне Z, указывая глазами на дочку. — Она вчера слышала наш разговор о Ленине и говорит мне вечером: «а я за него каждый день молюсь. На нем, говорит, крови много, его душе сейчас очень трудно. Я, говорит, не могу — я молюсь».

Под знаком валюты

— Сколько тебе лет?

— Половина четвертого.

Ее называют Ханум, потому что она родилась в Константинополе.

У нее стриженые волосы, короткое платьице цвета жад и голые коленки. Это последнее обстоятельство отличает

ее от матери, у которой такого же цвета и такое же короткое платьице и такие же стриженые волосы. Но чулки у нее длинные и колени закрыты. Кроме того, у Ханум другой цвет лица. У матери он совсем уж новорожденный.

Ханум — кокетка. Выходя к гостям, она говорит, расправляя свое платьице:

— У меня и еще и езовое.

Мать она называет по-английски «ма», отца по-французски «папа́», а бабушку бабушкой.

Иногда Ханум говорит «mamma mia».

Это она всосала с молоком кормилицы, которая была итальянкой.

В детской на камине стоят ее игрушки. Их много, но все они куплены не в магазине и не к специальному случаю: рожденью, именинам, Пасхе. Их привозила «ма» из дансингов, Казино, Перокэ, благотворительных балов и базаров. Ханум так и называет их: кошка — Перокэ, обезьянка — бал маскэ, кукла — базар.

В детской мягкий диванчик с пестрыми подушками. Ханум грациозно вытягивает ножки и рассказывает сказку, слышанную от бабушки:

— Красная Шапочка пошла faire visite[1] к своей бабушке, а бабушка жила в banlieue[2], там дешевле. Шапочка возмила с собой chocolat[3]. Вот она бегала через лес. А в bois[4] пристал к ней волк: «Хау ду ю ду?» Шапочка заплакала en larmes[5], а волк побежал к дому, нажимал кнопку, хап, и съел бабушку.

Игрушки из кабаре слушают шерстяными вышитыми ушами, глядят пуговичными глазами. В хорошем настроении Ханум поет:

— Et nous n'avons pas de bananes[6].

У нее хороший слух.

Какую страну и какой язык будет Ханум считать родными? Неизвестно. Это все зависит от валюты. Первые дни ее

---

[1] Нанести визит (*фр.*).
[2] Предместье (*фр.*).
[3] Шоколад (*фр.*).
[4] В лесу (*фр.*).
[5] В слезы (*фр.*).
[6] А бананов у нас нет (*фр.*).

жизни валюта приказала жить в Лондоне. Потом в Лондоне остался только отец и посылал валюту в Париж, где жила Ханум с матерью. Потом они жили в Германии, а валюта ездила к ним из Парижа, потом опять в Париж, а валюта поплыла из Америки. Так что неизвестно, что будет дальше. Если бы в наше время были астрологи, то в гороскопе Ханум они нашли бы знак валюты.

«Ма» заботится о Ханум. Она уже несколько раз говорила друзьям, что она на будущий год непременно отдаст Ханум в школу танцев. У «ма» кроме Ханум много забот: в салоне на камине стоит в рамке диплом «ма», выданный ей за фокстрот из академии танцев. А ведь это заслужить нелегко. Очень много заботиться и думать — вредно. Год тому назад, когда «ма» обдумывала, обстричь ей волосы или нет, она за неделю побледнела и потеряла в весе.

— Странная ваша девочка, ваша Ханум, — сказал ей кто-то. — Подумайте — ни семьи настоящей, ни родины, ни языка.

«Ма» сдвинула брови и подняла на собеседника подведенные синей краской глаза, вдруг ставшие простыми и усталыми.

— Скажите, — ответила она, — если человека сбросили с Эйфелевой башни, очень ли для него важно, чтобы он, падая, успел по дороге хорошенько обдумать и взвесить свое положение?

Потом улыбнулась и сказала уже по-фокстроцки:

— И потом ведь все зависит от валюты. Может быть, Ханум будет африканкой.

И Ханум тоже улыбнулась и расправила свое платьице цвета жад.

Житие Петра Иваныча

Житие Петра Иваныча скорбное. Тяжелое житие. И если бы не был он по натуре своей спортсменом, то жития этого вынести не смог бы и либо форму, либо сущность его прикончил.

Но благодаря спортивной складке своего духа, сделал он из трудных дней своих живую игру. Смысл и толк этой игры

заключался в том, чтобы как можно ловчее уклониться от встречи с родными, знакомыми и прочими лицами, которые могли бы попросить у него денег.

Он был, так сказать, охотник навыворот. Не преследовал, а удирал; заячий спорт, но если в него вживешься — довольно завлекательный.

Спорт этот потребовал все-таки некоторых затрат: консьержу выдавалось ежемесячное специальное жалованье для того, чтобы гнать всякого, кто без особого пароля о нем, Петре Иваныче, осведомлялся. Жалованье это Петр Иваныч с грустной улыбкой называл «прогонные суммы». Те же прогонные суммы выдавались мальчикам в банке, где состоял Петр Иваныч.

Секретарь, и банковский и домашний, прогонных не получали, но просто всегда говорили, что ни день, ни час пребывания Петра Иваныча на службе неизвестны. Это входило в круг их обязанностей.

На улице подымался воротник. Вечером на окна опускались тяжелые густые драпировки.

В своем любимом ресторане, от которого отказаться не мог, потому что был обжора, он садился в угол за ширму. Особую жуткую радость испытывал он, когда видел в щель у стены знакомую физиономию, которая его не видела. При случайных встречах с опасными людьми он умел делать такое «чужое» лицо, что почти никто не решался узнать его. Долго смотрели вслед и думали:

— Уд-дивительная игра природы! Такое сходство!

В театре при встрече с людьми неопасными он говорил очень громко, чтобы слышали опасные:

— Да, сегодня я решил последний раз позволить себе эту роскошь — пойти в театр. Я раздал все свое состояние милым родственникам, которые, как и принято, меня же бранят.

В дом допускался без лозунгов и паролей только старый университетский товарищ, который был богаче Петра Иваныча и потому не страшен абсолютно.

Сидели у камина, слушали граммофон.

— Ты не обидишься, если я у тебя спрошу? — сказал раз товарищ. — Вот ты теперь нажил на новом деле изрядный куш — для чего тебе все это? Ну, так — без обиды, откровенно.

Петр Иваныч подумал.

— Не знаю… Для жиру, для подагры… не знаю!

— Ну, а представь себе, что явилась бы к тебе сама очаровательная Мари, которой ты так восхищался в прошлом году. Пришла и сказала бы: «дайте пять тысяч pour mes pauvres»[1]. Что бы ты тогда? а?

Петр Иваныч подумал, сильно побледнел и, подняв глаза темные, почти вдохновенные, тихо сказал:

— Что бы я сделал? Я бы убил и себя и ее.

Дэзи и я

Мы обе живем своим трудом.

Я, как видите — пишу рассказы, а Дэзи по беженскому делу занялась свитерами. Она, конечно, не просто вяжет их — это было бы уж слишком банально. Нет. У нее натура художественная и бездна фантазии. Она купила для начала три самых обыкновенных серых свитера и будет их расшивать цветными шерстями самым необычайным рисунком. На одном, например, будут индийские пагоды и полет Валькирии. На другом — какие-нибудь христианские мученики спереди, а сзади аэроплан.

Я нахожу, что это хотя и интересно, но недостаточно спортивно, и главное, сюжеты все такие знойные, а свитера из толстой шерсти. Тут бы лучше самоедов пустить. А она говорит, что самоеды банальны.

Пока она еще ничего не вышила, потому что решила, что гораздо практичнее сначала найти заказчицу, ну, конечно, какую-нибудь богатую американку, справиться относительно ее вкусов и желаний, а затем уже спокойно сесть за работу.

Но американку найти трудно. То есть не вообще трудно, а такую, которая заказала бы свитер с мучениками и валкириями. Дэзи ищет уже семь месяцев.

Она часто заходит ко мне, всегда со своей картонкой. Я привыкла к ее свитерам и без них мне было бы пусто.

---

[1] Для моих нищих! (*Фр.*)

Приходит она утром, часов в одиннадцать, застает меня еще в постели. Я всегда делаю вид, что проспала случайно, а она всегда делает вид, что верит мне.

Потом она показывает мне свои свитера, а я даю ей советы.

— Прежде всего, если хотите чего-нибудь добиться, нужно дисциплинировать свою жизнь. Нужно непременно рано вставать. Не только потому, что больше успеете сделать, а и потому, что будете чувствовать себя бодрее.

— Я решила ходить просто по отелям и спрашивать — где американки. Потом прямо входить и развивать им мой план. Американки любят энергию. Им, наверное, этот прием даже понравится.

— Потом, — продолжаю я, — нужен непременно порядок, даже в мелочах. Вы не можете себе представить, как это важно. Хотите записать все, что я вам говорю? А то, наверное, забудете. Только помогите мне найти мое стило. Оно или под кроватью, или завалилось под комод. Что? В конфетах? Как же оно туда попало?

— Ах, дорогая, — говорит Дэзи. — Если бы вы знали, как вы на меня хорошо действуете! Повидав вас, я чувствую всегда такой прилив энергии.

— Ну, я очень рада! Теперь еще одна мелочь — ах, вся наша жизнь из мелочей! Никогда не разбрасывайте вечером ваше платье, а кладите его в неизвестном порядке. Сколько времени обыкновенно уходит на поиски какого-нибудь чулка. А так мне достаточно протянуть руку... протянуть ру... Как сюда перчатки попали? А это что? Неужели туфля под одеялом? Ах, нет! Это шляпа. А я ее вчера весь вечер... Гм... Знаете, здесь такие огромные кровати, что если в нее письменный стол попадет, так и то не заметишь. Н-да. Вот еще что очень важно — утренняя прогулка. Какая бы ни была погода, в десять часов утра вы должны быть на улице.

Дэзи смотрит на меня с восторженной улыбкой. Собственно говоря, мне ее общество очень полезно. Перед ней я чувствую себя практичной, дельной бой-бабой. Она, действительно, совсем уж растяпа.

— Милая! — повторяет Дэзи. — Как вы на меня чудесно действуете!

— Вот смотрите, — что значит, когда все в порядке. Вот, например, вам непременно надо завести книжечку, где все записывается на каждый день. Вот у меня... посмотрите там под чернильницей... шоколад? Как же он туда попал... Ах да, вот же она у вас под ногами. Давайте сюда. Вот смотрите и учитесь: в десять часов банк. В десять с половиной в префектуре — я потеряла carte d'identité!... Видите, какая удобная книжечка. Постойте — какой сейчас месяц? Январь? А это какой-то июнь... Да, понимаю. Это не тот год. Это старая. Хорошо, что я не разлетелась в банк...

— Дорогая! — восторженно говорит Дэзи. — Как вы на меня хорошо действуете. Вот посмотрю на вас и успокаиваюсь: живут же люди и еще бестолковее, чем я, и все-таки кое-как держатся... Дайте я вас поцелую!

«Эу»

Этот звук «эу» (с ударением на э) он произносит, когда ему нечего сказать.

Когда есть что, он тоже его произносит, но тогда оно не так заметно. Голое «эу» заметнее.

Он худощавый, седовато-рыжий, бритый. Нос и щеки покрыты сеткой красных жилок — издали будто румяный. Рот оттянут вниз, чтобы удобнее было говорить «эу».

Костюм на нем муругий, — а сапожищи бурые, на подошве трехвершковой толщины.

Водится он в hall-е каждого отеля, отельчика и пансиона.

За час до завтрака и за час до обеда он сидит в соломенном кресле, шевелит перекинутой через колено ногой и ждет звонка. После обеда и после завтрака сидит час, шевелит ногой и думает. По утрам его возит куковская кампания в высоком драндулете, человек по шестнадцать, осматривать Париж: Эйфелеву башню, бойни, Венеру Милосскую, канализацию, рынок, Нотр Дам, клоаки, Джоконду и могилу Наполеона.

Он царапает ногтем пьедестал Венеры Милосской, роняет Бедекер в могилу Наполеона и самоотверженно пьет дезодорированную и озонированную воду из городских клоак.

А гид объясняет:

— Венера Милосская, знаменитая своими красотами. Весит без рук около пятисот кило. С руками была бы еще тяжелее. Джоконда, или портрет Моны Лизы. Автор писал его десять лет. Знаменит тем, что его раз украли. Изображает собою женщину с руками.

Вечером Кук везет своих пасынков осматривать ночной Париж. Ночной Париж состоит из электрических реклам, Монмартра и заведений «Enfer» и «Paradis». В «Enfer» американец говорит «эу», глядя на дурня, одетого чертом, в «Paradis» — говорит «эу», глядя на дурня, одетого ангелом. И тут и там чихает от запаха клея, коленкора и краски.

Сидя в hall-е в плетеном кресле, он вспоминает все, что видел, сосет сигару и думает:

«Надо помнить... эу... пароход, на котором я приехал. Венера, Мона Лиза... Кто из них две тысячи тонн водоизмещения? Наполеона писали десять лет... нет, бойню писали десять лет с руками... Эу?»

Он добросовестно ест пансионский брандахлыст и верит, что фамилия этого брандахлыста «crême à la reine Sardanapale de la Montégut»[1] и что жаренный на вазелине картофель не картофель, а «bombe duchesse du Rond-Point à la Recamier Pergolèse de Montmorency»[2].

Так как он человек валютный, говорит плохо, а понимает еще хуже, то ему в продолжение двух недель ежедневно ставят в счет наводнение по два франка за сантиметр.

— В Гранд Отеле с вас бы взяли двенадцать.

— Эу?

— Да, да, пятнадцать. В Мажестике...

В 9 часов он кончает свой трудовой день и выставляет за дверь трехвершковые сапожищи.

Гарсон в шесть часов утра бегает вокруг них с пылесосом.

Уезжает американец всегда совершенно неожиданно, очень рано утром, когда все еще спят. Позвонит и велит эу — выносить вещи. Заспанная кассирша еле успевает

---

[1] Крем а ля королева Сарданапала де ля Монтегю (*фр.*).

[2] Бомба герцогиня дю Рон-Пуан а ля Рекамье Персолезе де Монморанси (*фр.*). (Здесь высмеивается пристрастие французов давать необыкновенные названия блюдам.)

приписать к его счету восемь франков за пожар магазина Printemps, бывший два года тому назад.

Гарсон долго смотрит вслед автомобилю. И ветер шевелит его напомаженный хохол.

Крылья

Вере Зайцевой

Она вошла на своих тонких, как шпилька, кривых ногах, села, подкрючила левую ногу под стул, скосила глаза козлом и заскрипела:

— Я ему говорю — если ты не будешь думать о семье, то кто же будет? Нужно платить femme de menage, он прекрасно это знает, а вчера вместо того, чтобы ловить Панкова и вытянуть у него хоть двадцать франков — изволил получить на какую-то дурацкую лекцию. Панкова проморгал, три франка на ерунду извел и считает, что прав. Его, мол, интересует этот вопрос, он, мол, сам над ним работал. Мало ли что работал! Теперь пора забыть об этом. Верочке нужны туфли, прачка пристает со счетом, белье драное. Нужно непременно хоть две наволочки купить, если не полдюжины. И при этом ненавидит Панкова. Он, мол, морально-грязный человек и вор. Мало ли что вор. Все-таки это единственный человек, у которого в настоящее время можно еще призанять. На всех фыркать — недолго протянешь. Все эти барские традиции хороши были, когда деньги в банке лежали и когда он профессором был. А теперь ни денег, ни профессорства, так и надо соображать, а не фыркать на нужных людей...

Она скрипела долго. Какая-то птица скрипит так по ночам — цесарка, что ли.

Розы в бокале потемнели и скрутили лепестки. Каминное зеркало замутилось. Посреди оконного стекла выплясал паук и выпустил длинную серую паутину. На столе ярким пятном вырисовался неоплаченный счет...

Она скрипнула в последний раз и, попросив пять франков на метро, зашагала на своих кривых шпильках к двери.

Но дверь распахнулась, и влетел в нее смех. Золотистые кудерьки, радость, серые чулки на стройных ногах, мохнатое перышко на шляпе, пестрая подкладка, поцелуи, губная помада — вихрь.

— Милая! Ну до чего же я рада! Хохочу с утра. Андрей, вы ведь знаете, это замечательный человек! — он сегодня тоже в городе. Ха-ха-ха! До чего смешно! Пришлось из танюшкиной копилки мелочь выковыривать. Понимаете? Собрались в город, а ни у меня, ни у него ни сантима! Милая! До чего смешно?

— Отчего же это у вас так? — спросила я. — Неужто так-таки ничего?

— Да это случайно так вышло. У нас еще двести франков было. Как раз хватило бы дотянуть, пока Андрей заказ сдаст. Ах, если бы вы видели его работу! Понимаете — закат и березки молодые! А небо, небо — ну, словно у нас в Варваркином! Ей-богу, я обревелась! Как прохожу мимо — так реветь. Сяду на полено — у нас в мастерской полено вместо стула — сяду на полено и реву. Андрей говорит: «Хорошо, что я маслом пишу, а если бы акварель была, так давно бы вся картина поплыла». Вчера заказчик приходил. В восторге. Чудный человек этот заказчик. Попросил, чтобы Андрей под березами белых грибов понасажал. Белые-то под березами не растут, ну да ведь можно же немножко и фантастического элемента... Ах, простите, — заметила она мою гостью. — Позвольте познакомиться: жена художника Борисова. — Милая! — снова кинулась она ко мне. — Совсем и забыла, — вам Раиса Исаковна кланяется. Ах, какой она чудесный человек! Это прямо святая. Что это у вас, — розы? Ах, нужно было вам розу принести...

— Подождите, вы начали рассказывать, куда вы двести франков девали.

— Ах да! Ха-ха-ха! Вы себе представить не можете! Приходит вчера утром к Андрею какой-то совершенно неизвестный господин. Говорит, что знал какого-то нашего друга, не то Семенова, не то Петрова — очевидно, от смущения фамилию спутал, потому что у нас таких-то и не было. Ну, и значит, просит у Андрея денежной помощи. Я из другой комнаты слышу и думаю: наверное, Андрюшка ему сотню отвалит. Слышу, тот благодарит, уходит. Как вы думаете? Андрей-то

ведь ему все двести и отдал! Ну, подумайте только! Все, все, что в доме было. Ну, не прелесть ли он! Ей-богу, вот не поверите — пятнадцать лет мы женаты, а я в него влюблена, как в первый день. Ведь, правда, чудесный какой? Замечательный человек! Ах, милая, я ведь только на одну минутку. Дайте я вас поцелую! Лечу дальше!

Мохнатое перышко на шляпе, золотые кудерьки, золотой смех, поцелуи, губная помада — вихрь!

Дверь захлопнулась. На полу осталась перчатка и кусочек перышка от шляпы.

Моя гостья, молчавшая все время, посмотрела на меня растерянно и виновато. Хотела что-то сказать, раскрыла рот, набрала воздуху, но так и не сказала. Только подняла с полу обломанное перышко, благоговейно положила его на стол и молча вышла, подгребая своими кривыми шпильками.

Ветерок распахнул окно, сдунул неоплаченный счет со стола прямо в корзинку. Задрожали розы в бокале. Паук побежал боком-боком и спрятался. Во дворе запела шарманка.

Я взяла сломанное перышко, подошла к окну и, дунув, пустила его по воздуху. Оно поплыло, подхваченное ветром, полетело, понеслось прямо к небу, маленькое, серо-золотое в солнце...

Шарль и Лизетта

«...Яко вселюся в последних
моря — Ты тамо еси...»

Псалом.

Живут они в самом центра foire de Paris[1] между американским тиром и яростно-веселыми карусельными коровами, что по четыре в ряд взмывают, кружатся, мотают золочеными рогами, ревут механической машинкой!

---

[1] Парижская ярмарка (*фр.*).

«On y fait sa p'tite belote
Et puis ça va».[1]

Ух! Страшно мимо пройти!

Их жилище потише. Тоже круглое, как карусель, но цвета скромного, сизоватого, под морскую воду, и пахнет тухлой рыбой.

У входа на перилах сидит маленькая дохленькая обезьянка в колпачке, хвост свесила, словно рыбу удит. Моргает озабоченно, дергает колокольчик. А над входом надпись: «Lions de mer»[2]. По-нашему — моржи.

За пятьдесят сантимов обезьянка пускает войти.

Живут моржи небогато, но с претензией. На облупленной стенке намалевана белая шишка с синими разливами. Это — понимай — берег Ледовитого океана, плывущая ледяная гора, родной моржевый пейзаж.

Обстановка простая: бассейн, мутная вода, деревянный помост. На помосте две табуретки с надписями — на одной «Шарль», на другой «Лизетта».

Вода в бассейне все время бурлит, волнами ходит, крутятся в ней два круглых темных тела, шлепают плавниками, брызжут во все стороны — весело! Круглые морды, с обвислыми усами, словно у малоросса, когда он борщ хлебает, выскакивают из воды, ныряют, веселые, гакают, фыркают.

Тупорылый парень в резиновых сапогах перелез через перильце на помост, затрубил в рожок. Слышно — обезьянка звонит, надрывается.

Из воды, упираясь плавниками, выполз Шарль — огромная черная скользкая клецка. Перевернулся брюхом кверху, заглянул круглым глазом в воду — видит ли его Лизетта? — и стал жантильничать — терся мордой об доски, мурлыкал, как балованная кошечка.

Эх, милый, видел бы ты себя, что ты за харя!

Но из бассейна как завороженная пристально смотрела в него круглыми глазами круглая голова, удивленно и восторженно. Это была Лизетта. И не выдержала. С громким во-

---

[1] Поиграем в белот,
А потом дела пойдут (*фр.*).

[2] Морские львы (*фр.*).

плем выскочила из воды, захлопала плавниками, забилась в ликующей истерике, словно собиновская психопатка на концерте в Дворянском собрании.

Тупорылый парень затрубил еще. Граммофон захрипел отчетливо и нагло: «Je cherche partout Titine»[1].

Шарль и Лизетта влезли каждый на свой табурет и стали служить искусству. Жонглировали шарами, держали на носу цилиндр и горящую лампу. Работал больше Шарль, но Лизетта все время следила за ним и волновалась, а когда он не удержал шара, она даже шлепнулась с табурета и беспокойно заревела.

После спектакля парень бросил артистам по куску рыбы. Шарль быстро проглотил свою долю. Лизетта, подняв голову, следила за ним. Потом, поймав ртом свой кусок, выпустила его снова и отползла, отковыляла на своих плавниках в сторону. Шарль вытянулся, ухватил рыбу, задрал голову и съел.

И тут Лизетта, радостно всплеснув плавниками, кинулась колесом в воду, ревела восторженно и благодарно, неуклюжая, усатая, брызгала грязную воду, словно излучала свою морскую звериную радость.

О, Лизетта! Ты даже не зверь, а урод морской, полугад, полурыба, ты «последняя моря» из псалма библейского, и ты отдала так светло и радостно все, что у тебя было, во имя чего тебя мучили, дрессировали, приручали — твой маленький кусочек тухлой рыбы! Ты — клецка черная, осклизлая резинка, как смеешь ты... любить!

Ораторы

Ораторы — это моя слабость. Мое блаженство и мученье. Завидую. Хочу тоже говорить — и не умею.

Удивительное это дело. Иногда какой-нибудь маленький, корявенький человечек сидит тихо, жует банкетную телятину, да вдруг как вскочит, стукнет вилкой об стакан и пошел, и пошел — откуда что берется!

---

[1] Я всюду ищу Титин (*фр.*).

— Милостивые государи! Под этой гостеприимной кровлей, объединяющей могучим куполом... Господа! Я хочу обрисовать перед вами доступными мне штрихами личность Семена Петровича, которого вы видите сейчас среди нас, окруженного друзьями и семьей, представленной в лице кумовой свояченицы.

Вспомните, господа, слова поэта:

Казак на север держит путь,
Казак не хочет отдохнуть.

Вынем эти слова из уст поэта и вложим их в уста Семена Петровича. И что же получится? Не получится ровно ничего...

Волны красноречия бегут, набегают друг на друга, гонят, тонут, хлещут, блещут.

А потом подымется другой и скажет задушевно и вдумчиво:

— Господа! Я не оратор. Слезы мешают мне говорить.

Не знаю, что было бы, если бы они не мешали, потому что и с этой помехой он легко и свободно заполняет полтора часа. И чего-чего только не коснется это талантливое существо: Фридриха Барбароссы, планетоидов, пророка Самуила, Анны Павловой, геологических наслоений северной Гвинеи, «Подарка молодым хозяйкам» Молоховец, аппендицита, Оскара Уайльда, малороссийских бахчей, Пифагора, фокстрота, Версальского договора, швейной машины, лечения рака радием, церковного пения, амфибрахия, кровообращения у насекомых, флагеляции у древних развратников, Юлия Цезаря, птичьих паразитов, Конфуция, фашизма, вороньего насморка, и все это подведет так ловко и тонко и из всего этого так ясно выведет, что юбиляр Семен Петрович был, есть и будет замечательным страховым деятелем. Да так просто и убедительно, что никто даже и не удивится, каждому покажется, что именно через амфибрахий и лежал прямой логический путь к сущности Семена Петровича.

Но самый страшный тип оратора — оратор спокойный, который перед своею речью взглянет на часы, щелкнет крышкой и скажет твердо:

— Господа! Я буду краток.

Ах, не верьте ему!

— Господа! Я не задержу долго вашего внимания и не отниму у вас много времени. Повторяю — я буду краток.

И пойдет!

— Мы собрались здесь, объединенные общей целью отпраздновать юбилей высокочтимого Семена Петровича Чолкина. Дорогой Семен Петрович! Думали ли вы, когда невинным ребенком резвились в полях и рощах Тамбовской губернии, сначала в дошкольном возрасте, затем гимназистом, думали ли вы, что когда-нибудь в далекой, чуждой вам стране друзья ваши будут праздновать ваш юбилей? Но тут я попрошу разрешения сделать маленькое отступление и описать подробнее природу Тульской губернии, столь цветущую весною и летом, но зимою покрытою снегом и подвергнутую увяданию. Таким образом я открою перед вами всю картину, так сказать, физического воздействия на юную душу Семена Петровича, чтобы затем перейти к влиянию окружающей среды, впечатлений эстетических, влияний политических и стечение обстоятельств. Проследим шаг за шагом жизнь нашего дорогого юбиляра.

Оратор этого сорта имеет одну хорошую сторону, он решительно ничего не замечает. Во время его речи громко разговаривают, ходят друг к другу в гости, иногда даже начинают концертное отделение. И когда после полуторачасовой речи оратор скажет:

— Я боюсь утомить вас и поэтому просто предложу: выпьем за здоровье нашего доро...

Он с изумлением видит, что стоит один перед пустым столом в пустой комнате, а в соседней зале юбиляр под ручку с двумя дамами кренделяет уже третью фигуру кадрили.

* * *

Самая лучшая торжественная речь, которую я когда-либо слышала, была произнесена скромным бородатым человеком, инспектором уездного училища, по случаю открытия физического кабинета.

Кабинет был оборудован на славу: на стене висело изображение уха в разрезе, на полке стояла змея в спирту и Лейденская банка.

Оратор встал на фоне уха, под самой змеей, и окинул толпу орлиным взором. Толпа — два учителя, батюшка, городской глава, человек двадцать мальчишек и я.

— Господа, — начал оратор. — Еще с незапамятных времен, когда дикие кочевья скифов оживляли унылые степи спалённого солнцем ковыля и осокоря... вернее, даже несколько позже... гм... Всеволод Большое Гнездо... оставим Всеволода, скажу просто: когда татары, тяжким игом своим надавившие на святую Русь, и в тысячу сто одиннадцатом году в битве при Калке... да и не в битве при Калке это было, а значительно позже. В юность Иоанна Грозного, вот когда. Когда Сильвестр и Адашев мудрыми советами своими направляли будущего свирепого царя на... да и вовсе не во время Иоанна Грозного это было, а вернее, что при Петре Великом, при великом нашем реформаторе, зажегшем свой фонарь от европейской свечи и который, как поется в народной песне:

Сам с ружьем с солдатским братом
Сам и пушку заряжал...

Труден был путь молодого царя, но Петр не унывал. Петр... но при чем тут Петр? Тут скорее Екатерина, мудрая правительница, матушка Екатерина, одним взмахом пера уничтожившая взятки. Окруженная блестящей плеядой сотрудников, преимущественно из высшего общества, Екатерина Великая... да и не при Екатерине все это было, господа, не при Екатерине, а вернее, что при Императоре Павле Петровиче... да позвольте, — вдруг совсем простым бытовым тоном обратился оратор в сторону учителей и батюшки, — позвольте: когда к нам в последний раз попечитель-то приезжал?

— Два года тому назад, — отвечали учителя. — Как раз два года.

— Ну так вот, — радостно продолжал оратор. — Вот уже значит когда! Еще два года тому назад возник вопрос о том, что нашему училищу необходим физический кабинет. Вот теперь, после долголетних трудов и хлопот, мы его и открыли.

С какой завистью жала я его руку!

* * *

Сама я говорила только один раз. Без подготовки, по вдохновению.

Справляли свадьбу какого-то старого дурака (ненавижу его с тех пор!). За обедом говорили речи. И вдруг все привязались ко мне — скажите да скажите. Я долго отказывалась, говорила, что не подготовилась, а экспромтом не умею. Ничего не помогло. Заставили.

А новобрачного дурака, надо заметить, звали Владимир Иванович Поликарпов.

Я встала, взволновалась, но взяла себя в руки и громко и четко произнесла:

— Дорогой Владимир Поликарпович. Вот вы сегодня вышли замуж...

Остановилась, спохватилась и поправилась:

— То есть Поликарп...

И это было все. И я с ужасом увидела, что больше мне сказать абсолютно нечего. Криво усмехнулась и села.

С тех пор я не выступаю публично.

Но что значит вся эта произнесенная мною ахинея? Это идиотское «то есть Поликарп»?

Может быть, это и есть ораторское вдохновение, которое охватывает человека, и как он ни отбивайся, несет вихрем, пока не треснет лбом об какого-нибудь такого Поликарпа.

Говорите, говорите, милые ораторы, а я буду слушать вас. Я — птица с опаленными крыльями... Я уж не запою!

ДАЛЕКОЕ

Милым детям ВАЛЕ и ГУЛЕ

Лиза

Мы сидим втроем: я, сестра Лена и дочь священника, Лиза, которая приходит учиться и играть с нами для соревнования в прилежании и послушании...

Сегодня уроков не было и играть не позволяют. Сегодня день торжественный и тревожный — Страстная суббота.

Нужно сидеть тихо, не лезть, не приставать, не драться, по стулу на коленках не ерзать. Все сложно, все трудно, все

сплошь неприятно. И весь день идет под знаком обиды и оскорбления.

Все заняты, все спешат и сердятся. Гувернантка с красными пятнами на щеках строчит себе блузку на машинке. Ужасно важно! Все равно нос-то щербатый. Няня ушла в девичью гладить передники. Старшие сестры в столовой красят яйца и встретили меня обычными словами:

«Только тебя тут не хватало. Нянюшка, уведите ее!»

Я хотела отстоять себя и тут же локтем задела чашку с краской и при помощи подоспевшей няни была водворена в детскую. Во время всей этой катастрофы выяснилось, что к заутрене нас не берут.

Я со злости даже не заплакала, а просто ядовито сказала:

— К исповеди-то небось таскали. Что похуже — то нам, а что получше — то для себя.

Несмотря на эту блестящую реплику, сила осталась на стороне врага, и пришлось засесть в детской.

А тут как на грех нужно было спешно разрешить богословский спор между мной и Леной из-за разбойника и молитвы. Батюшка сказал, что каждое дело надо начинать с молитвой. И вот меня поразило положение разбойника: идет убивать, а ведь должен помолиться, потому что убивать-то ведь это же его дело. А Лена возражала, что ему молиться не надо, что ему, мол, все уж заодно прощается.

Спросить не у кого, драться нельзя. Беда!

Наконец пришла Лиза.

У Лизы лицо худенькое, обтянутое, глаза большие, светлые, очень выпуклые и испуганно-вдохновенные. Все в жизни видит она в двойном, в тройном размере и врет как нанятая.

Она на год старше меня. Уже два раза была у исповеди и в нашей компании пользуется уважением.

Весь быт Лизиной жизни нам известен и очень интересен.

У нее есть дядя семинарист, Петр Яковлевич, который выпил молоко от четырех коров. Пришел, когда никого не было, а в сенях стоял вечерний удой — он все и выпил.

Потом у них дома есть четыре золотых рояля, но они спрятаны на сеновале, чтобы никто не видел.

Потом у них никогда не обедают, а стоит в зальце большой шкаф, а в шкафу все жареные куры. Кто захочет есть — сунул голову в шкаф, съел курицу и пошел.

Потом у Лизы есть четырнадцать бархатных платьев, но она их носит только ночью, чтобы никто не видел, а днем прячет в кухню под макитру, в которой тесто творят.

Потом Лиза очень хорошо говорит по-французски, только не на нашем французском, на котором мы с гувернанткой говорим, а на другом, которого никто не понимает.

Вообще жизнь у Лизы очень интересная.

И вот мы сидим тихо, беседуем. Лиза рассказывает новости. Сначала велит клясться и божиться, что никому не проболтаемся. Мы божимся и для прочности еще плюем через левое плечо.

— Никому?

— Никому во веки веков аминь!

Лиза косит глаза на дверь — глаза белые, страшные — и лепечет:

— Садовника Трифона жена родила двух щенят, а всем сказала, что ребята, а как стали люди дознаваться, она щенят зажарила и велела Трифону съесть.

— Щенят есть нельзя. Грех, — испуганно говорит Лена.

— Так ведь она не призналась, сказала, будто ребята.

У меня похолодели руки. У Лизы у самой от страха на глазах выступили слезы и нос распух.

— Это ее черт научает. Это уж известно, черт к спящему человеку очень легко может подступиться.

— Лиза, а ты видела черта?

— Видела. Это с вечера замечать надо. Коли у тебя на шее крестик очень заблестит, значит непременно ночью черт и явится.

— А ты видела?

— Видела. Я ночью, как проснусь, так сейчас голову высуну и смотрю и всегда вижу: над папой черт и над мамой черт. Так над каждым по черту всю ночь стоят.

— В черной кошке, говорят, очень много этого самого, — говорю я.

— Чего?

— Черта. Если она дорогу перебежит — беда неминучая.

— Даже заяц черный и то опасно, — вставляет Лена.

Я в душе удивляюсь, откуда она без меня такую штуку узнала.

— Очень опасно, — подтверждает Лиза. — Когда наша Лидочка помирала, поехали мы с тетей Катей в Лычевку за кисеей. Едем назад, вдруг кошка через дорогу. Потом вдруг заяц! Потом волк! Потом медведь! Потом тигр! Потом крот! Приезжаем, а Лидочка уже померла.

Я от волнения давно уже влезла коленями на стул, локтями на стол.

— Ох, Лиза, как все это страшно. Только я сама ничего не боюсь. Я только волков боюсь, и привидений боюсь, и темной комнаты боюсь. И покойников тоже боюсь. Ужасно боюсь. И спать одна в комнате боюсь. И вот еще в лес одна ни за что не пойду. А так ничего не боюсь. Вот если бы мне на Пасху ружье подарили — вот запалила бы я им всем в лоб! Я ничего не боюсь.

— А что вам на Пасху подарят? — спрашивает Лиза.

— Не знаю. Может быть, крокет. А тебе что?

— А мне подарят... тоже крокет и еще... рояль.

— Так ведь у тебя уже есть рояли.

— Есть, да еще нужно. Потом подарят карету, потом коробку сардинок с позолотой, потом подарят туфли, вышитые золотом, потом золотой гребешок и золоченую ложечку.

Счастливая Лиза! Все у нее с золотом.

— Лиза, а отчего от тебя всегда луком пахнет? И дымом.

— Это у нас такие одеколоны.

У Лены глаза стали круглые, но я-то знаю, что одеколон бывает различного запаха, разных цветов и трав. Ну, у них, значит, луковый.

— А вы к заутрене поедете? — вдруг спрашивает Лиза.

Ух, этого вопроса я и боялась. Мы ведь всю Страстную толковали о том, как будет у заутрени и какие платья нам наденут — неужто, мол, не голубые.

Я сделала вид, что не слышу, и вдруг с удивлением услышала, как Лена спокойно отвечает:

— Еще неизвестно ничего. Какая будет погода.

Вот молодчина! Я бы так никогда не сумела.

— Тетя Соня говорила, что в прошлом году была на Пасху в Архангельске и там шел снег, — поддерживаю я наше достоинство.

— А моя мама говорила, будто вас в этом году не возьмут в церковь, — очень бестактно замечает Лиза.

Входит няня. Держит на отлете выглаженные передники и с негодованием хлопает себя по бедру свободной рукой.

— Опять она на коленях! Все паголенки протерла — не наштопаешься.

«Она» — это я.

Сразу послушаться и слезть со стула невозможно. Унизительно. Я медленно, как будто сама по себе, спускаю одну ногу.

— Да слезешь ты или нет! — кричит няня. — Говори не говори, что об стену горох. Лиза, одевайся, за тобой тетка пришла.

Лиза подымается. Тут уж вполне удобно и мне слезть со стула.

Лиза повязывает голову шерстяным платком и шепчет, кося глаза на няню, чтобы та не слышала:

— У вашей няни в перине вместо пуху три миллиона золотыми деньгами натыкано. Это уже все разбойники знают.

У Лизы в темном платке лицо белое и худое, как у монашки. От слов ее страшно мне за няню. У Лены нижняя губа кривится и ходит из стороны в сторону. Сейчас Лена заревет. И Лиза быстро косит глазами на няню: молчите, мол.

Уходит.

Мы остаемся с Леной вдвоем. Молчим.

Все после Лизы делается таким особенным, таинственным и тревожным.

Вишневое деревцо зеленющими прутиками шевелит за окном, засматривает в комнату.

Одеяло на няниной постели будто шевелится. Может быть, разбойник залез туда, спрятался и золото грабит...

Любовь

Это были дни моей девятой весны, дни чудесные, долгие, насыщенные жизнью, полные до краев.

Все в эти дни было интересно, значительно и важно. Предметы были новые, люди были мудрые, знали удивительно много и хранили свои великие темные тайны до какого-то неведомого мне срока.

Радостно начиналось утро каждого долгого дня: тысячи маленьких радуг в мыльной пене умывальника, новое, легкое, светлое платьице, молитва перед образом, за которым

еще не засохли новые вербочки, чай на террасе, уставленной вынесенными из оранжереи кадками с лимонными деревьями, старшие сестры, чернобровые, с длинными косами, еще непривычные, только что приехавшие на каникулы из своего института, и хлопанье вальков на пруду за цветником, где звонкими голосами перекликаются полощущие белье бабы, и томное кудахтанье кур за купой молодой, еще мелколистной, сирени — все само по себе было ново, радостно и, кроме того, обещало что-то еще более новое и радостное.

И вот в эту весну, девятую в моей жизни, пришла ко мне моя первая любовь, пришла, прошла и ушла вся целиком — с восторгом и болью и разочарованием, как и быть полагается каждой настоящей любви.

* * *

Четыре девки в холщовых рубахах, с расшитыми наплечниками, в запасках и монистах — Ходоска, Параска, Пидорка и Хивря — пололи в саду дорожки. Скребли, чиркали лопатками свежую черную землю, переворачивали плотными маслянистыми ломтями, отдирали цепкие, трескучие, тонкие, как нервы, корешки.

Я целыми часами, пока не позовут, стояла и смотрела, и вдыхала душный сырой запах земли.

Мониста мотались и звякали, загорелые первым красным загаром руки легко и весело скользили по деревяшкам лопат.

И вот как-то вместо Хиври, белесой, коренастой, с красной тесьмой вокруг головы, я увидела новую, высокую, гибкую, узкобедрую.

— Новая, а вас как зовут? — спросила я.

Темная голова с узким белым пробором, обмотанная плотными четырехпрядными косами, поднялась, и глянули на меня из-под круглых союзных бровей лукавые темные глаза, и усмехнулся румяный веселый рот.

— Ганка!

И зубы блеснули, ровные, белые, крупные. Сказала и засмеялась, и все девки засмеялись, и мне тоже стало весело.

Удивительная была эта Ганка! Чего она смеялась!? И отчего от нее так хорошо и весело? Одета хуже, чем франтиха Параска, но толстая полосатая запаска так ловко обтягивала

узкие стройные бедра, красный шерстяной кушак так беспокойно и крепко сжимал талию, и зеленая тесемочка так ярко дрожала у ворота рубашки, что казалось, лучшего ничего и придумать было бы нельзя.

Я смотрела на нее, и каждый поворот ее гибкой темной шеи пел, как песня в моей душе. И вдруг снова сверкнули глаза, лукавые, щекотные, засмеялись и потупились.

Я удивлялась на Параску, Ходоску, Пидорку — как они могут не смотреть на нее все время и как они смеют обращаться с ней, как с равной! Разве они не видели, какая она? Да и сама она как будто думает, что она такая же, как и другие.

А я смотрела на нее недвижно, бездумно, точно сон видела.

Издалека голос позвал меня. Я знала, что это зовут на урок музыки, но не откликнулась.

Потом видела, как по соседней аллее прошла мама с двумя чужими нарядными дамами. Мама позвала меня. Нужно было подойти и сделать реверанс. Одна из дам подняла мое лицо за подбородок маленькой рукой, затянутой в душистую белую перчатку. Дама была нежная, белая, кружевная, и, глядя на нее, Ганка показалась мне грубой, шершавой.

— Она нехорошая, Ганка.

Я тихо побрела домой.

На другое утро спокойно, просто и весело пошла посмотреть, где сегодня полют дорожки.

Темные милые глаза встретили меня так же ласково и весело, как будто ничего не произошло, как будто не изменила я им из-за душистой кружевной дамы. И снова певучая музыка движений стройного тела завладела, запела, зачаровала.

За завтраком говорили о вчерашней гостье, графине Миончинской. Старший брат искренно восхищался ею. Он был простой и милый, но так как воспитывался в лицее, то должен был, говоря, растягивать слова, присюсюкивать и на ходу слегка волочить правую ногу. И здесь летом в деревне, вероятно, боясь утратить эти стигматы дендизма, немало удивлял нас, маленьких, своими повадками.

— Графиня ди-ивно хороша! — говорил он. — Она была первой красавицей этого сэ-эзона.

Брат-кадет спорил.

— Ничего не нахожу в ней особенного. Жантильничает, а у самой лапища, как у бабищи, которая коноплю мочила.

Старший облил кадета презрением:

— Qu'est ce que c'est lapicha? Qu'est ce que c'est babicha? Qu'est ce que c'est konopla?[1]

— Вот кто действительно красавица, — продолжал кадет, — это — Ганка, которая в саду работает.

— Пшш!

— Конечно, она плохо одета, но надень на нее кружевное платье да перчатки, так она этой графине десять очков вперед даст.

У меня так забилось сердце, что я даже глаза закрыла.

— Как можно говорить такой вздор? — обиделась за графиню сестра Вера. — Ганка грубая, с плохими манерами. Она, наверное, ест рыбу ножом.

Я мучилась ужасно. Казалось, что сейчас что-то откроется, какая-то моя тайна — а в чем эта тайна, я и сама не знала.

— Ну это, положим, к делу не относится, — сказал старший брат. — У Елены Троянской тоже не было гувернанток, и рыбу она ела даже не ножом, а прямо руками, и тем не менее ее репутация мировой красавицы очень прочна. Что с тобой, Кишмиш, чего ты такая красная?

«Кишмиш» — было мое прозвище, и я отвечала дрожащим голосом:

— Оставьте меня в покое... я ведь вас не трогаю! а вы все... ко мне всегда придираетесь.

Вечером, в темной гостиной, лежа на диване, я слушала, как мама играла в зале любимую мою вещь — каватину из оперы «Марта». В мягкой, нежной мелодии было что-то, что вызывало и повторяло во мне то певучее томление; которое было в движениях Ганки. И от сладкой муки, музыки, печали и счастья я плакала, уткнувшись лицом в подушку дивана.

* * *

Утро было серенькое, и я испугалась, что будет дождь и меня не пустят в сад.

---

[1] Что такое «лапища»? Что такое «бабища»? Что такое «конопла»? (*Фр.*)

Меня не пустили.

Грустно села я за рояль и стала играть экзерсисы, сбиваясь каждый раз на том же месте.

Но перед завтраком выглянуло солнце, и я кинулась в сад.

Девки только что побросали лопаты и сели полдничать. Достали обвязанные тряпками горлачи и казанки, стали есть кто кашу, кто кислое молоко. Ганка развязала узелок, достала краюху хлеба и головку чесноку, потерла чесноком корочку и стала есть, поблескивая на меня лукавыми глазами.

Я испугалась и отошла. Очень было страшно, что Ганка ест такую гадость. Этот чеснок точно отодвинул ее от меня. Непонятной и очень чужой стала она мне. Уж лучше бы рыбу ножом...

Я вспомнила, что брат говорил о «Елене Прекрасной», но не утешилась и побрела домой.

У черного крыльца сидела няня, вязала чулок и слушала, что ей рассказывает ключница.

Я услышала слово «Ганка» и притихла. Знала по опыту, что если подойду, то или меня отошлют, или разговаривать перестанут.

— Всю зиму у управляющих и прослужила. Девка работящая. Однако, замечает управляющиха, — что ни вечер у ней солдат сидит. Раз выгнала, два выгнала, каждый раз не нагоняешься.

— Известное дело, — соглашается няня, — где ж каждый раз нагоняться-то.

— Ну и ругала ее, конечно, и все. А той что — только хохочет. А под крещенье слышит управляющиха, будто Ганка в кухне все что-то переставляет, не то что. А утром рано слышит, пищит что-то. Пошла в кухню — Ганки нету, а на постели в тряпках ребеночек пищит. Испугалась управляющиха, ищет Ганку, куда, мол, она уползла, не случилось ли чего худого. Глянула в окно — ан Ганка-то у проруби босая стоит, белье свое полощет и песню поет. Хотела ее управляющиха прогнать, да жалко стало, что уж больно девка здорова!

Я тихо отошла.

Значит, Ганка знакома с простым необразованным солдатом. Ужас, ужас. И потом она мучила какого-то ребеночка.

Тут что-то уж совсем темное и страшное. Она его где-нибудь стащила и спрятала в тряпках, а когда он запищал, она побежала к проруби песни петь.

Я тосковала весь вечер, а ночью видела сон, от которого проснулась в слезах. Но сон был не грустный и не страшный, и плакала я не от горя, а от восторга. Проснувшись, я плохо помнила его и рассказать не могла.

— Снилась мне лодка, совсем прозрачная, голубая; она проплыла через стену прямо в серебряные камыши. Это были все стихи и музыка.

— Да ты чего ревешь-то? — удивлялась няня. — Лодка приснилась, так уж и реветь. Может, это еще к хорошему лодка-то.

Я видела, что она не понимает, а рассказать и объяснить я больше ничего не могла. А душа звенела, и пела, и плакала от восторга. Голубая лодка, серебряный камыш, стихи и музыка...

В сад не пошла. Было страшно, что увижу Ганку и начну думать про жуткое, непонятное — про солдата и ребеночка в тряпках.

День потянулся беспокойный. На дворе гулял ветер, гнул деревья, и те мотали ветками, и листья на них сухо кипели шумом морской пены.

В коридоре около кладовой новость: на столе откупоренный ящик с апельсинами. Это, значит, сегодня привезли из города и подадут после обеда.

Я обожаю апельсины. Они круглые и желтые, как солнце, а под шкуркой у них тысячи крошечных мешочков, налитых душистым сладким соком. Апельсин радость, апельсин красавец.

И вдруг мне вспомнилась Ганка. Она ведь не знает апельсина. Теплая нежность и жалость согрела сердце.

Бедненькая! Не знает. Дать бы ей хоть один. Да как быть? Взять без спросу немыслимо. Спросить, скажут — за обедом получишь. А унести от обеда нельзя. Не позволят либо спросят, а не то так еще и сами догадаются. Может быть, смеяться станут... Нет, надо просто взять, да и все тут. Ну накажут, не дадут больше, и все тут. Чего бояться.

Круглый, прохладный, приятный, он у меня в руке.

Как могла я это сделать? Воровка! Воровка! Ничего. Потом, потом все это разберется, а сейчас — скорее к Ганке.

Девки пололи у самого дома, у черного крыльца.

— Ганка! Это вам, вам. Попробуйте... это вам.

Смеется румяный рот.

— Це що?

— Апельсин. Это для вас.

Вертит в руке. Не надо ее стеснять.

Я побежала домой и, высунувшись через окно коридора, смотрела, что будет. Хотела пережить с ней ее удовольствие.

Она откусила кусок прямо со шкуркой (чего же я не вычистила!) и вдруг распялила рот и вся, уродливо сморщившись, выплюнула и отшвырнула апельсин далеко в кусты. Девки окружили ее, смеясь. А она все морщилась, мотала головой, плевала и вытирала рот рукавом шитой рубахи.

Я сползла с подоконника, быстро прошла в темный угол коридора и там, забившись за большой, крытый пыльным ковром сундук, села на пол и заплакала.

Все было кончено. Я стала воровкой, чтобы дать ей самое лучшее, что я только знала в мире. А она не поняла и плюнула.

Как изжить это горе и эту обиду? Я плакала сколько слез хватило. Потом, кроме мысли о моем горе, мелькнула новая:

— Нет ли за сундуком мыши?

Этот страх вошел в душу, окреп, спугнул прежнее настроение и вернул к жизни.

В коридоре встретилась няня. Она всплеснула руками.

— Платье-то, платье-то все как есть заваляла! Да ты никак опять плачешь?

Я молчала. Сегодня утром человечество не поняло моих серебряных камышей, которые мне так хотелось объяснить. А «это» — это даже и рассказать нельзя. В «этом» я должна быть одинока.

Но человечество ждало ответа и трясло меня за плечо. И я отгородилась от него, как сумела.

— Я не плачу. Я... у меня... у меня просто зуб болит.

Зеленый черт

Я волновалась целый месяц — пустят меня на эту елку или не пустят?

Хитрила, подготовляла почву: рассказывала маме о доблестях Жени Рязановой — у этой Жени елка-то и предпо-

лагалась. Говорила, что Женя очень хорошо учится, почти первая в нашем классе, что ее всегда всем ставят в пример, что она уже не девчонка, а очень серьезная женщина, ей уже шестнадцать лет.

Словом, времени не теряла, и когда в одно прекрасное утро позвали меня в гостиную примерить перед большим зеркалом белое платье с голубым кушаком, я поняла, что дело мое выиграно и на елку я пойду.

Тогда начались приготовления: вечером добывалось из нянькиной комнаты лампадное масло и мазались им брови — чтобы гуще наросли к балу. У старшей сестры был подобран выброшенный ею корсет, ушит и припрятан под тюфяк. Изучались перед зеркалом светские позы и загадочные улыбки. Родственники удивлялись — «отчего у Нади такой идиотский вид? Верно, переходный возраст — потом выровняется».

Елка была назначена на 24-е — день именин Жени.

С точки зрения эстетики — я сделала все, что могла. Хотя в распоряжении моем был только рваный корсет, но и этими небольшими ресурсами я достигла небывалого эффекта. Я так стянула себе талию, что могла стоять только на цыпочках. Я еле дышала, и выражение лица у меня сделалось умоляющее. Но радостно приносятся первые жертвы на алтарь красоты.

Нянюшке поручено было отвезти меня. Я попрощалась с домашними, уже надев шубу, чтобы не убить их своей стройностью.

Народу у Рязановых собралось много и все больше взрослые: офицеры, товарищи Жениного брата, барышни, дамы. Нас, подростков, было только трое-четверо, и на всех один кадет, так что и мы танцевали с офицерами. Это было, конечно, очень почетно, но страшновато.

За ужином, несмотря на всякие мои подвохи, чтобы присоседиться к кадету, усадили меня рядом с большим чернобородым офицером. Было ему, вероятно, лет тридцать, но тогда он казался мне отжившим и дряхлым существом.

«Вот, сиди с этим старьем, — думала я, — нечего сказать, веселый ужин!»

Офицер очень серьезно рассматривал меня, затем сказал:

— Вы — типичная Клеопатра. Прямо поразительно.

Я испуганно молчала.

— Я говорю, — продолжал он, — что вы похожи на Клеопатру. У вас в классе уже проходили про Клеопатру.?

— Проходили.

— Вы такая же царственная и такая же тонкая и опытная кокетка. Только ноги у вас не хватают до полу — но это уже деталь.

Сердце у меня забилось. Что я — опытная кокетка, я в этом не сомневалась, но как мог этот старик так сразу все заметить?

— Посмотрите, что у вас в салфетке.

Я взглянула. Из салфетки торчала розовая синелевая балерина.

— А у меня вон что.

У него был зеленый черт, с серебряным канителевым хвостом. Хвост дрожал, черт юлил на проволочке, до того веселый, до того красивый, что я даже ахнула и протянула к нему руку.

— Стоп! Его трогать нельзя. Это мой черт. У вас балерина, вы с ней и любезничайте.

Он воткнул черта в стол перед своей тарелкой.

— Взгляните, какой чудесный! Это лучшее произведение искусства, какое мне только приходилось встречать. Ну, да вы, наверное, искусством не интересуетесь. Вы — кокетка, Клеопатра; вам бы только людей губить.

— Да, ваш чертик самый красивый, — пролепетала я, — ни у кого такого нет.

Офицер деловито оглядел ужинавших. У каждого прибора сидело по синелевой фигурке — собачка в юбочке, трубочист, обезьянка. Такого черта не было ни у кого. Даже похожего не было.

— Ну еще бы! Такой черт появляется раз в эпоху. Посмотрите, что за хвостик — никто его и не трогает, а он сам дрожит. И какой веселенький!

Не надо было мне всего этого и рассказывать. Мне и без того черт нравился так, что даже есть не хотелось.

— Что же вы не кушаете? — спрашивал «старик». — Мама не велела?

Ах, как все это грубо. При чем тут мама, когда я светская женщина и ужинаю на балу с офицером.

— Нет, мерси, мне просто не хочется... я на балах всегда мало ем.

— Да? Вы себе, конечно, успели уже выработать привычку. Но что же вы не смотрите на моего чертика? Ведь недолго уже осталось вам любоваться. Вот кончится ужин, я его сейчас в карман — и домой.

— А на что он вам? — с робкой надеждой спросила я.

— Как — на что? Будет скрашивать мою одинокую жизнь. А потом женюсь и буду показывать его жене, если она будет себя хорошо вести. Ведь, не правда ли, дивный черт?

«Старый злой человек! — думала я. — Неужели ты не понимаешь, что я люблю этого веселого черта! Лю-блю!»

Если бы он не так восхищался им, я, может быть, решилась бы предложить ему поменяться — отдала бы ему свою розовую балерину. Но он, видимо, сам так был захвачен этим чертом, что и соваться нечего.

— Что это вы как будто загрустили? Жалко, что скоро конец? Что никогда в жизни вы ничего даже похожего на него не увидите? Н-да, такие встречи не часто бывают.

Я ненавидела этого жестокого человека. Я отказалась от второй порции мороженого, хотя, в сущности, хотела еще. Отказалась, потому что уж очень была несчастна. Пусть все летит прахом, не хочу никакой радости и ни во что не верю.

Все поднялись. Мой кавалер быстро отошел от стола. Чертик остался. Я подождала. Право, у меня даже мысли никакой не было. Голова не думала, думало, должно быть, одно сердце, потому что оно вдруг стало сильно и быстро стучать в верхушку тесного корсета.

Офицер не возвращался.

Я схватила черта. Серебряный хвостик упруго ударил по руке. Скорее в карман...

В зале опять начались танцы. Пригласил милый кадет. Я не решилась. Все казалось, что черт выскочит из кармана.

Я его уже не любила. Не было мне от него радости. Тревога и забота. Если бы взглянула на него, может быть, и пошла бы на все муки. А так... и к чему я это сделала. Пойти разве

подкинуть на стол? Но дверь в столовую была заперта. Там, верно, уже убирали.

— Что вы такая печальная, моя прелестная дама?

«Старик» стоял передо мной и лукаво улыбался.

— А у меня страшное несчастье. Пропал мой черт. Я в отчаянии. Хочу телефонировать в полицию: пусть сделают обыск. Может быть, среди нас находится опасный преступник.

Он улыбнулся. Ну, конечно, он шутит насчет полиции.

— Сколько вам лет? — спросил он вдруг.

— Мне скоро будет пятнадцать, через десять месяцев.

— Ого, как скоро. Значит, года через три я бы мог на вас жениться. Н-да. Если бы не пропал так необъяснимо мой милый черт. Теперь мне порадовать жену нечем. Что же вы молчите? Я, может быть, кажусь вам слишком старым?

— Сейчас нет, — уныло отвечала я. — А через три года вы уж генералом будете.

— Генералом? Вот это правильное рассуждение. А как вы думаете — где мой черт?

Я подняла на него глаза. Я так ненавидела его и так беспредельно была несчастна, что он перестал улыбаться и отошел от меня.

А я пошла в комнату моей подруги и там, спрятавшись за оконную занавеску (хотя в комнате никого не было), вытащила черта из кармана. Он слегка смялся, но не в этом дело. Он изменился. От него не было радости. Не хотелось ни трогать его, ни смеяться. Это был самый обыкновенный синелевый чертик зеленого цвета с серебристым хвостиком. Какая может быть от него радость? Как все это глупо!

Я встала на подоконник, открыла форточку и выбросила его на улицу.

В передней ждала приехавшая за мной нянюшка.

Подошел офицер, взглянул на нянюшку, усмехнулся:

— А, это за нашей царицей Клеопатрой...

И вдруг замолчал, посмотрел на меня внимательно и прибавил просто и ласково:

— Идите, идите спать, деточка. Вы совсем бледная стали. Господь с вами.

Я попрощалась и ушла спокойная и усталая.

Скучно!

Валя

Мне шел двадцать первый год.

Ей, моей дочери, четвертый.

Мы не вполне сходились характерами.

Я была в то время какая-то испуганная, нервная, либо плакала, либо смеялась.

Она, Валя, очень уравновешенная, спокойная и с утра до вечера занималась коммерцией — выторговывала у меня шоколадки.

Утром она не желала вставать, пока ей не дадут шоколадку. Не желала идти гулять, не желала возвращаться с прогулки, не желала завтракать, обедать, пить молоко, идти в ванну, вылезать из ванны, спать, причесываться, — за все полагалась плата — шоколадка. Без шоколадки прекращалась всякая жизнь и деятельность, а затем следовал оглушительный систематический рев. И тогда я чувствовала себя извергом и детоубийцей и уступала.

Она презирала меня за мою бестолочь — это так чувствовалось, но обращалась со мною не очень плохо. Иногда даже ласкала мягкой, теплой, всегда липкой от конфет рукой.

— Ты моя миленькая, — говорила она, — у тебя, как у слоника, носик.

В словах этих, конечно, ничего не было лестного, но я знала, что красоту своего резинового слоненка она ставила выше Венеры Милосской. У каждого свои идеалы. И я радовалась, только старалась при посторонних не вызывать ее на нежность.

Кроме конфет она мало чем интересовалась. Раз только, пририсовывая усы старым теткам в альбоме, спросила вскользь:

— А где сейчас Иисус Христос?

И, не дожидаясь ответа, стала просить шоколадку.

Насчет приличий была строга и требовала, чтобы все с ней первой здоровались. Раз пришла ко мне очень взволнованная и возмущенная:

— Кухаркина Мотька вышла на балконе в одной юбке, а там гуси ходят.

Да, она была строга.

Рождество в тот год подходило грустное и заботное. Я кое-как смялась, потому что очень хотела жить на Божьем свете, и еще больше плакала, потому что жить-то и не удавалось.

Валя со слоненком толковала целые дни про елку. Надо было, значит, непременно елку схлопотать.

Выписала, по секрету, от Мюра и Мерилиза картонажи. Разбирала ночью.

Картонажи оказались прямо чудесные: попугаи в золотых клеточках, домики, фонарики, но лучше всего был маленький ангел, с радужными слюдяными крылышками, весь в золотых блестках. Он висел на резинке, крылышки шевелились. Из чего он был, — не понять. Вроде воска. Щечки румяные и в руках роза. Я такого чуда никогда не видела.

И сразу подумалось — лучше его на елку не вешать. Валя все равно не поймет всей его прелести, а только сломает. Оставлю его себе. Так и решила.

А утром Валя чихнула, — значит, насморк. Я испугалась.

— Это ничего, что она на вид такая толстуха, она, может, быть хрупкая. А я не забочусь о ней. Я плохая мать. Вот ангела припрятала. Что получше-то, значит, себе. «Она не поймет»!.. Оттого и не поймет, что я не развиваю в ней любви к прекрасному.

Под сочельник, ночью, убирая елку, достала и ангела. Долго рассматривала. Ну, до чего был мил! В коротенькой, толстой ручке — роза. Сам веселый, румяный и вместе нежный. Такого бы ангела спрятать в коробочку, а в дурные дни, когда почтальон приносит злые письма и лампы горят тускло и ветер стучит железом на крыше — вот тогда только позволить себе вынуть его и тихонько подержать за резиночку и полюбоваться, как сверкают золотые блестки и переливаются слюдяные крылышки. Может быть, бедно все это и жалко, но ведь лучшего-то ничего нет...

Я повесила ангела высоко. Он был самый красивый из всех вещиц, значит, и надо его на почетное место. Но была еще одна мысль тайная, подлая: высоко, не так заметно для людей «маленького роста».

Вечером елку зажгли. Пригласили кухаркину Мотьку и прачкиного Лешеньку. Валя вела себя так мило и ласково, что черствое сердце мое оттаяло. Я подняла ее на руки и сама показала ей ангела.

— Ангел? — деловито спросила она. — Давай его мне.

Я дала.

Она долго рассматривала его, гладила пальцем крылышки.

Я видела, что он ей нравился и почувствовала, что горжусь своей дочерью. Вот ведь на идиотского паяца не обратила никакого внимания, а уж на что яркий.

Валя вдруг, быстро нагнув голову, поцеловала ангела...

— Милая!..

Тут как раз явилась соседка Нюшенька с граммофоном, и начались танцы.

— Надо бы все-таки ангела пока что спрятать, а то сломают они его... Где же Валя?

Валя стояла в углу за книжным шкафом. Рот и обе щеки ее были вымазаны во что-то ярко-малиновое, и вид ее был смущенный.

— Что это? Валя? Что с тобой? Что у тебя в руке?

В руке ее были слюдяные крылышки, сломанные и смятые.

— Он был немножко сладкий.

Нужно скорее вымыть ее, вытереть ей язык. Может быть, краска ядовитая. Вот о чем надо думать. Это главное. Кажется, слава Богу, все обойдется благополучно. Но отчего же я плачу, выбрасывая в камин сломанные слюдяные крылышки? Ну, не глупо ли? Плачу!..

Валя снисходительно гладит меня по щеке своей мягкой рукой, теплой и липкой, и утешает:

— Не плачь, глупенькая. Я тебе денег куплю.

Игнат

Утро рождественское началось и пошло как всегда.

Девочек нарядили в новые розовые шерстяные платья с оборочками и бантиками, косички напомадили душистым репейным маслом. На толстого черноглазого Мишеньку надели шелковую косоворотку с золотой пуговкой.

В таком параде пошли дети наверх по скрипучей лестнице, по новым половичкам, поздравлять бабушку. Христа славить.

Бабушка в шелковом повойнике, краснощекая, крепкая, сидела в кресле, принимала внуков, торжественно и строго.

Была бабушка когда-то красавицей, и даже раз на волжском пароходе влюбился в нее французский герцог. Как он под Казань затесался, никто этого объяснить не мог, но бабушку всю жизнь герцогом дразнили.

— Жениться собрался. Ему говорят — замужняя, а он никакого языка не понимает. Спасибо капитану — отвлек. Стал ему мигать, французу-то, мигал, мигал — тот и заинтересовался. Ну, капитан и отвлек его в буфет.

Всю жизнь дразнили. Бабушка ничего, улыбалась.

Комната у бабушки была странная: большая, но очень низкая, и вся уставлена банками, склянками, и всюду полки, а на полках кости, сушеные травы, ступки. Точно кабинет Фауста. Занималась бабушка медициной, готовила собственные лекарства и лечила все болезни вплоть до самых неизлечимых. Против детских судорог набивала она подушечки сушеными васильками, падучую лечила толчеными косточками из поросячьей головы. Какой-то казанский профессор прослышал про эти косточки и так заинтересовался, что даже сам приехал. Но бабушка секрета не сказала, так и уехал ни с чем, только в бороду себе поворчал.

Дети с благоговением смотрели на банки и кости и начинали:

«Рождество Твое, Христе Боже наш»...

Девочки пели старательно и фальшиво, сбивались, поправлялись. Толстый Мишенька повторял только «аш, аш». Еще мал был, чтобы петь.

Потом бабушка каждого гладила по масленой голове и дарила по серебряному рублю. Выходя за дверь, девочки торопливо мерили — чей рубль больше.

А внизу отец с матерью принимали поздравителей: приказчиков, служащих в лесных дачах, мелких полицейских и телеграфистов.

Прибегали и мальчишки-христославы, но их принимать было некогда, и снаряжался на это дело старый слуга Игната. Старый был Игнат и представительный. Если бы служил он в дворянском доме, назывался бы он камердинером или дворецким — такая была у него внешность — и почтительная и в то же время надменная; почтительность обращена вверх, надменность — вниз. Лысая голова, седые баки, небольшие, мохрастые.

— Баки, как у собаки! — дразнили ребятишки.

Такие баки, действительно, бывают у старых зверей — у собак, у волков, у тигров. Но как жил Игнат у купцов, у Вахромеевых, то и был он ни дворецкий, ни камердинер, а просто слуга Игнат.

Взят был мальчишкой, вырос, женился, всю жизнь в доме прожил и жену схоронил.

Жена у него была тихая, помогала по хозяйству и шила прислугам кофты. Как-то раз бежит к ней горничная: «тетенька, Марфа Петровна, что же это вы мне сшили-с»! — А что? — «Да воротник-то к рукаву пришили!» Посмотрела старуха, задумалась. — «Это, говорит, к тому, что я скоро умру». Заскучала, почернела, перестала есть, недельку пролежала и умерла.

Остался Игнат один.

А жизнь шла вся, как была налажена. Приживалка, Клавдия Антоновна, заменила старуху в хозяйстве; другая приживалка, Светоносова стала шить кофты. А Игнат на Рождестве садился в передней на пустой ларь, надев валенки, напялив шапку — холодно было в передней — и принимал мальчишек христославов. В сигарной коробке лежали медяки для награждения поздравителей. Каждый получал по пятаку. Но нужно было внимательно следить, чтобы поздравитель не сплутовал и не прибежал славить второй раз. А это было дело нелегкое. Народ шустрый, и все друг на друга похожи. В тятькиных шапках, в мамкиных платках, в братниных валенках, закутаны, завязаны, морозом нащипаны, изо ртов пар валит.

Как их разберешь?

— ...«Звездою учахуся»... — вдыхая в себя воздух, усердствует христослав, и вдруг грозный оклик:

— Постой, постой! Да ты никак второй раз. Вона заплата на валенке-то. Нагибай голову, буду за уши драть.

— Ей-богу, дяденька, первый! Стану я врать! Вон образ-то на стене.

— Нечего, нечего, уноси ноги, пока цел. Получил гривенник, ну и иди!

— Как гривенник? Ей-богу, всего пятак.

— А, вот и попался! Вот и проговорился. Ну теперь давай уши!

Мальчишка удирал, сколько позволяли тятькины валенки.

Но в это утро, в последнее Рождество, сидел Игнат как на иголках, слушал вполуха и плутов не ловил. Шевелил ежовыми бровями и шептал про себя. А из двери изредка высовывался утиный нос приживалки Светоносовой. Наблюдательно.

В парадных комнатах после приема священников и раннего обеда, на котором присутствовал сам исправник, пошли уже визитеры партикулярные: акцизные с женами, купчихи с дочками, почтмейстер с двумя свояченицами, податной инспектор, судебный пристав и многие другие, и наконец явление, какого в природе почти что и не бывает: тюремный смотритель, огромный, толстущий, туго-грамотный, борода лопатой и при всем том — прямо сказать дико — маркиз!

В зале молодежь, поставив стулья вокруг, играла в фанты, и на твердо натертом крашеном полу отражались мутными бликами розовые и голубые платья девиц.

Бабушка из важности вниз не сходила, а дамы сами поднимались по скрипучей лесенке, по новым половичкам поздравить старуху.

Старый Игнат, сняв валенки, разносил чай и наливки... Ему помогала толстенькая горничная Маша, подперши для праздника свой шестнадцатилетний бюст невероятного фасона корсетом: Маша сопела, краснела. Она не знала, как еще хозяева отнесутся к ее корсету, и вид у нее был испуганный и виноватый.

Служила она в горничных еще только первую зиму, и грандиозный рождественский прием с исправником, с акцизными в форменном платье, с воинским начальником, с наливками и апельсинами, привел ее в какое-то восторженное отчаяние. И когда в зале жена ветеринара заиграла вальс «Дунайские волны», она еле удержалась, чтобы не грохнуть поднос об пол и не зареветь.

Служила она изо всего понимания и изо всех сил.

— Маша, — сказала хозяйка, — живенько чистые рюмки! Вот еще барыни идут.

— Господи, Господи! — отвечала Маша. — И еще идут! И под всякую барыню надо чистую рюмку ставить!

И восхищение, и ужас!

Старый Игнат следил за ней украдкой, не поворачивая головы, сторожким птичьим глазом через левую баку и, передавая в коридор грязные чашки, вдруг сказал четко и вдохновенно, как говорят, гадалки:

— Молись, сирота, скоро тебе счастье будет!

Маша шарахнулась от него и наскочила прямо на утиный приживалкин нос. Приживалка покачала укоризненно головой и шмыгнула в столовую.

Ничего не понимая, Маша наскоро всплакнула, вытерла щеки чайным полотенцем и побежала мыть чашки.

К ухаживаниям дворни она привыкла и придавала им не больше значения, чем Венера Милосская направленным на нее биноклям туристов. Чистенькие ситцевые кофточки ее всегда носили на груди следы грязных пальцев — отпечаток эстетических эманаций дворника Вавилы, кучера Петра, водовоза Гаврюшки и лесных приказчиков, приезжавших к хозяину с докладам.

К этому Маша привыкла. Но странное внимание Игната, так близко к ней подошедшего и так из самой глубины своего естества дохнувшего на нее табачным перегаром, сопровождавшим таинственные слова, — это смутило Машу до трепета. Растерянная, красная, моталась она весь день, роняла ложки и била стаканы в полном отчаянии.

К вечеру гости разошлись. Хозяйка сняла парадное платье, корсет и, блаженно почесывая бока, надела теплый капот.

— Ну, слава Богу, все, кажется, хорошо, и гости остались довольны. Два пирога с земляникой съели. Очень хвалили. Я говорила, надо было три сделать.

Хозяин, никогда не споривший, сейчас же согласился, что надо было три. Он бы и на пять пошел и на десять. Никогда не спорил. Очень был тихий и робкий.

Вошла приживалка Светоносова. Вошла, потом повернулась и постучала в дверь. Она была женщина деликатного воспитания и любила это подчеркнуть.

— Войдите, войдите, Раиса Ивановна, у нас секретов нет.

— Нет секретов, — сейчас же подтвердил хозяин.

Светоносова закрыла дверь и, подойдя близко, зашептала:

— Наш-то старик уже проявлять себя начал. Давно уж мы за ним замечаем.

— Да что вы!

— Ей-богу! В коридоре, сама слышала, Машеньке всякие объяснения говорил.

— Господи! Да неужто Машеньке!

— Сама слышала. Вот так он стоял, как вы сейчас, а так она наискосок, с посудой. Я еще подумала: перебьют они хозяйские чашки.

— Что же он говорил-то?

— Говорил, как вообще... Что, мол, счастье и прочие слова.

— Ай-ай-ай! Что же теперь делать-то?

Дверь тихо приоткрылась, и вошла приживалка Клавдия Антоновна. Вид у нее был подозрительно-невинный, указывающий на то, что она подслушивала у дверей.

— Виновата, я на минутку. Я только хотела сказать, что вчера вечером проходила я мимо Игнатовой комнатушки и остановилась только дух перевести. Стою, а у него за дверью скрып-скрып — пишет что-то. А потом вдруг возгласы.

— Какие возгласы? Кто?

— Игнат возгласы делал. Про любовь. Ей-богу! Я и слушать не стала. Так совестно, ужас.

— Боже мой, Боже мой! — ахала хозяйка. — Такой старик хороший и вдруг!

— Хороший старик. Свой старик, — сокрушался хозяин, — что же мы теперь заведем?

— Надо тебе, Илья Иваныч, поговорить с ним тихо, похорошему.

Рот у хозяина от растерянности и огорчения раскрылся кругло, как у Мишеньки, когда он «аш-аш» пел.

— Как же я могу, посуди сама. Он меня маленького на руках носил. Как же я буду с ним про эдакое говорить? Не могу я! Мне совестно!

— Какой же ты после этого мужчина!

Обе приживалки как по команде повернулись и, подталкивая друг друга, вылетели из комнаты. Понимаем, мол, что пошли дела семейные. Только тихий сап за дверью показывал, что ушли они не слишком далеко...

Хозяин заморгал круглыми глазами.

— Катенька! Катерина Павловна! Ты не сердись. Ты лучше посоветуй.

— Я же тебе, друг мой, советую. Пойди и толком поговори. Зайди так, будто случайно, да и посмотри, что он там пишет и какие возгласы производит. Я что-то больше всего возгласов боюсь.

— Так, думаешь, пойти?

Вздыхали долго. Попили чаю. Еще потолковали. Потом хозяин встал, поцеловал хозяйку, та перекрестила его, и он пошел.

Игнат жил в комнатушке под лестницей. Из темного коридора видна была полоска света над его дверью. Хозяин остановился и прислушался. Сначала тихо было.

— Это я его скрипом спугнул...

И вдруг возглас, ясный и четкий. Голос Игнатов, а слова совсем неподходящие. Слова: «Клотильда моей души».

Хозяин даже ахнул. Этого никак не ждал. Сам не знал, чего ждал, но только не этого. Не Клотильды.

Постоял. Кашлянул и дернул дверь. Игнат сидел за столом, в очках и читал по тетрадке.

— Здравствуй, Игнат, — залебезил хозяин, — я вот, братец, зашел посмотреть, как ты тут устроился. Мимо шел, ну и зашел.

Игнат не выказал удивления, хотя устроился он в этой каморке ровно сорок пять лет тому назад. Он почтительно встал и подал хозяину стул, на котором сидел.

— Ты что это... того... писанием занялся?

— Совершенно верно. Списываю нужные слова из разных книжек.

— Слова? Какие же слова?

— Про любовь-с и про чувства.

Хозяин опять открыл рот кругло, как у Мишеньки, но Игнат был серьезен и деловит.

— Я, Илья Иваныч, жениться должен, а слова все забыл, которые к такому случаю. А без слов, сами понимаете, нельзя же. Вот здесь слова.

Он протянул хозяину тетрадку.

«Обоняние глаз твоих».

«Клотильда моей души».

«Горит восток зарею новой».

«Согласны ли вы разделить участь».

«За любовь мою в награду ты мне слезку подари».
«Здесь море ждет тебя широкое, как страсть»,
«Люблю тебя, Петра творенье».
«Вы забудете меня в вихре света».

Илья Иваныч бережно положил тетрадку на стол и в ужасе посмотрел на Игната. А Игнат деловито объяснял:

— Вот списываю и учу. Забыл слова, а без слов нельзя.

— Это ты на Машеньке женишься? — испуганно прошелестел хозяин.

— Совершенно верно. Она девушка работящая, молодая и здоровая. На ней и женюсь.

— Да ведь... ты не сердись! Игнат, но ты ведь уж не молодой! Как же ты так вдруг влюбился?

Игнат, забыв всякую почтительность вдруг обиженно фыркнул:

— Не понимаю я вас, Илья Иваныч. Говорить мне, старику, такие слова. Что я, дурак, что ли? «Влюбился»! Сказать про старого человека такую срамоту.

— Так как же ты женишься, коли сам говоришь, что старый?

— Так ведь не по любви же я женюсь. Я, Илья Иваныч, не дурак. Я женюсь по расчету. У меня все обдумано.

Хозяин выпучил глаза и молчал, — круглый, голова набок; так в деревне смотрит луна из-за бани...

— Теперь вот Рождество, зима преполовилась, а там гляди и весна, и потом гляди — и лето. А как мне холостому-то? У меня, скажу прямо, к летним брюкам некому пуговиц пришить. А Машенька, она за всем присмотрит. Вы думаете, зря ума? Нашли дурака. Нет — я по расчету.

Хозяин благоговейно покачал головой.

— Ишь ты какой... Я ведь не знал...

Тихонько вышел. По всему коридору на цыпочках шел. Очень уж растерялся.

Хозяйка спала. Спросила сквозь сон:

— Ну что? Урезонил старика-то?

— Нет, Катенька. Старик-то он старик, а голова у него хоть бы и нам с тобой — так не худо. Расчетливый. Завтра расскажу. Это-то голова! Такой не пропадет. Я человек не завистливый, но должен признаться... Н-да. Не всякому дано! Эдакое!

Звонари

Обещал дяденька приехать в субботу к вечеру, чтобы вместе потом разговляться, да разлив удержал, и поспел он только к четвертому дню праздника.

Приехал веселый.

Дом куропеевский встретил его радостно. Все двенадцать окон, что выходили на соборную площадь, сверкали на солнце свежевымытыми стеклами, звенели, отражая колокольный звон, и празднично сквозили на них сине-подкрахмаленные занавески.

Забрал свои кульки, вылез из тарантаса.

Дернул за звонок. Еще и еще. Чего-то долго не отпирали.

Высунулась девка, какая-то точно одурелая.

— Ась?

— Не ась, а здравствуйте.

— Ась?

— Ваши-то дома?

— Ась? Дома, дома. Пройдите в зальце.

Дяденька расчесал бороду. Вошел.

Навстречу ему выплыла сестрица Анна Егоровна с Нюточкой. У обеих уши завязаны и из повязки вата торчит.

— Здравствуй, голубчик... чмок-чмок, — воистину... Ась? Чего долго не ехал? Что? Чего?

— Да что вы — распростудились тут все, что ли?

— Чего? Ты громче говори. Да пойдем на ту сторону, ко мне в спаленку. Там все-таки легче.

— А сам-то где? — спрашивал дяденька.

Но Анна Егоровна только щурилась, жмурилась и вела его по комнатам. Нюточка за ними.

Пришли в спаленку.

Анна Егоровна развязала платок, вынула из ушей вату и паклю.

— О-ох! О-ох! Сам-то под периной и две подушки сверху навалены. Иди, Нюточка. Растолкай папеньку.

— И где вас тут угораздило простудиться-то?

— О-ох! О-ох! И не простужены мы, а звон нас донял. Четверо суток с утра до вечера гудет! Везде на Святой любителям звонить разрешается, ну эдакого, как в нашем городе, — нигде нет. Сапожник Егоров и трубочист Гвоздев. Один

гудит, другой очереди ждет. И как у них головы не треснут! Житья от них нет, хоть из дому беги!

Вышел хозяин.

— Христос воскрес! Да вот, братец, беда какая! И куда денешься? Не в трактире же мне, семейному человеку, сидеть прикажешь! Оглохли, как есть оглохли!

— А ты бы с ними поговорил, со звонарями-то с этими... Либо нажаловался бы куда.

— Да кому нажалуешься-то? Это их право. Я их, безобразников-то, уж два раза призывал. Раз по двугривенному дал, другой по полтиннику, чтобы передохнуть дали.

— Ну, и что же?

— Ну и ничего. За двугривенный полчасика, действительно, помолчали, а за полтинник так будто назло еще громче растрезвонились. Мы Глашку к ним посылали. Так они ей велели сказать, что меньше, как за восемь гривен, и разговаривать не станут. Нам, говорят, не расчет. Мы, говорят, время упустим, а там опять жди целый год.

Дяденька подумал, почесал в бороде, усмехнулся и говорит:

— Неправильно вы за дело принялись, оттого у вас так и получается. Они — народ коммерческий, смекалистый. Вы ведь что? Вы, покупатели, тишину от них купить хотите. Вот они вам цену и нагоняют. Полтинник, восемь гривен. А там, глядишь, как насядут хорошенько, так и по целковому отвалите. Неправильно вы дело поставили.

— А как же быть-то?

— Не тишину от них покупать надо, а звон...

— Да куда его, батюшка, помилосердствуй! И без того...

— Ничего вы не понимаете. Я вам за полтинник спокой куплю. Глашка! Зови сюда звонарей.

Через десять минут звонари стояли в прихожей. С черным носом Гвоздев. С красным — Егоров.

Дяденька вышел к ним.

— Здорово, ребята! Это вы так расчудесно трезвоните?

Оба носа, и черный и красный, обиженно фыркнули.

— Что же, что трезвоним?

— Мы в своих правах...

— Где ни доведись...

— И везде разрешено, а у вас вдруг не смей.

— И нигде этого не видано...

— Да что вы, братцы? — удивился дяденька. — Я вас что-то не пойму. Я вас поблагодарить позвал, потому как по соседству звоном вашим пользуюсь. Глаш-ка-а! Принеси водочки, звонарей наших любезных попотчевать. Люблю я, братцы, смерть люблю хороший благовест! Ну, и звоните же вы, прямо как по нотам! Заслушаешься! Я и нашим говорю, что это, мол, вас только сначала так укачало, а, вы, говорю, вслушайтесь как следует, так еще спасибо скажите. И что ж бы вы думали — сегодня сестрица-то говорит — а и правда приятно звонят. А Гаврила Петрович так приказал завтра с утра окна раскрыть. Мне, говорит, особливо утром приятно.

Черный и красный носы засопели смущенно.

— Пусть дадут рупь, — хрюкнул черный, — за рупь могу и совсем бросить.

— Ежели по рублю... — просипел красный.

Дяденька удивился.

— Да что вы, голубчики, за что обижаете? Я вон в прошлом году пять целковых предлагал, охотника искал у себя в Мамадыше, чтобы хорошо звонил. Не нашлось. Тренькали, да без всякого ладу. Я, братцы, вам каждому полагаю по двугривенному в день. Звоните. Только чтобы как следует. Как один, значит, отзвонил, так другой сразу за веревку. Я не жмот, а денег даром платить не люблю.

Красный нос хлюпнул. Черный поскоблился коричневым ногтем.

— Не маловато ли будет, ваша милость?

— Поищите, кто вам больше даст.

— Обидно! А когда начинать-то?

— Сегодня и начинайте. За полдня получите по гривеннику.

— Ишь, какой ловкий! Мы теперь уставши, все утро звонили, хоть по пятиалтынному дай.

— Я, братцы, тоже деньги-то не сам печатаю. Не хотите, не надо. Наше вам с кисточкой.

Дяденька повернулся и вышел.

Весь вечер была тишина.

Куропеевы благодушествовали. Раскупорили уши, заказали пирог с налимом.

Утром начался благовест.

Но к трем часам неожиданно прекратился, звонари явились для переговоров.

— Воля твоя, обижаешь ты нас. Над нами вон и ребята смеются. За двугривенный работай для него весь день!

— Что ж, братцы, так договаривались.

— Темного человека обойти легко.

— Попробовал бы сам, коли так просто.

— Всю головушку за день-то, разломит... Рука онемеет.

— Сказано двугривенный. Не хотите — не надо.

— Эдак обижать.

Ушли.

Тишина. Благодать.

— Чего это и другие-то никто не звонит?

Вечером под колокольней завопили голоса. Драка. Это звонари, сторожившие колокольню, вздули какого-то любителя, хотевшего позвонить. Никого не пускали.

— Живоглотову душу радовать не дадим.

Дежурили четыре дня с утра до позднего вечера. Никого не пустили и сами не звонили.

Когда дяденька уезжал восвояси, оба звонаря — и Егоров и Гвоздев — подошли к крыльцу, подбоченившись.

— Что? Купил дешево? Повеселил душеньку?

— Что поделаешь, ребята, — подмигивал дяденька провожавшим хозяевам. — Ничего не попишешь! Надо бы мне сразу согласиться, а я вон поскупился, а потом заупрямился. Ну, сам себя, значит, наказал. На будущий год приеду, тогда сговоримся. Не поминайте лихом!

Сирано де Бержерак

Утром обогнули маяк, и море успокоилось.

Желтое весеннее солнце сразу припекло палубу. Запахло мокрой паклей, смолой и деревом.

Из кают вылезли измотавшиеся за ночь пассажиры, щурились, радовались, рассказывали друг другу, как геройски переносили качку.

Актриса Бобратова, зеленая как плед, в который она куталась, поднялась на палубу и села спиной к солнцу — греть спину. Ее знобило после скверной ночи. Хотелось поплакать и пожаловаться — да некому.

— Не надо было ссориться с генералом. Он идиот, но во время такого ужасного путешествия был бы полезен.

Он бы раздражал ее, это верно, и делал бы все не то, что нужно. Пролил бы одеколон в чемодане и непременно именно внутри чемодана, чтобы перепортить все вещи. Намокла бы красная шаль и слиняла бы на розовое шелковое белье. А идиот уверял бы, что в красильне отчистят, хотя она уже сорок раз говорила ему, что такие пятна не выходят. Потом он... что бы он еще сделал? Занял бы каюту около самой топки, это уж конечно. Он иначе не может. Мигрень на всю ночь была бы обеспечена. А он пошел бы за кипятком и провалился бы в какой-нибудь люк, а потом корчил бы жалобные лица, что он, мол, ни в чем не виноват.

Как подумаешь, так одиночество все-таки лучше.

Она томно вздохнула.

— Машенька! Машенька! Тру-ля-ля! — запел около нее мужской голос.

Молоденький чернобровый мичман, закинув голову, глядел на верхнюю палубу, приплясывал и делал жесты, будто играет на гитаре.

— Взгляните же, Машенька, вы на меня!

Опираясь на перила тонкими загорелыми руками, смотрела на него сверху прехорошенькая румяная девушка, совсем молоденькая, в белом платье с оборочками, в чувяках на босу ногу. Голова у нее была повязана ярко-красным платочком. Она улыбалась смущенно и задорно, платочек такой был радостный на белом фоне пароходной трубы, что совсем понятно выходило, что мичман приплясывает и поет ерунду.

Машенька сложила руки рупором и закричала:

— Отвя-жи-тесь!

Пассажиры, подняв головы, смотрели на нее, улыбаясь!

— Машенька! Вы богиня нашего парохода. Все рыбы на семь миль в окружности дохнут от любви к вам. Кок говорит, что все стали тухлые. Машенька!

— Отвя-жи-тесь!

Она брыкнула ножками, сконфуженная и польщенная, и убежала.

— Кто эта барышня? — спросила Богратова.

Мичман обернулся, погасил улыбку и сказал строго:

— Дочь капитана. Мадмуазель Петухова.

Потянулся обычный пароходный день. Звонили склянки, гремела цепь, тыкались по всем углам томящиеся пассажиры.

Изредка вспыхивал на верхней палубе красный платочек.

— Машенька, Машенька! — раздавалось со всех сторон.

— Славная девчонка у нашего капитана.

— А куда такую дурочку денешь? Ни денег, ни образования.

— Жаль капитана — забот столько.

Бogratova, вялая и сонная, легла спать с семи часов вечера, но около часу проснулась и почувствовала, что больше не заснет.

В каютке было душно и скучно. Богратова накинула шаль на короткий ночной капотик, надела мягкие ночные туфли и поднялась на палубу.

Ночь была тихая, лунная. Пассажиров ни души. Все спали. Пароход скользил в луне и в море, весь легкий и белый.

Богратова пошла к носу. Перелезла через свернутые канаты, сваленные мешки и рогожи и вдруг там за мышками, на самом лунном припеке, увидела лежащую человеческую фигуру — руки разбросаны, голова жутко закинута назад — труп!

Богратова вскрикнула и юркнула за мешки.

— Машенька! — позвал труп. — Не бойтесь! Я беру лунную ванну и мечтаю о вас.

— Я не Машенька, — ответила Богратова, узнав голос утреннего мичмана.

Тот расхохотался.

— Глупенькая вы моя, Машенька! Капитанская моя дочка! Да я вас узнал прежде, чем вы ахнули. По дуновению юбочки вашей узнал, по ножкам быстрым и неслышным.

— Да уверяю же вас, что я не Машенька!

— Господи! Она, кажется, собирается меня интриговать! Я бы вытащил вас сюда, да мне шевелиться лень. И скоро на вахту. Машенька! я люблю вас.

Богратова завернулась плотнее в шаль и хотела уйти, но вместо того улыбнулась и села на рогожу.

— Да, я люблю вас, Машенька, но вам семнадцать лет и вы совсем-совсем глупая. Лета-то вам еще набегут, но поумнеете вы вряд ли. Беда!

— Однако! — усмехнулась Бogратова. — Ловко вы с вашей Машенькой расправляетесь.

— С моей Машенькой! Да-да, вы моя. Что поделаешь! Знаю вас всего неделю, а готов хоть сейчас жениться; но как я вас покажу, такую, папеньке с маменькой? Папенька у меня адмирал, маменька дама томная, рожденная баронесса Флихте фон Флихтен. Ну как я им покажу вас, милую мою капитанскую дочку!

— Послушайте, молодой человек. Вы меня совершенно не знаете. Допустим, что я действительно Машенька. Неужели вы думаете, что за две недели можно так до самого дна узнать женскую душу со всеми ее возможностями?

— Хо-хо! Как моя Машенька-то заговорила! Ну, подойдите ко мне.

— Нет, я не подойду, и если вы сделаете хоть один шаг ко мне, я сейчас же убегу, и все между нами будет кончено.

— Н-ну, ладно. Будем так говорить. Скажите мне — вы могли бы меня полюбить?

— Прежде всего, друг мой, любовь есть чувство иррациональное. Понимаете? Я не только не могу знать...

— Что-о? Как вы сказали? Ей-богу, мне показалось, что это луна говорит. Проще поверить, что луна.

— Если вы будете все время издеваться, я перестану говорить.

— Не сердитесь, Машенька, но, право, мне так странно... И отчего вы не зовете меня Костей?

— Милый друг, сейчас в этой лунной сказке вы для меня не Костя. Вы для меня собеседник. Понимаете? Собеседник с большой буквы.

— С большой бу... Машенька, а вы не спятили?

— Не будем вульгарны, друг мой. Разве вы не чувствуете, как дрожит луна в вашем сердце? Как плещут волны морские в моем? Молчите, я прочту вам дивное стихотворение. Слушайте:

Любовь — это сон упоительный...

И она тихо, но с пафосом прочла отрывок из «Принцессы Грезы». Прочла и замерла.

— Все? — спросил Костя.

— Все, — шепнула она. — Это из «Принцессы Грезы».

— А вы откуда знаете? Вы же в театрах не бывали?

— Я читала. Я люблю все прекрасное — солнце, звезды и цветы. Я люблю поэзию, я знаю наизусть всего Надсона. Я — странное, нездешнее существо. Никто не понимает меня. «Я никем не любимый цветок, я зовусь полевая ромашка» — так сказал бы про меня Бальмонт. Я никого не могу любить. Целые дни глаза мои отражают море, целые ночи — звезды. Моя душа соткана из зыбких туманов...

— Машенька! Машенька! Подойдите ко мне... мог ли я думать...

Она услышала, что он подымается.

— Не смейте! Иначе — все кончено. Слушайте, завтра в это же время я приду сюда опять, но с условием: обещайте, что весь день вы не скажете со мной ни слова и ничем не намекнете, что видели и говорили со мной ночью.

— Клянусь! Только приходите. Я раб ваш... я ничего не понимаю. Я идиот, и мне пора на вахту.

— Не двигайтесь. Я уйду прежде.

— Нич-чего не понимаю!

* * *

Богратова долго улыбалась, лежа на своей койке.

— Я заставлю его этими ночными беседами безумно влюбиться и жениться на Машеньке. Вот дивное приключение! Совсем Сирано де Бержерак. Благодаря моему уму и таланту он влюбится... в Машеньку.

Богратовой было весело.

Весь день она обдумывала, что бы такое особенно яркое сказать, что продекламировать, как себя держать.

Наблюдала — не встретится ли мичман с Машенькой. Нет, мичмана не было видно. Машенька тихо сидела на верхней палубе с книжкой на коленях и не смеялась. Мичман держал клятву.

В половине первого Богратова вышла из своей каюты и тихо, стараясь держаться в тени, полезла за вчерашние мешки. Мичмана еще не было.

— Мне плыть только двое суток. Успею ли за это время?

Прыгая через канаты, тяжело дыша, Костя пробрался мимо.

— Ау! Машенька!

— Садитесь на вчерашнее место и не двигайтесь, а то я убегу.

— Чего вы боитесь, Машенька? Я вас очень уважаю. Мне сегодня хотелось бы очень, очень серьезно поговорить с вами.

— Я вас буду серьезно слушать.

— Весь день я думал о вас. Я видел, как вы сидели с книжкой. Как мог я думать, что вы некультурная девчонка! Вы просто молодая и веселая, а ведь с вами никто и не говорил как следует. Все думают так: хорошенькая куколка — и все тут. Но какая вы сегодня были очаровательная с этой книжкой на коленях, казалось, что вы, может быть, тоже думаете обо мне и ждете ночи? Да? Да?

— Молчите! «Мысль изреченная есть ложь» — как сказал великий поэт.

— Дорогая, подождите, поговорим просто. У моих родителей есть именьице...

— О Боже мой! Не надо! Не надо! Разве об этом будем мы говорить теперь, «когда дрожат сердца струны», как поется в романсе... Когда «звезды на небе, звезды на море, звезды и в сердце моем»... Молчите! И потом — я боюсь любви. Я «безумно боюсь золотистого плена»... как сказал бессмертный Вертинский. Ах, нет, молчите, молчите!

— Да я и так молчу.

— Какая ночь! Милый, милый! В такую ночь хорошенькая Джессика... Лимоном и лавром пахнет... Это Шекспир.

— А все-таки было бы хорошо, если бы вы разрешили мне подойти к вам, взять вас за руку и сказать...

— Не смейте! Вы дали слово!..

— Мари! Дорогая! Когда я сегодня смотрел на вас, тихую, милую, с книжкой на коленях, я понял, как я люблю вас, Мари!

Бogратова забеспокоилась. Положительно этот идиот сейчас же затеет жениться, все выяснится, а плыть еще двое суток — с тоски помрешь. Только и развлеченья, что его колпачить.

— Мари! Хотите быть моей женой?

Хлоп! Готово! Теперь что же...

— Друг мой! Только не подходите. И завтра весь день опять ни слова. Ночью здесь я скажу вам все. А сейчас я хочу прочесть вам одно стихотворение. Это стихотворение посвятил мне один известный поэт, когда плыл на нашем пароходе. Слушайте:

О, если мне порой в прекрасном сновидении...

Она прочла это стихотворение Байрона и смолкла.

— Н-да-м, — сказал Костя. — Какую массу стихов вы вызубрили. А борщ варить умеете?

— Вы грубы, — проскандировала Богратова.

— Простите, но все так странно. Я предлагаю вам быть моей женой, а вы вместо ответа шпарите стихи какого-то дурака...

— Дурака! Да ведь это Байрон!

— Стало быть, Байрон на вашем пароходе катался? Ловко! Ай да барышня!

— Я... пошутила... это не Байрон. Но почему вы заговорили о... о домашнем хозяйстве? (Я не хочу говорить грубое слово... «борщ».) Точно облагораживающее влияние женщины заключается в том, чтобы угождать низменным вкусам мужа. Я поведу вас неведомыми тропами к сияющим звездам новой зари!..

— Уф! — сказал Костя.

— Что?

— Да ничего, ничего. Валяйте дальше.

Богратова помолчала, потом прочла поэму «Аспазия», потом «Письмо» Апухтина, потом «Довольно, встаньте!». Потом начала было «Разбитую вазу», как мичман вскочил.

— Слушайте, Машенька. Теперь закончим наше литературное отделение. Завтра в это же время вы придете сюда без всяких пряток — надоел этот вздор — и скажете мне человеческим языком, хотите ли вы быть моей женой. А сейчас я должен сменять вахту.

* * *

Богратова осталась немножко разочарованная.

— Грубый неуч. Эта дура, пожалуй, совсем ему под пару. Но все-таки я свое дело сделала. Он хочет, чтобы Машень-

ка, то есть я, была его женой. Не та Машенька, которую он видит, а та тонкая, дивная, благоуханная душа, которую я показала ему.

* * *

Весь день Машеньки не было видно. Мичман, злой и нервный, даже не смотрел на верхнюю палубу.

— Уж не переговорили ли они? — встревожилась Богратова. — Надо скорее кончать.

Вечером она закуталась с головою и забилась поглубже за мешки, хотя небо было облачное и луна спряталась.

Мичман был уже на своем посту и сразу услышал ее приход.

— А, вы здесь? — спросил он. — Вот что, друг мой. Я сегодня тороплюсь, и поэтому буду краток. Попрошу вас только об одном: простите меня, не сердитесь, забудьте все, что я наболтал. Выслушайте меня спокойно. Я просто был глуп и молодо влюблен в вас, в вас, хорошенькую Машеньку. Но потом, когда я во время этих ночных свиданий узнал вас по-настоящему, я понял, что мы не пара. Я, очевидно, человек простой, а у вас все какая-то мелодекламация. Родители мои люди старого уклада, имецьице маленькое — ну куда вы там со своей декламацией? Отец обидится. Я думал, вы простенькая девочка, что вас немножко отшлифовать... И, главное, — думал, что вы ужасно любите меня... Ну, Бог с вами. Тем лучше. Совесть меня не упрекнет. Я ни слова не скажу вам, будто ничего и не было. А через неделю, а то и раньше спишусь на другой пароход. Прощай, милая моя мечта, радость моя Машенька, капитанская дочка!

* * *

«Как он груб, — думала Богратова, укладываясь на свою койку. — Если бы не было противно говорить с этим идиотом, я бы открыла ему, кто я, и пусть бы женился на своей дуре. Но все это надоело. И не все ли мне равно, поженится или не поженится пара молодых идиотов!»

Она уже засыпала, как вдруг нежданно для себя почувствовала, что плачет.

Но не поняла, почему.

Сватовство

Она подмазала брови и губы, причесала волосы гладко, чтобы четко выделился профиль, и надела темно-красное платье, потому что для своей Каточки, для своей милой подружки, готова была на все.

Коренев эстет. Коренев и разговаривать не станет с вульгарно причесанной и пошло одетой женщиной.

А нужно его заставить не только разговаривать, но внимательно вслушаться в ее советы и доводы. Вслушаться и послушаться.

Она волновалась. Смотрела в зеркало, репетировала наиболее ответственные фразы.

— Вы должны это сделать! — говорила она сама себе в зеркало и властно сдвигала подмазанные брови. — Вы должны сделать Каточку своей женой. Любовь одной рукой дает нам права, а другой накладывает на нас обязанности... — Нет, положительно, лицо должно быть при этом бледнее!

Она долго и тщательно втирала пудру, подправляла кисточкой брови и снова репетировала:

— Любовь одной рукой дает права, а другой...

Теперь лучше.

Как это все трудно! Но, милая Каточка, ты можешь быть спокойна. Ты доверила свою судьбу другу умному и опытному.

Наконец!

Коренев пришел очень оживленный и немножко удивленный.

— Вы меня очень обрадовали, милая Лидочка, вашей запиской, но очень удивили обещанием какого-то серьезного разговора. В чем же дело?

Она повернулась в профиль, властно сдвинула брови и сказала твердо:

— Владимир Михайлович! Любовь одной рукой дает вам права, а другой накладывает...

— Как? — удивился Коренев. — Другой рукой накладывает?

— Не перебивайте меня! — вспыхнула Лидочка. — Другой рукой накладывает обязанности.

Коренев подумал, потом взял собеседницу за обе руки и поцеловал сначала одну, потом другую.

— Я всегда знал, что вы хорошая и серьезная женщина. Только почему вы говорите со мной, точно миссионер с эфиопом? В чем я провинился?

Лидочка растерялась.

— Нет, Вовочка, вы не провинились; только вы очень легкомысленный человек, и я боюсь за судьбу моего друга.

Лицо Коренева сделалось серьезным.

— В чем дело, Лидочка, говорите прямо. Дело идет, очевидно, о Каточке?

— Да, вы угадали. Я лучший друг Каточки. Я дала ей слово, что никому ничего не скажу. И я сдержу клятву. Вы знаете, что Каточка уехала к тетке в Киев?

— В Киев? Когда? Зачем?

— Вчера. Уехала от вас. И я поклялась, что не открою вам место ее пребывания, и я не открою.

— Да ведь вы же сказали, что она в Киеве.

— Разве? Ну, это я так, вскользь.

— Послушайте, Лидочка, не мучьте меня! Скажите мне правду — в чем дело? Уверяю вас, что для меня это очень серьезно.

Он даже побледнел. Лидочка посмотрела на него с некоторым недоумением.

«Неужели он действительно серьезно любит эту Катюшку — вертушку?»

— Извольте, я скажу вам правду, — торжественно ответила она. — Мой друг, Каточка Леженева, любит вас серьезно и искренно. На легкий флирт она не способна. Она рождена быть женой и матерью, а вы рвете ее сердце и относитесь к ней легкомысленно. И вот она решила бежать от вас и там, в уединении, или забыть вас, или...

Она зловеще замолчала. Он схватил ее за руки.

— Лидочка! Ради Бога! Что вы говорите? Ведь я же люблю ее!

— Может быть, — иронически скривила губы Лидочка. — Может быть, и любите, но не той любовью, какую заслуживает такая женщина.

— Но ведь это же недоразумение? Я люблю ее очень серьезно. Я собирался просить ее руки.

— Неужели? — совершенно некстати удивилась Лидочка.

— Да! да! я считаю Каточку очень серьезной и умной девушкой...

— Ну, относительно этого я, положим, с вами не согласна. В гимназии она еле плелась. На выпускном экзамене ответила, что Герострат был конь Александра Македонского. Нет, уж будем откровенны — умной ее никак нельзя назвать. Я могу это сказать, потому что я лучший ее друг.

— Я, конечно, не спорю, — замялся Коренев, — но у нее такая серьезная и глубокая душа, какой я не встречал у современных женщин.

Лидочка вспыхнула. Кому приятно выслушивать такие вещи?

— Серьезная, ха-ха! За новую шляпку душу продаст!

— Ну, что вы говорите! Конечно, она любит все красивое, как всякое талантливое существо.

— Это Каточка-то талантливая? Каточка, которая с трудом одним пальцем на рояле тренькает: «Мадам Лю-лю-у! Я вас люблю-у!» Как моторный гудок. Ха-ха! Ну и удивили же вы меня!

— Так вы не находите ее талантливой? — опечалился Коренев. — Что ж, может быть, вы и правы. Когда смотришь на такое очаровательное личико, как у нее, то невольно приписываешь ему какие-нибудь душевные качества. У нее очаровательная внешность. Она так выделяется между всеми своими приятельницами. Такая изящная красота! Акварельная какая-то!

Лидочка даже побледнела.

«Вот идиот какой нашелся! Прямо какой-то бешеный».

— Ну, знаете, Владимир Михайлович, можно быть смешным, но не до такой степени! У Каточки изящная красота! Конечно, когда она вымажет на себя четыре банки краски всех цветов, так трудно не сделаться акварелью. А вы бы посмотрели на нее утром, пока она не успела еще навертеть на себя фальшивые подкладки да накладки. То-то бы удивились! Мне вы можете верить. Я ее лучший друг и знаю все ее тайны.

Коренев притих и долго молчал.

— Лидия Николаевна, — сказал он наконец. — Не щадите меня, она, скажите мне всю правду — она поручила вам поговорить со мною?

— Нет!.. то есть да. Я дала слово не выдавать ее, но ведь вы же ей не скажете об этом! Это было бы неловко, раз я ее лучший друг.

— Та-ак. Значит, она все-таки любит меня? Значит, она, несмотря на свое легкомыслие и э-э-э... ограниченность, способна на искреннее и серьезное чувство, в наш век, когда женщины...

— Ах, перестаньте, Вовочка! Ну, что вы наивничаете! Каждая барышня старается так или иначе выйти замуж. Точно вы не понимаете. Каточка — мой лучший друг, и я, конечно, не позволю сказать о ней ничего дурного, но само собой разумеется...

— Позвольте, Лидочка? А как же вы намекали как будто даже на самоубийство с ее стороны. Или мне это показалось?

— Ну, конечно, показалось.

Оба помолчали. Лидочка глубоко вздохнула и сказала с печалью и состраданием:

— Ну, что же, милый друг, ведь придется вам жениться, ничего не поделаешь.

Коренев тоже вздохнул.

— Я ничего не имею против брака вообще. Боюсь только, что мы с Каточкой мало подходим друг к другу. Ну, да свет не клином сошелся.

Он ушел печальный, но спокойный.

Лидочка долго улыбалась себе в зеркало, тоже печальная, но спокойная.

— Милая Каточка! Я сделала все, что могла! Но ведь этот Коренев такой упорный идиот!

Вендетта

История, которую я хочу рассказать вам, произошла не очень давно, и люди, о которых идет в ней речь, вероятно, живы и здоровы. Может быть, вы даже встречаете их где-нибудь в обществе или на улице, или в театре, и спокойно проходите мимо, не чувствуя в них героев почти кровавой драмы.

Итак...

За Анетой Лиросовой ухаживал Мишель Серебров.

Анета была взволнована и счастлива, и только одно несколько раздражало ее: почему нельзя рассказать об этом

мужу. Она очень любила своего мужа и привыкла делиться с ним и горем, и радостью, а тут вдруг — стоп! Самого радостного и интересного как раз и нельзя рассказать. Вместо того чтобы гордиться успехом жены, он еще, чего доброго, надуется.

А погордиться было чем.

Мишель Серебров был очень интересен. Настоящий Дон-Жуан, двух мнений быть не могло.

Женщины о нем говорили:

— Нет, Мишель, конечно, некрасив, но с ним можно поговорить на серьезные темы. Он совсем не пустой и не поверхностный человек, каким кажется на первый взгляд.

Мужчины говорили о Мишеле:

— Какая у этого Сереброва наглая морда; верно, уж не раз бит.

И прибавляли:

— Парикмахер!

Все это выраженное бедным человеческим языком, в переводе на более высокий, литературный стиль означало не что иное, как:

— Дон-Жуан.

Разговаривал Мишель Серебров мало. Он больше выразительно смотрел, раздувал ноздри и изредка шептал с упреком:

— Не хорошо... не хорошо мучить. Я сегодня всю ночь не спал.

Говорил он эту фразу даже тем женщинам, с которыми только что познакомился, так что признание о бессонной ночи звучало несколько некстати, ну да не менять же из-за таких пустяков своих привычек и обычаев.

Как настоящий Дон-Жуан, Мишель никогда не называл по имени женщин, за которыми ухаживал. Это очень опасная штука: при широко поставленном деле легко можно ошибиться и спутать. А женщина, если она, например Манечка, почему-то ужасно обижается, когда любимый человек называет ее Сонечкой или Танечкой. Точно уж это такая большая разница.

Так вот, во избежание неприятностей, Мишель Серебров называл близких своему сердцу женщин или «детка», или «котка», или какими-нибудь лошадиными именами: «игрунка», «ласунка, смехуночек».

Выходило приятно и ни к чему не обязывало.

И вот Мишель Серебров стал ухаживать за Анетой Лиросовой. Ухаживал целых четыре месяца. И каждое воскресенье присылал ей большую круглую коробку с ее любимыми конфетами — пьяные вишни в шоколаде.

Бывал он у Лиросовых каждый четверг на журфиксе и каждое воскресенье на обеде. Иногда провожал Анету из театра и говорил о звездах громко и пламенно, чтобы не было слышно, как икает извозчик.

Но вот наступило воскресенье, когда Мишель не смог прийти — у него оказался спешный доклад. И наступил четверг, когда Мишель не смог прийти. У него и в четверг оказался спешный доклад. Очевидно, государственные дела были в критическом положении, если понадобилась такая экстренная помощь со стороны Мишеля.

Что ж делать. Мужчины всегда готовы все бросить ради каких-то дел. Им только свистни. Это даже в истории известно.

И Анета со злобой вспоминала братьев Гракхов, у которых еще была мать, и потом Демосфена, набивавшего себе рот камнями, чтобы лучше говорить, и Дюгена, залезшего в бочку неизвестно для чего, тоже, должно быть, для государственной пользы, а какая-нибудь несчастная ждала его и мучилась. Исторические примеры поддерживали мужество духа у тоскующей Анеты Лиросовой, но когда Мишель и во второе воскресенье и сам не пришел и даже конфет не прислал, она встревожилась, расстроилась и сделала сцену мужу, зачем тот своей вилкой полез в блюдо с тетеркой.

Вечером решила развлечься и поехала к актрисе Удаль-Раздолиной. Раздолина была немножко знакома с Мишелем, может быть, потому Анету и потянуло именно к ней.

У Раздолиной были гости — актрисы, офицеры. Мишеля не было. Но было нечто: на столе между кексом и вазочкой с малиновым вареньем стояла большая круглая коробка с пьяными вишнями в шоколаде.

Анета рассеянно поздоровалась и, не отводя глаз от коробки, долго молча сидела и чувствовала, как в мозгу ее происходит странная работа, быстрая и мелкая — словно какие-то крючки подцепляют какие-то петли, и в результате получается определенный и точный рисунок.

Анета улыбнулась самой любезной и беспечной улыбкой, и голос ее не дрогнул, когда она спросила у хозяйки:

— Ах, кто это вам преподнес такие чудесные конфеты?

Хозяйка лукаво скосила глаза и весело ответила:

— Ах, это один очаровательный Дон-Жуан!

Анета больше ничего не спросила. Она встала с места и, подойдя к хозяйке, строго сказала:

— Пойдем, мне надо поговорить.

Изумленная Удаль-Раздолина повела ее в свою спальню.

Там Анета, повернув к лампе растерянное лицо Раздолиной и положив обе руки ей на плечо, сказала твердо:

— Отвечайте мне всю правду. Конфеты от Мишеля?

— Нет, то есть да, — честно ответила Раздолина.

— Вы говорите: «коткой» называл?

— Нет... то есть да, — лепетала Раздолина.

— Руку вот тут, около пульса, усами щекотал? В декольте дул? Говорил, что мучить не хорошо?

— Ах да... то есть да...

— Показывал Большую Медведицу? Ноздри раздувал? Говорил, что ночь не спал?

— Да... да... — трепетала Раздолина. — Да... дул... в Медведицу... ни одной ночи не спал...

Анета отпустила ее плечи, повернулась и вышла.

Вышла, села за чайный стол, придвинула к себе коробку с пьяными вишнями и стала есть.

— Не правда ли, вкусные конфеты? — деланно-светским тоном спрашивала взволнованная хозяйка.

— Недурны! — мрачно отвечала Анета и продолжала есть.

Хозяйка явно начинала беспокоиться.

— Марья Николаевна, — обратилась она к своей соседке, комической старухе из их труппы, — может быть, и вы попробуете этих конфет!

— Мерси, я...

— Они очень вкусные, — громко сказала хозяйка, чтобы обратить на себя внимание Анеты.

— Недурны, — мрачно буркнула та и продолжала есть.

Она ела быстро, сосредоточенно и звонко выплевывала косточки на тарелку. Лицо ее пылало. Глаза горели злове-

щим огнем. Все притихли и, молча переглядываясь, смотрели на нее затаив дыхание.

На лице хозяйки быстро сменялись отчаяние и злоба.

— Иван Николаевич! — дрожащим голосом обратилась она к одному из офицеров. — Передайте, пожалуйста, нам с Марьей Николаевной эту коробку.

Офицер любезно осклабился, подошел к Анете, встал за ее стулом и позвякал шпорами. Больше, как благовоспитанный молодой человек, он ничего сделать не мог. И застыл в почтительной позе.

А Анета ела и ела.

Она съела все до последней вишни... Потом встала спокойная, гордая, взяла салфетку, вытерла губы, как убийца вытирает кровь с кинжала — с улыбкой холодной и жуткой. Сверкнула торжествующим взглядом и медленно вышла из комнаты.

Вендетта!

Нелегкая

Это было самое страшное святочное приключение, какое когда-либо доводилось мне слышать.

А тут вдобавок, очевидно, не без содействия самого дьявола, мне пришлось даже сыграть некоторую роль, быть не последней спицей в этой сатанинской колеснице.

Постараюсь рассказать все подробно и, насколько могу, спокойно.

* * *

Семейство Федоровых состояло из мужа и жены, милых и веселых молодых супругов.

Я у них бывала редко и почему-то (вот здесь-то, по-моему, не без дьявола) вспомнила о них именно под рождественский сочельник двадцать третьего декабря. Мало того, что вспомнила — решила пойти посидеть у них вечером.

Зачем мне это понадобилось — до сих пор понять не могу. Просто, выражаясь красочным народным языком, «понесла меня к ним нелегкая», а раз человека несет, то роль его не активная, а пассивная, и никаких причин и аргументов от него требовать не полагается.

Принесло меня к Федоровым довольно поздно, и я не застала их дома, а горничная очень настоятельно просила меня подождать.

— Барыня телефонировала, что обязательно к половине двенадцатого дома будут, а потом барин телефонировали, дома ли барыня, и обещали, что очень скоро придут.

Я решила вернуться домой, но та самая «нелегкая», которая понесла меня к Федоровым, очевидно, не хотела выпустить меня из рук, пока не добьется своего. Она заставила меня снять пальто, понесла в гостиную, забила в мягкий угол дивана, завалила под спинку подушку и сунула в руки альбом с хозяйскими тетками.

На девятой тетке раздался звонок, и влетела оживленная, раскрасневшаяся хозяйка.

— Ах, дорогая моя, как хорошо, что вы пришли! Мы сейчас будем пить чай. Мужа еще нет? Знаете — теперь прямо му́ка достать из театра извозчика. Я так боялась, что опоздаю, бежала как сумасшедшая. Я красная?

— Чего же вы так торопились? — удивлялась я.

— Как же! Мне не хотелось, чтобы вы меня ждали.

— А почем же вы знали, что я приду? — еще больше удивилась я.

Она смущенно засмеялась.

— Ах, это я так... все путаю. Мне просто хотелось скорее домой; думаю про вас — вдруг она зайдет? Не заходит, да вдруг и зайдет. Что, я очень растрепанная?

Минут через десять влетел муж. Тоже розовый, тоже оживленный и так же неистово обрадовался, увидев меня, и так же принялся разделывать извозчиков.

— Сущая беда с ними! Если бы я не был таким страстным театралом, ни за что бы не ходил по театрам. Сущая мука! Сегодня, например, пришлось из театра пешком бежать. А ты, Лизочка, дома была?

— Да, я была дома, — начала было Лизочка, но, взглянув на меня, быстро затараторила, — то есть... что я все путаю... Я сама только что пришла. Я была в балете.

— В каком балете? — вяло полюбопытствовала я.

— В этом... как его... знаете еще где цветок, а потом танцуют... Чудесный балет. Я обожаю балет «Корсар», «Дон-Кихот». Я знаю наизусть прямо каждое па. А ты, Жорженька, где был?

— А я, сама знаешь, неисправимый меломан. Опять был в опере.

— А что там шло?

— Да опять этот... чуть ли не в двадцатый раз слушаю и наслушаться не могу. Прелесть! Сплошное очарование! Как возьмет свое верхнее ля, так из меня слезы в три ручья. Ей-богу, сегодня опять рыдал, как ребенок.

— Да какая опера-то шла? — тускло, без интереса напирала я.

— Ну, конечно же, этот... «Евгений Онегин»... Лизочка, ты бы нам чаю дала. Правда, прелесть моя Лизочка! Носик розовый! Лизочка, наморщи носик, я его поцелую!

— Ах, перестань, Жорженька! Ну какой ты, право! Знаете, я его называю электрическая целовалка: «чмок-чмок». Вечно ему целоваться. Я, может быть, сама хочу тебя поцеловать! Хи-хи!

— Подождите, — мрачно остановила я. — Вы лучше расскажите, кто сегодня пел?

Сама не знаю, какое мне до всего этого было дело. Ну, не все ли равно, кто пел. Все равно — попел и перестал. Да и не любопытно мне совсем...

— Кто пел, — засуетился Жорженька. — Сейчас я вам расскажу. А ты, Лизочка, беги насчет чаю. Беги, беги, нечего, нечего! Кто пел! Вас интересует, кто пел? А разве вы тоже любите музыку? Вот, никогда бы не подумал. А я, знаете, обожаю музыку.

— Кто пел сегодня? — мрачно перебила я.

— Я же вам сказал: «Евгений Онегин». Чудесный состав. А вот и Лизочка. Идемте чай пить.

— Так кто же наконец пел? Или вы от меня почему-нибудь это скрываете?

Он испуганно взглянул на меня и вдруг забормотал скороговоркой:

— Ну да, как всегда, в Мариинской опере... Евгения... Евгения пел Тартаков, а Онегина Збруева. Лизочка, мне, пожалуйста, с лимоном. Какая ты сегодня розовая, Лизочка! Весело было в театре?

— Ах да! Я обожаю балет.

— А кто сегодня танцевал? — мрачно вела я свою линию.

— Да эта... знаете, такая воздушная... Егорова. Я обожаю Егорову.

— А какой же это балет был?

Но хозяйка не ответила. Ей показалось, что звонит телефон, и она убежала в кабинет мужа. Когда она вернулась, я повторила свой вопрос, но она вдруг захохотала.

— Жорженька, миленький! Расскажи тот анекдот, который ты вчера рассказывал. Помнишь про армянина?

Но Жорженька ничего не помнил, и она сама рассказала старый дурацкий анекдот и так неестественно весело при этом хохотала, что я прямо из чувства деликатности перевела разговор на другую тему и спросила:

— А какой сегодня шел балет в Мариинском театре?

— «Лебединое озеро», можно вам еще чаю, вот это варенье очень вкусное, я его сама варила только у Абрикосова, а у Балабухи такого нет, не переводя дыхания отбарабанила она.

— Мерси, — отвечала я с достоинством. — Я еще не выпила своей чашки. Подождите, я что-то никак не могу понять... Георгий Иванович был в Мариинском театре и видел «Евгения Онегина», а Лизавета Петровна в тот же вечер там же видела балет! Как же это может быть?

Они почему-то долго молчали. Только нос у Георгия Ивановича странно побелел, а у Лизаветы Петровны щеки раздулись, покраснели и задрожали...

— Оч-чевидно, — залепетала она, — был сборный спектакль...

— Ну да, конечно, — воскликнул муж и даже вскочил с места. — Разве вы не знаете. Это очень часто бывает... в пользу инвалидов.

— Да-да! — улыбнулась хозяйка. — Ну, конечно же, в пользу инвалидов. Только я оперы не люблю и просидела только балетное отделение. Перейдем в гостиную, вы нам что-нибудь споете.

— Спасибо, я не пою.

— Отчего же?

— Голоса нет.

— Ну, при своих можно. А у нас завтра елка будет.

— Да, да! — веселился муж. — Лизочка у меня маленькая, и я ей на елочку подарю розочку.

— Сам бяка! — резвилась Лизочка.

— Позвольте! — остановила я. — Завтра, значит, сочельник?

— Ну да, конечно! Сочельник, сочельник, тра-ля-ля-ля!

— Так в каком же вы, позвольте вас спросить, Мариинском театре были, когда под сочельник все театры закрыты? А? Все до одного. Не то что казенные, а даже частные, и те все закрыты. А?

Я больше не видела их, — милых и веселых супругов Федоровых, но никогда не забуду странные лица, которые были у них обоих, когда «нелегкая», сделав свое дело, натягивала на меня шубу и уносила домой.

Лица эти долго будут вспоминаться мне в темную рождественскую ночь, когда вьюга стучит в окно, как запоздалый путник, просящий ночлега.

Жутко!

Кокаин

Шелков и сердился, и смеялся, и убеждал — ничто не помогало. Актриса Моретти, поддерживаемая своей подругой Сонечкой, упорно долбила одно и то же.

— Никогда не поверим, — пищала Сонечка.

— Чтобы вы, такой испорченный человек, да вдруг не пробовали кокаину!

— Да, честное же слово! Клянусь вам! Никогда!

— Сам клянется, а у самого глаза смеются!

— Слушайте, Шелков, — решительно запищала Сонечка и даже взяла Шелкова за рукав. — Слушайте — мы все равно отсюда не уйдем, пока вы не дадите нам понюхать кокаину.

— Не уйдете! — не на шутку испугался Шелков. — Ну, это знаете, действительно, жестоко с вашей стороны. Да, с чего вы взяли, что у меня эта мерзость есть?

— Сам говорит «мерзость», а сам улыбается. Нечего! Нечего!

— Да кто же вам сказал!

— Да мне вот Сонечка сказала, — честно ответила актриса.

— Вы? — выпучил на Сонечку глаза Шелков.

— Ну да, я! Что же тут особенного? Раз я вполне уверена, что у вас кокаин есть. Мы и решили прямо пойти к вам.

— Да, да. Она хотела сначала по телефону справиться, да я решила, что лучше прямо прийти, потребовать, да и все тут. По телефону вы бы, наверное, как-нибудь отвертелись, а теперь — уж мы вас не выпустим.

Шелков развел руками, встал, походил по комнате.

— А знаете, что я придумал! Я непременно раздобуду для вас кокаина и сейчас же сообщу вам об этом по телефону, или, еще лучше, прямо пошлю вам.

— Не пройдет! Не пройдет! — завизжали обе подруги. — Скажите, какой ловкий! Это чтоб отделаться от нас! Да ни за что, ни за что мы не уйдем. Уж раз мы решили сегодня попробовать — мы своего добьемся.

Шелков задумался и вдруг улыбнулся, точно сообразил что-то. Потом подошел к Моретти, взял ее за руки и сказал искренно и нежно.

— Дорогая моя. Раз вы этого требуете — хорошо. Я вам дам попробовать кокаину. Но пока не поздно — одумайтесь.

— Ни за что! Ни за что!

— Мы не маленькие! Нечего за нас бояться.

— Во-первых, это — разрушает организм. Во-вторых, вызывает разные ужасные галлюцинации, кошмары, ужасы, о которых потом страшно будет вспомнить.

— Ну, вот еще, пустяки! Ничего мы не боимся.

— Ну, дорогие мои, — вздохнул Шелков, — я сделал все, что от меня зависело, чтобы отговорить вас. Теперь я умываю руки и слагаю с себя всякую ответственность.

Он решительными шагами пошел к себе в спальню, долго рылся в туалетном столе.

— Господи! Вот не везет-то! Хоть бы мелу кусочек, что ли, найти.

Прошел в ванную. Там на полочке увидел две коробки. В одной оказался зубной порошок, в другой борная. Призадумался.

— Попробуем сначала порошок.

Всыпал щепотку в бумажку.

— Он дивный человек! — шептала в это время актриса Моретти своей подруге Сонечке. — Благородный и великодушный. Обрати внимание на его ресницы и на зубы!

— Ах, я уже давно на все обратила внимание.

Шелков вернулся мрачный и решительный. Молча посмотрел на подруг, и ему вдруг жалко стало хорошенького носика Моретти.

— Мы начнем с Сонечки, — решил он. — Кокаин у меня старый — может быть, уже выдохся. Пусть сначала одна из вас попробует, как он действует. Пожалуйста, Сонечка, вот прилягте в это кресло. Так. Теперь возьмите эту щепотку зубного... то есть кокаину — его так называют «зубной кокаин», потому что... потому что он очень сильный, Ну-с, — спокойно. Втягивайте в себя. Глубже! Глубже!

Сонечка втянула, ахнула, чихнула и вскочила на ноги.

— Ай! отчего так холодно в носу? Точно мята!

Шелков покачал головой сочувственно и печально.

— Да, у многих начинается именно с этого ощущения. Сидите спокойно.

— Не могу! Прямо нос пухнет.

— Ну, вот. Я так и знал! Это начались галлюцинации. Сидите тихо. Ради Бога — сидите тихо, закройте глаза и постарайтесь забыться, или я ни за что не ручаюсь.

Сонечка села, закрыла глаза и открыла рот. Лицо у нее было сосредоточенное и испуганное.

— Давайте же и мне скорее! — засуетилась актриса Моретти.

— Дорогая моя! Одумайтесь, пока не поздно. Посмотрите, что делается с Сонечкиным носом!

— Все равно, я иду на все! Раз я для этого пришла, уж я не отступлю.

Шелков вздохнул и пошел снова в ванную.

— Дам ей борной. И дезинфекция, и нос не вздуется.

— Дорогая моя, — сказал он, передавая актрисе порошок. — Помните, что я отговаривал вас.

Моретти втянула порошок, томно улыбнулась и закрыла глаза.

— О, какое блаженство!

— Блаженство? — удивился Шелков. — Кто бы подумал! Впрочем, это всегда бывает у очень нервных людей. Не волнуйтесь, это скоро пройдет.

— О, какое блаженство, — стонала Моретти. — Дорогой мой! уведите меня в другую комнату... я не могу видеть, как Сонечка разинула рот... Это мне мешает забыться.

Шелков помог актрисе встать. Она еле держалась на ногах и если не упала, то только потому, что вовремя догадалась обвить шею Шелкова обеими руками.

Он спустил ее на маленький диванчик.

— О, дорогой мой. Мне душно! Расстегните мне воротник... Ах! Я ведь почти ничего не сознаю из того, что я говорю... Ах, я ведь в обмороке. Нет, нет... обнимите меня покрепче... Мне чудится, будто мимо нас порхают какие-то птички и будто мимо нас цветут какие-то васильки... Здесь пуговки, а не кнопки, они совсем просто расстегиваются. Ах... я ведь совсем ничего не сознаю.

* * *

Сонечка ушла домой, не дождавшись подруги, и оставила на столе записку:

«Спешу промыть нос. Нахожу, что нюхать кокаин — занятие, действительно, безнравственное. *Соня*».

* * *

На другое утро актриса Моретти пришла к Шелкову, решительная и официальная.

Шелков встретил ее светски-вежливо и любезно.

— Очень рад, милый друг. Какими судьбами...

— Милостивый государь! — строго прервала его актриса. — Я пришла вам сказать, что вы поступили непорядочно.

— Что с вами, дорогой друг? — наивно поднял брови Шелков. — Я вас не понимаю.

— Не понимаете? — фыркнула Моретти. — Так я вам сейчас объясню! Вы поступили низко. Вы знали, какое действие производит кокаин на нервных женщин, и все-таки решились дать мне.

— Ах, милый друг, ведь я же вас предупреждал, что это — пренеприятная штука. Вы же сами требовали.

— Да, но вы-то должны были вести себя иначе! Воспользоваться беспомощностью одурманенной женщины, — так порядочные люди не поступают.

— Позвольте! Что вы говорите? — снова удивился Шелков. — Я ровно ничего не понимаю. Что я сделал? В чем вы упрекаете меня?

Моретти покраснела, замялась и продолжала уже другим тоном:

— Вы целовали меня и... обнимали... Вы не имели на это никакого права, зная, что я в бессознательном состоянии. Так обращаться с порядочной женщиной без намерения на ней жениться, это — подло! Да!

Шелков оторопел, посмотрел ей прямо в глаза и вдруг весь затрясся от смеха.

— Почему вы смеетесь? — краснея, чуть не плача, лепетала Моретти.

— Ах, дорогая моя! Уморили вы меня! Ну, можно ли так пугать? Все ужасы, которые вы сейчас рассказываете, не что иное, как галлюцинация! Самая обычная галлюцинация, вызванная кокаином.

Моретти притихла и испуганно смотрела на Шелкова.

— Вы думаете?

— Ну, конечно! И чудачка же вы! Вы тут тихонько сидели на диванчике и бредили о каких-то поцелуях не то пуговицах, я толком не разобрал, да, признаюсь даже, не считал порядочным вслушиваться. Мало ли что можно сказать в бреду. Посторонние не должны этого знать.

Моретти слушала с открытым ртом и, только уходя, приостановилась в дверях и смущенно спросила:

— А скажите... бывают от кокаина такие галлюцинации, когда человеку кажется, что он притворяется, что у него галлюцинация?

Шелков дружески хлопнул ее по плечу и сказал весело:

— Ну, конечно! Сплошь и рядом! Это самый распространенный вид. Даже в науке известно. Можете справиться у любого профессора.

Моретти вздохнула, посмотрела внимательно в честное открытое лицо Шелкова, закрыла рот и вышла задумчивая, но спокойная.

Монархист

Телеграфист Ванин праздновал Первое мая. Болтался целый день по улицам, кричал «ура», кричал «долой», ел на Сенной жаренные в сале пирожки, пел «Марсельезу» и только к вечеру, изнеможденный и пьяный от весны, радости и сво-

боды, уговорил себя вернуться домой. Долг гостеприимного хозяина заставлял его наведаться, что поделывает Хацкин.

Хацкин последнее время беспокоил Ванина. Почему Хацкин стал такой угрюмый? Целый день сидит, молчит и только ногой трясет, так что на комоде графин звякает.

Приехал Хацкин из местечка Либеровичи хлопотать о делах, а кстати купить новые сапоги. Хлопотал, суетился, волновался, бегал в участок, стоял в хвосте у «Скорохода» и давал взятки дворнику. Потом хлынула широкая волна революции, смыла все хацкинские начинания, а его самого оставила на мели.

Сначала Хацкин радовался, удивлялся, прохаживался мимо дворника с самым беспечным и легкомысленным видом, нарочно, чтобы тому тошно было. А потом вдруг стал задумываться и завял. Расшевелить бы его как-нибудь, да все некогда было. Ванин поднялся по узенькой черной лестнице.

Дверь его каморки была приоткрыта, значит — Хацкин дома.

Да, Хацкин был дома. Он стоял в тумане осевшего сизыми пластами папиросного дыма, смотрел в окно и тряс ногой, так что на комоде тихо позвякивал стакан, надетый на графин вместо пробки.

— Хацкин! — громко и весело крикнул Ванин и сам почувствовал, как голос этот не идет к тихому, сизому дыму, к печальному звяканью стакана, к унылой фигуре с большими мягкими ушами, висящими с двух сторон узкого затылка.

— Хацкин? — повторил Ванин уже тихо и медленно. — Чего вы такой? А?

Хацкин не оборачивался.

— А? Дело не ладится? Подождите, все устроится. Вы бы хоть прогулялись. На улице-то как весело! Праздник.

Хацкин нервно дернул плечом.

— Садитесь, Хацкин, чаю попьем.

Хацкин повернулся.

— Знаете, Ванин, должен я вам сказать прямо, чтобы вы тоже прямо знали, с кем имеете дело!

— Да что вы, Хацкин! Я же вас еще по школе знаю! Чего вы рекомендоваться вдруг вздумали?

Хацкин подошел к столу, решительно опустился на стул, закинул ногу на ногу и заложил руку за борт пиджака.

— Слушайте и знайте, — сказал он. — Я — монархист.

— Как-с? — испуганно квакнул Ванин.

— Мо-нар-хист!

Он пошевелил пальцами в дырявом сапоге так, что дыра на нем на минуту раздвинулась и позволила увидеть носок неизъяснимо-бурого оттенка.

— Господи, что это такое? — заерзал на стуле Ванин. — Как же это вы так-то? Ничего не понимаю.

Хацкин скривил рот в едкую усмешку.

— Так оказалось. Разве я сам это знал? Что я о себе думал. Думал, что я так себе, обыкновенный паршивец, а я вот...

— Уфф! Господи ты Боже мой! Да вы хоть объясните, а то я, извините меня, ничего не понимаю. Что же вас в старом строе прельщает? Вы же вдобавок и еврей, угнетенная нация.

Хацкин развел руками.

— А вот подите! Я вам скажу, только вы на меня не сердитесь: я очень люблю царственную пышность.

— Хацкин! Да опомнитесь! Ну, какую же вы царственную пышность видали? Участок вы видали, а не пышность.

Хацкин покачал головой мечтательно и грустно.

— Людовик Четырнадцатый... мантия из чистейшего горностая, носовой платок из чистейшей парчи, и негр дает чего-нибудь прохладительного. А все кругом боятся... от страха даже глаза жмурят, так им худо, чтобы он, упаси Бог, не убил кого.

— Черт знает, что он говорит, — удивлялся Ванин. — Да какого вы Людовика видали?

Хацкин развел руками в горьком недоумении.

— Вот подите.

Оба выпучили друг на друга глаза. Наконец Ванин сердито фыркнул и встал.

— Извините меня, Хацкин, но мне в настоящее время даже разговаривать с вами неудобно. Вы приверженец старого строя, и я должен отряхнуть ваш прах с моих ног.

— Что там мой прах! — уныло усмехнулся Хацкин. — Пусть мой прах пропадает. Я и не претендую, чтобы он находился на ваших ногах.

И он вздохнул так горько, что у Ванина даже возмущение погасло.

— Безумный вы человек, Хацкин. Мало вас по участкам тиранили.

— А когда я люблю пышность.

— Какая там у вас в Либеровичах пышность была? Я вот сколько лет в столице живу, а и то меня ни разу во дворец не пригласили. Видел раз на набережной, какой-то длинный офицер с прыщом на носу прошел. Потом говорили, будто это великий князь, да и то не наверное. А потом еще видел во сне старую государыню — пришла ко мне чайку попить и сухарей принесла. И такая мне потом в этот день неприятность была, что до сих пор помню. Вернейшая, говорит, примета, как царскую фамилию во сне увидишь, так и жди скандала.

— Людовик Пятнадцатый, — тихо вздохнул Хацкин и покачал головой, точно вспомнил о дорогом покойнике.

— Теперь уж Пятнадцатый? Давеча скулили о Четырнадцатом. В номерах путаетесь. Сами не знаете, чего хотите, Хацкин. Ну, будьте благоразумны. Ну, какой Людовик вас к себе пустит, будь он хоть распродвадцатый? Сапоги у вас дрянные, право жительства по старому строю не имеете. Да вы и разговаривать-то по-людовиковски не умеете. Уж вы не обижайтесь.

— Пусть не умею!

— Значит, вам неприятно, что теперь воцарилась справедливость и один класс не будет угнетать другой?.. А? Неприятно?

Хацкин упрямо и горько молчал.

— Значит, вам неприятно? Ну, ладно, раз вам неприятна справедливость, я могу вам предложить следующий государственный строй; до сих пор кучка капиталистов и прочих буржуев, пользуясь привилегированным положением, угнетала народ. Теперь я вам устрою наоборот; весь народ (капиталисты буржуи будут обессилены, и жало из их пасти будет выдернуто, так что они тоже примкнут к народу) — итак, весь народ будет пользоваться привилегиями и угнетать только одного человека — вас, Хацкин. Вы один будете угнетаемы, потому что вы один не желаете справедливости на земле. Хотите так?

Ванин остановился в снисходительно-выжидательной позе, и ясно было, что он ждал только ответа Хацкина, чтобы моментально и бесповоротно установить раз навсегда государственную форму России.

Хацкин понял это. Печальное лицо его приняло выражение растерянное и жалкое.

— Я знаю, Ванин, я, может быть, всецело в вашей власти. Пусть так.

И вздохнув, прибавил уныло, но твердо:

— А когда я люблю пышность!

Ванин молча взял фуражку и направился к выходу. У дверей он обернулся.

Хацкин смотрел на него с безнадежным отчаянием и тряс ногой. Тихо звенел графин на комоде.

PbLG

Не говори: «отчего это прежние дни были лучше теперешних?», потому что не от мудрости ты спрашиваешь об этом.

Екклесиаст 7:10.

Рысь бегает рысью

Из справочника

Башня

Нам давно даны эстетические директивы: не любить Эйфелеву башню.

Она пошлая, она мещанская, она создана только для того, чтобы épater le bourgeois[1], она — не знаю что, она — не помню что, но — словом, ее любить нельзя. Я очень покорная. Нельзя так нельзя. И первые дни моего пребывания в Париже не только не обращала на нее внимания, но, случайно завидев издали, отворачивалась и делала вид, что ничего не заметила.

— Это там, где Эйфелева башня, — объяснял мне кто-то свой адрес.

— Не потребуете ли вы и в самом деле, чтоб я ориентировалась по этой четырехлапой дурище?

Эйфелева башня для меня не существовала.

Вид ее меня раздражал. Она так не ладится, так не вместе со всем городом! Точно перечница из великаньего царства, всунутая в лилипутский городок, резной, бумажный, хрупко склеенный. Может быть, у себя в великаньем царстве она и была вещица хоть куда, а тут урод уродом, и не «прижилась» за десятки лет, не стала своей, а торчит чужая и неладная.

Не полюбила я ее. Как было приказано эстетическим декретом, так и не полюбила.

* * *

Возвращаясь поздно вечером, мы сели на скамеечку в Трокадеро.

---

[1] Эпатировать буржуа (*фр.*).

Посмотрели на небо.

Ночью мы всегда смотрим на небо. Днем мы его не видим. Днем оно маленькое, серое, сдавленное, перерезанное трубами, крышами, столбами, проволоками. Ночью — всегда большое, как бы ни было мало́ видимое нами пространство. Мы чувствуем его, огромное, прозрачное и подымаем к нему глаза.

Нам, русским, почему-то всегда кажется, что мы должны отыскать Большую Медведицу. На что это нам — сами не знаем, но ищем озабоченно, деловито крутя шеей и тыча пальцем в созвездие Ориона.

Почему стараемся — никому неизвестно. Может быть, потому, что жутко ночное небо и хочется поскорее найти на нем старых знакомых, чтобы не чувствовать себя чужим и одиноким.

Глядя на звездное небо, всегда думаешь о бесконечном пространстве, о вечности — о смерти и одиночестве.

— Помилуйте, сударыня, какое тут одиночество, тут столько знакомых. Разрешите — я вам назову фамилии: вот Сириус, вот Кассиопея, а вот и Большая Медведица, ее все знают, она живет с этим, как его...

— Тссс... не говорите об этом по-русски — elle comprend.

Отсюда с горы виден весь город.

Он плоский, чуть зыбиться, поблескивая как озеро в тумане. Над ним прозрачная ночная пустота, а над ней луна.

Луна сегодня не одна. Около нее огромная черная тень уперлась в землю раскосыми ногами, поднялась узкой кружевной верхушкой и цедит на луну круглые, дымные облака. Луна бежит, крутится, отбивается, золотая, веселая, видно, что играет. А город весь внизу со своими трубами и проволоками, весь плоский и туманный. Он совсем отдельно. Над ним пространство. Наверху высоко, только этих двое — луна и черная тень. Башня.

Мелькнула искра в черной четкой резьбе и глубоко, в самом сердце башни, ударил звонкий молоточек.

— Дзинь раз! Дзинь два... четыре... восемь... двенадцать! Двенадцать часов.

— Африка!.. Америка! Север, Юг, Запад, Восток! Слышите?

Она, черная башня, сказала вам, что сейчас полночь!

Они слышат. Все аппараты всего земного шара слышали ее звон и отметили. Теперь вот в эту минуту на всем земном шаре стало двенадцать часов.

Заплыла за темное облако, спряталась луна. Если бы у нее были часы, она бы тоже отметила.

* * *

Несколько лет тому назад была я в Соловецком монастыре.

Крутил вокруг острова злой ветер, тряс соснами, гудел скалами, плевал морской пеной до самой колокольни — не давал плыть домой.

Чайки сбились на монастырском дворе, кричали — лаяли, тоскливо и злобно, стерегли своих детенышей. А по длинным монастырским коридорам бродили богомольцы, крутили бородами на стенную роспись, вздыхали над черным дьяволом с красным пламенем, веником торчащим изо рта, и, отойдя в уголок, расправляли мятые ассигнации — заготовленную жертву, — с крутой думой: хватит али подбавить, — очень уж этот с веником грозен.

Стояли пестрой птичьей стаей поморки-богомолки, в зеленых, в розовых, в лиловых платьях, все светлобровые, с русалочьими чаечими глазами: круглые, желтые глаза, с черным ободком и узким, черной точечкой, зрачком. Таких у людей не бывает. Смотрели на картины, цокали языком — Потоцка, булоцка.

Грамотейка в сиреневом платье, в розовом переднике, с жемчужным колечком на головной повязочке, водила пальцем по картине, читала и объясняла.

— Вот нечистый, вот человека губит своей красотой, вот и огонь из роту.

Поморки вздыхали на дьяволову красоту, выраженную художником в виде песьей, довольно симпатичной морды, мохнатых лап с перепонками, хвоста винтом и скромного коричневого передничка, подвязанного на животе.

Поодаль от богомолок стоял худенький — скуластый, с острой бородкой монашек. Мочальные, прядистые волосы, скуфейка.

— Могу я вас спросить, — обратился он ко мне. — Не привезли ли вы газет?

Он, видимо, давно задумал спросить и не решался, так что даже покраснел.

— Главное-то мы знаем, а я почитать хотел.

— Откуда же вы главное знаете?

— А я здесь недалеко на радиостанции работаю. У меня такое послушание. Я в миру электротехником был. В монастырь редко попадаю — послушание там быть, на островке.

— Вы один там?

— Двое нас. Другой немой.

— Тяжело?

Он опять покраснел.

— Ночью нет. Ночью она разговаривает.

— Кто? Кто разговаривает?

— Она. Эйфелева башня.

Чайки-поморки смотрели пустыми желтыми глазами на монашка, на черта с пламенем.

Надрывно лаяли чайки-птицы, на дворе гудел ветер, мотал соснами.

Эйфелева башня?

Существует Эйфелева башня и говорит по радиотелеграфу с монашком в скуфейке, с желтоглазыми чайками, с чертом с пламенем.

Эйфелева башня! Или ты сказка, или нас кто-то выдумал... а нам с тобой вместе на свете жить — уж больно диковинно!..

* * *

Прозвонил, ударил последний молоточек.

— Двенадцать.

Подождем.

Мелькнула искра. Что-то вздохнуло, загудело.

— Она сейчас начнет разговаривать.

Вот-вот...

Монашек в скуфейке! Записывай, записывай все. Что плохо нам, одиноко и страшно. Поморкам кланяйся, пусть язычком поцокают. Черту с пламенем расскажи, что далеко ему до разных других. Чайкам скажи... И отметь, что полночь сейчас на всем земном шаре, одинаковая, черная полночь. Отметь! Не бойся — так надо.

Две встречи

У самого берега моря на пустыре, где гниют тряпки, кости и жестянки от консервов, — маленький домишка в полтора этажа с балкончиком, обсаженным ржавым плющом.

На фронтоне вывеска: «Большая Европейская Гостиница».

Кругом «Большой Европейской Гостиницы» три-четыре изъеденных пылью дерева, у самого крыльца застланный газетой стол, на столе в тарелке нарезанный кривыми ломтями огурец, томаты и зеленый лук. За столом, в позе «джентльмена на веранде», в засаленном буром кителе, нервно дергает обвисшими небритыми щеками былой красавец жуир Андрей Николаевич Кармятов.

Когда-то он пел в любительских концертах, рассказывал старые анекдоты и служил в знаменитом пьяном полку, который, несмотря на дикие попойки, подрывавшие всякий престиж среди местного населения, никак нельзя было перевести в другой город — кредиторы не выпускали.

— Пусть сидят здесь ваши офицеры, мы им не мешаем, а хотят уйти — пусть сначала заплатят.

Ознакомившись с суммой долга, испуганное начальство оставляло полк в покое. А насчет престижа — эка беда! Офицеры и есть офицеры. Что им, Александро-Невскую лавру на постой послать, что ли?

Андрей Николаевич пел, пил и пленял женщин.

У него для пленения был целый музей — картины, альбомы и, главное, портреты знаменитостей с нужными автографами.

Пленяемые приходили робко и тайно, закутав голову черной вуалью, и с благоговением рассматривали портрет английского короля с орфографическими ошибками в начертанных им словах, фотографию Скобелева в гробу с собственноручной надписью, сделанной тем же почерком: «Герою от героя, Андрею Кармятову от Михаила Скобелева», и карточку Сары Бернар: «A mon tendre André».

Отставка, война, опять отставка, революция... Лучше не вспоминать...

Андрей Николаевич вынимает из кармана фляжечку. В ней что-то мутное. Он долго взбалтывает ее и рассмат-

ривает на свет, затем, словно решившись, прикладывает к губам и, быстро откинув голову, глотает.

— Гм... Похоже. Положительно похоже... Вилки нет.

Он поворачивается к окошку и кричит:

— Вилку дайте!

Черный кривоносый мальчишка подает через окно вилку зубьями вперед и долго смотрит на Андрея Николаевича.

— Мерси.

Андрею Николаевичу хочется поговорить.

— Вы слышали, наверное, про «Фелисьена»? В Петербурге был такой ресторан «Фелисьен», — начинает он, и тут же думает: «и к чему я это? — совсем уж глупо». И, чтобы оправдать себя перед кривоносым мальчишкой, прибавляет, показывая рукой на крыльцо: — Там немножко вроде этого.

Мальчишка скрывается. Андрей Николаевич долго, уставившись по-коровьи глазами вбок, жует огурец.

Из-за угла выходит лиловый лохматый пес с завороченным ухом, растерявший от старости и голода и нюх, и смекалку. Он принимает огурец за говядину и, тихо дрожа, повизгивает.

Зашуршал песок под ногами. Одутловатая, плохо причесанная женщина в стоптанных башмаках на босу ногу идет, кутаясь в бурый платок.

— Ирина Петровна, c'est vous[1]? На солнышке чудесно!.. Mais au contraire[2]. Вы куда идете?

— Да вот надеюсь, что сегодня я добуду ванну.

— Купаться! — улыбнулся Андрей Николаевич. — Ах! Счастливая вода!

У нее тусклые, усталые глаза, но она все-таки слегка покраснела и поправила волосы.

— Ирина Петровна!.. — шептал, глядя ей вслед, Андрей Николаевич. — La belle Iréne!..[3]

И потом, повернувшись к лиловому псу, пояснил:

— Супруга нашего губернатора.

Жидкость на дне фляжки была еще мутнее, чем сверху, и Андрей Николаевич долго болтал ее, прежде чем выпить.

---

[1] Это вы (*фр.*).

[2] Напротив (*фр.*).

[3] Прекрасная Ирина!.. (*Фр.*)

Черрт знает! Кажется, уж и ни на что не похожа...

Долго задумчиво тыкал вилкой мимо огурца, потом опустил голову на руку и, глядя куда-то мимо засветившимися, похорошевшими глазами, тихо пропел:

— Pour un peu d'am-our! Pour un peu d'am-ou-r![1]

Подтянулись обвисшие небритые щеки, нежно поднялись брови и ласково томно улыбнулся рот.

Ведь это он, красавец Кармятов, le tendre André.

— Ah! Pour un peu d'amour!

Лиловый пес зевнул и поймал муху.

Андрей Николаевич вздрогнул, словно проснулся, посмотрел кругом на грязный песок, на тряпки, на жестянки, на ржавый плющ и сказал, как хороший трагический актер говорит хорошим театральным шепотом, слышным даже в самом последнем ряду галерки:

— Кончено! Умерла Россия. Продали, пропили. Кончено!

* * *

На Rue de la Paix выставлены новые духи. Широкие граненые флаконы, в пол-литра размером, и маленькие, узкие, длинные, тревожно-драгоценные...

У витрины останавливаются, смотрят, читают названия, колеблются, проходят мимо или заходят в магазин.

Андрей Николаевич долго смотрел и долго колебался. Продолжительности этого занятия, положим, много способствовала дама слева, которая тоже долго смотрела и долго позволяла смотреть. Хорошенькая дама! Может быть, она ждет, что он ей предложит вот этот флакон. Ну, что же...

— Madame!

— Андрей Николаевич! C'est vous? — неожиданно перебивает голос справа. — Je ne vous ai pas reconnu![2]

Его действительно трудно узнать. Он пополнел, он оделся, он... Но главное, у него совершенно другое выражение лица. В чем дело — уж не министр ли он?

— Ирина Петровна? Давно ли вы выбрались?

Она тоже пополнела и тоже оделась, но все-таки это не то.

---

[1] Ради капли любви-и! Ради капли любви-и! (*Фр.*)

[2] Я вас не узнала! (*Фр.*).

— Ах, дорогая, сколько хлопот! В конце концов, рассчитывать не на кого. Строить молодую Россию должны мы сами, вот этими руками.

Он потряс в воздухе обеими руками в рыжих перчатках, в одной из которых была зажата трость, а в другой конфетки для ароматного дыхания.

— Вы что же, где-нибудь служите?

— Я приглашен в общество для электрификации приваршавских водопадов. Работы масса, дело глубоко патриотическое. У нас две пишущие машинки и вообще... Конечно, правительство должно оказать нам самую широкую помощь. Но разве у нас что-нибудь разумное делается? Нет, как хотите, — он понизил голос, — большевики во многом правы. И потом, ça ne peut pas durer longtemps[1]. Не сегодня-завтра о нас вспомнят и позовут. А здесь... вы понимаете... они пишут на нас доносы, а сами сердятся, что мы их тайно изобличили и, так сказать, дали знать. Посудите сами, — на каком основании Пашка каждый день у Ларю? Я себе никогда этого не позволю. Это возмутительно! Когда ни придешь — он всегда там. Ему деньги даны на пропаганду, а он всегда с одной и той же дамой...

— А помните «Большую Европейскую?»

Он улыбнулся, но как будто ничего не вспомнил.

— Да... милое русское захолустье.

И снова сдвинул брови энергично и смело:

— Работать надо. Стройте молодую Россию. Кроме нас некому. Это надо помнить... Красивый флакон, вот этот с голубым... А?

Смешное в печальном

Во время Гражданской войны много было забавных эпизодов, которые нигде и никем не записаны.

В историю они, конечно, не войдут, а с течением времени или забудутся совсем, или изукрасятся такими выдумками; что утратят всякую истинность и интерес.

---

[1] Это не может продолжаться долго (*фр.*).

История будет отмечать крупные лица, крупные факты и события. Такого-то числа, скажет, таким-то генералом был взят такой-то город с тяжелыми боями и потерями. Будет описана тактика наступления, обороны, сдача города, паника жителей, какие-нибудь отдельные случаи зверств, — но цвета, вкуса, «живого тела» события не передадут. В маленьких забавных или трагических рассказиках бесхитростных очевидцев проступают иногда настоящие физиономии событий, живые и теплые.

Помню, было в газетах о том, что генерал Шкуро с небольшим отрядом взял село, занятое большевиками.

Так пишут.

А рассказывают об этом так:

В селе, занятом большевиками, уже несколько дней ходили слухи о приближении генерала Шкуро. Население волновалось, комиссары, запершись на ключ и завесив окна, укладывали чемоданы и спешно выезжали «в командировку».

И вот в одно прекрасное утро с гиком, перегнувшись на седле, пролетел по главной улице казак. Пролетел, на полном ходу осадил коня у дома старосты и, размахивая нагайкой над головой, закричал:

— Чтоб все было готово! Через полчаса генерал вступает в село.

Прокричал, повернул коня и был таков. Только пыль закрутилась да камни щелкнули.

Мгновенно все улицы точно помелом вымело. Ни души. Кур, и тех убрали. Ставни, двери захлопнулись. Заперлись, сидят, молчат. Старуха перед иконами четверговую свечу затеплила.

— Пронеси Бог беду мимо!

А сельские власти, крадучись, вдоль стенок пробрались, вместе собрались, толкуют между собой, как генералу хлеб-соль подавать будут, так можно ли то самое полотенце, которым большевиков встречали, али неловко?

Подумали — решили, что ладно.

— На каждый чих не наздравствуешься.

Защелкали копыта.

— Едет! Едет!

— Это что же?!

Едет генерал сам-друг с ординарцем. Едет медленно, говорит ординарцу о чем-то сердито. Не то недоволен, не то строгие приказы дает.

Выбежали власти, испуганные. Генерал на них еле смотрит. Сейчас же заперся в отведенном ему помещении, карты разложил, булавками тычет, пером трещит — воюет.

Вдруг опять по улице казак. Такой же лохматый, матерый, страшный, как и тот, что первым прискакал.

Генерал услышал, окно распахнул, спрашивает:

— Чего еще?

Под казаком лошадь пляшет, казак с лошади докладывает — так, мол, и так, кавалерия беспокоится, хочет в село входить.

Генерал брови нахмурил.

— Нельзя! Пусть остается где была. Ее в село пустить — все добро разграбить — очень уж она озлоблена.

Поскакал казак — только искры из-под копыт. А генерал опять за свои планы.

Через четверть часа другой казак с другой стороны. Такой же лохматый, такой же страшный — будто тот же самый. Прямо к генералу.

— Артиллерия беспокоится. Хочет в село входить.

Рассердился генерал. Кричит на всю деревню:

— Нельзя их сюда пускать! Они все дома спалят, так озлоблены. Пусть обождут за лесом.

Не успел казак с глаз скрыться — третий катит с третьей стороны. Такой же лохматый, и кажется перепуганным сельчанам, будто тот же самый — чего со страху не померещится.

Нет, не тот же самый. Крутит по селу, ругается, спешно ищет генерала, не знает где.

— Пластуны хотят на село идти.

Орет генерал:

— Не сметь! Они все селение перекрошат, в таком они озлоблении. Приказываю жителям немедленно сдавать все имеющееся у них оружие — иначе ни за что не ручаюсь!

Потащили жители оружие, спешат, крестятся. Склали на телеги. Казак с ординарцем сами и увезли.

За ними следом, важным шагом, неспешным, выехал и генерал артиллерию успокаивать. Выехал, да и был таков. Только на другой день узнали жители, что приезжал генерал

всего-навсего с двумя казаками, что гонец не со страху казался, а действительно был один и тот же, и что ни кавалерии, ни артиллерии, ни пластунов никаких у генерала не было.

И вся эта история, обесцвеченная и обескровленная, была пропечатана словами:

«Генерал Шкуро с небольшим отрядом взял село, занятое большевиками».

* * *

Вспоминаю еще рассказ о том, как «дрогнули гимназисты».

Дело было на Кавказе.

Отряд гимназистов доблестных кавказских гимназий должен был попридержать большевиков до прибытия казаков.

Гимназисты придержали. Дрались, как Леониды Спартанские по заветам Иловайского. Лихо!

Вдруг, в самом пылу сражения, слышат дикий свист откуда-то с горы. Обернулись и дрогнули.

Сверху, с горы, как посыплется нечто, а не разберешь что. Не то люди на лошадях, не то одни лошади без людей. Пики наперевес, гривы развеваются, руки, ноги болтаются, стремена щелкают... Вон лошадь одна, седло пустое, торчит из него одна нога и пика сбоку трясется. Гоп! дрыгнула нога, вынырнул из-под брюха лошади косматый казак, да как завизжит, да как ухнет! Визг, лязг, вой, свист.

— Черррти!

Дрогнули гимназисты и врассыпную. Только пятки спартанские засверкали.

— Чего же это вы, срам какой! — укоряли их потом. — Ведь это наши же казаки вам на помощь пришли.

— Бог с ними — страшно уж очень. С врагом воевали, а союзника не выдержали.

* * *

Вспоминается еще забавная история о «харьковской хитрости».

Незадолго до взятия Харькова добровольцами в городе открылась новая фотография, до того верноподданная, что

всюду расклеила анонсы: «Коммунистам скидка 50 процентов. Товарищей комиссаров снимают с любовью даром».

Всякому, конечно, лестно сняться даром, да еще с любовью!

Надели комиссары новые френчи, желтые сапоги до живота, пояса, жгуты, револьверы — словом, все, что для комиссарской эстетики полагается, и пошли сниматься.

— С удовольствием, — сказали в фотографии. — Только будьте любезны предъявить документик о том, что вы действительно комиссары. А то, сами понимаете, сняться даром многим желательно...

Комиссары, конечно, показали документы, фотограф отметил в книге фамилии и должности заказчиков и снял их с любовью.

Добровольцы овладели городом неожиданно. Немногие из большевиков успели унести ноги. Оставшиеся перекрасились из красного в защитный и стали выжидать благоприятных времен.

Вдруг — трах! Арест за арестом. И все самых лучших и лучше всех перекрасившихся!

— Откуда узнали?

— Как откуда? Да у нас здесь своя фотография работала. Вот — документы ваши все записаны, и портреты приложены. По этим портретам вас и разыскивали.

Большевики были очень сконфужены, однако отдали врагам должное.

— Ловко-о! До этого даже мы пока не додумались.

Время мы переживаем тяжелое и страшное. Но жизнь, сама жизнь по-прежнему столько же смеется, сколько плачет.

Ей-то что!

Летчик

Вчера в кинематографе показывали какой-то аэроплан, и я вспомнила...

Гриша Петров был славный мальчишка. Здоровенный, коренастый и вечно смеялся.

— Рот до ушей, хоть лягушке пришей, — дразнили его младшие сестры.

Не кончив университета, женился, потом попал на войну.

Боялся он войны ужасно. Всего боялся — ружей, пушек, лошадей, солдат.

— Ну, чего ты, Гриша! — успокаивали сестры. — Уж будто так все в тебя непременно стрелять будут.

— Да я не того боюсь!

— А чего же?

— Да я сам стрелять боюсь!

Стали обучать Гришу военному ремеслу. После первого урока верховой езды вернулся он домой такой перепуганный, что даже обедать не мог.

— Все равно, — говорит, — какой тут обед. Все равно придется застрелиться.

— Что же случилось?

— Господи, страсти какие! Взвалили меня на лошадь — ни седла, ни стремян — ничего! Хвоста у нее не поймать — держись за одну гриву. Пока еще на месте стояла — ничего, сидел. А офицер вдруг как щелкнет бичом, да как все заскачут! Рожи бледные, глаза выпучены; зубы лязгают — последний час пришел! А моя кобыла хуже всех. Прыгает козлом, головой машет, — кидает меня то на шею себе, то на зад. Я ей «тпру! тпру!» — не тут-то было. Ну, думаю, все равно пропадать: выбрал минутку, когда она поближе к стенке скакала, ноги подобрал да кубарем с нее на землю. Офицер подскочил, бичом щелкает.

— На лошадь!

Я поднялся.

— Не могу, — говорю.

А он орет:

— Не сметь в строю разговаривать!

А мне уж даже все равно — пусть орет. Так и ему говорю:

— Чего уж тут — я ведь все равно умираю!

Он немножко удивился, посмотрел на меня внимательно.

— А и правда, говорит, вы что-то того. Идите в лазарет.

Загрустил Гриша.

— Теперь сами видите, какой я вояка. Я им так и скажу, что лучше вы меня на войну не берите. У вас вон все герои —

сам в газетах читал. А я не гожусь — я очень боюсь. Ну, куда вам такого — срам один.

Однако ничего. Дал себя разговорить, успокоить. Одолел военную науку и пошел воевать.

На побывку приехал домой очень довольный — опять «рот до ушей, хоть лягушке пришей».

— Слушайте! А ведь я-то, оказывается, храбрый! Ей-богу, честное слово. Спросите у кого хотите. И пушки палят и лошади скачут, а мне чего-то не страшно. Сам не понимаю — глупый я, что ли. Другие пугаются, а мне хоть бы что!

Приехал второй раз и объявил, что подал прошение — хочет в летчики.

— Раз я, оказывается, храбрый — так чего ж мне не идти в летчики. Храброму-то это даже интересно.

И пошел. Летал, наблюдал, бомбы бросал, два раза сам валился, второй раз вместе с простреленным аппаратом, и так сильно контужен, что почти оглох. Отправили прямо в санаторию.

* * *

В Москве, уже при большевиках, в хвосте на селедочные хвосты кто-то окликнул меня. Узнала не сразу. Ну, да мы тогда все друг друга не сразу узнавали.

— Гриша Петров?

Почернел как-то и скулы торчат. Но это не главное. Главное, изменило его выражение глаз — какое-то виноватое и точно просящее, беспокойное.

— Как вы, — говорю, — загорели.

— Нет, я не загорел. Здесь другое. Я к вам приду и расскажу, а то со мной на улице говорить нельзя — очень уж кричать надо.

Вечером и пришел.

Рассказал, что в Москве проездом — завтра уезжает. Будет летать.

— Ведь вы же не можете — вы в отставке, вы инвалид.

— Большевики не верят. Буду летать. Ничего. Дело не в этом.

И узнала я, в чем дело.

— Отряд наш — шестнадцать офицеров. Сидели в глуши, думали о нас и забыли. Лес у нас там, хорошо, грибы собира-

ли. Вдруг приказ — немедленно одному явиться с аппаратом в Москву, пошлют его куда-то над Уфой летать. Мы бросили жребий. Вытащил товарищ и говорит — я повешусь, у меня мать в Уфе, я над Уфой летать не стану. Ну, я и вызвался заменить, думал, словчусь, перелечу к чехословакам — я ведь, сами знаете, храбрый. Приезжаю сюда, а здесь говорят: не над Уфой летать, а над Казанью. А у меня в Казани старуха мать и жена и мальчишки мои — как же я стану в них бомбы бросать? Решил сказать начистоту. Заявил начальству, а оно так любезно:

— Так, значит, в Казани ваша семья?

— В Казани, говорю, все.

— А как их адресочек?

Я и адрес сказал. Они записали.

— Ну-с, теперь, говорят, завтра же отправляйтесь на Казань. А в случае, если затеете перелететь к чехословакам или вообще недобросовестно отнесетесь к возложенному на вас поручению (это, то есть, бомбы бросать не буду), то семья ваша будет при взятии города расстреляна. Поняли?

Ну еще бы, как не понять.

Призадумался Гриша — черный такой стал, скуластый и вдруг спросил:

— Как вы думаете — должен я сейчас застрелиться или посмотреть — может, как-нибудь... А? Что? Что?

Он очень плохо слышал.

* * *

Несколько месяцев тому назад совершенно неожиданно встречаю в Болгарии старушку Петрову.

— Да, да, славу Богу, выбрались. Мы давно уже здесь. Маруся, Гришенькина жена, в школе устроилась учительницей. Мальчики здоровы, все хорошо. А сколько перестрадали! Как они на Казань-то шли! Есть было нечего, воды и той не было. Сами на Волгу с кувшинами бегали. Мальчики тоже чайники брали — пять верст почти. Бежим, бывало, а над нами аэроплан ихний гудит. Господи, думаю, хоть бы детей-то пощадили. Летчик свалился у нас за лесом, недалеко. Все бегали смотреть. Обгорел так, что и лица не различить. А мне и не жалко было. Собаке собачья смерть!

— А скажите, вы о Грише ничего не знаете?

— Нет, ничего. Так ничего и не знаем. С самого начала отрезаны были. Ну да ведь его большевики на службу призвать не могли, он, слава Богу, инвалид контуженный, никуда не годный — где-нибудь отсиделся. Всё ждали весточки. Обещали нам тут...

— Значит ничего не знаете?

Она вдруг всполохнулась.

— А что? Может быть, вы что-нибудь..? А? Может, слышали?

— Нет, нет... Я так... Я тоже... ничего не знаю.

Ностальгия

Пыль Москвы на ленте старой шляпы
Я как символ свято берегу...

Лоло

Вчера друг мой был какой-то тихий, все думал о чем-то, а потом усмехнулся и сказал:

— Боюсь, что к довершению всего у меня еще начнется ностальгия.

Я знаю, что значит, когда люди, смеясь, говорят о большом горе. Это значит, что они плачут.

— Не надо бояться. То, чего вы боитесь, уже пришло.

Я видела признаки этой болезни и вижу их все чаще я чаще.

Приезжают наши беженцы, изможденные, почерневшие от голода и страха, отъедаются, успокаиваются, осматриваются, как бы наладить новую жизнь, и вдруг гаснут.

Тускнеют глаза, опускаются вялые руки, и вянет душа, душа, обращенная на восток.

Ни во что не верим, ничего не ждем, ничего не хотим. Умерли.

Боялись смерти большевистской и умерли смертью здесь.

Вот мы — смертью смерть поправшие!

Думаем только о том, что́ теперь там. Интересуемся только тем, что приходит оттуда.

А ведь здесь столько дела. Спасаться нужно и спасать других. Но так мало осталось и воли и силы...

* * *

— Скажите, ведь леса-то все-таки остались? Ведь не могли же они леса вырубить: и некому и нечем.

Остались леса. И трава зеленая, зеленая, русская.

Конечно, и здесь есть трава. И очень даже хорошая. Но ведь это ихняя «l'herbe», а не наша травка-муравка.

И деревья у них, может быть, очень даже хороши, да чужие, по-русски не понимают.

У нас каждая баба знает, — если горе большое и надо попричитать — иди в лес, обними березоньку, крепко двумя руками, грудью прижмись и качайся вместе с нею и голоси голосом, словами, слезами изойди вся вместе с нею, с белою, со своею, с русской березонькой.

А попробуйте здесь:

— Allons au Bois de Boulogne embrasser le bouleau![1]

Переведите русскую душу на французский язык... Что? Веселее стало?

Помню, в начале революции, когда стали приезжать наши эмигранты, один из будущих большевиков, давно не бывший в России, долго смотрел на маленькую пригородную речонку, как бежит она, перепрыгивая, с камушка на камушек, струйками играет простая, бедная и веселая. Смотрел он, и вдруг лицо у него стало глупое и счастливое.

— Наша речка русская!

Ффью! Вот тебе и Третий Интернационал!

Как тепло!

Ведь, пожалуй, скоро и там сирень зацветет...

* * *

У знакомых старая нянька. Из Москвы вывезена.

Плавна, самая настоящая — толстая, сердитая, новых порядков не любит, старые блюдет, умеет ватрушку печь и весь дом в страхе держит.

---

[1] Поехали в Булонский лес целовать березку! (*Фр.*)

Вечером, когда дети улягутся и уснут, идет нянька на кухню.

Там француженка кухарка готовит поздний французский обед.

— Asseyez-vous! — подставляет она табуретку.

Нянька не садится.

— Не к чему, ноги еще, слава Богу, держат.

Стоит у двери, смотрит строго.

— А вот, скажи ты мне, отчего у вас благовесту не слышно? Церкви есть, а благовесту не слышно. Небось, молчишь! Молчать всякий может, молчать очень даже легко. А за свою веру, милая моя, каждый обязан вину нести и ответ держать. Вот что!

— Я в суп кладу сельдерей и зеленый горошек! — любезно отвечает кухарка.

— Вот то-то и оно... Как же ты к заутрени попадешь без благовесту? То-то я смотрю, у вас и не ходят. Грех осуждать, а не осудить нельзя... А почему у вас собак нет? Этакий город большой, а собак раз-два, да и обчелся. И то самые мореные, хвосты дрожат.

— Четыре франка кило, — возражает кухарка.

— Теперь, вон у вас землянику продают. Разве можно это в апреле месяце? У нас-то теперь благодать — клюкву бабы на базар вынесли, первую, подснежную. Ее и в чай хорошо. А ты что? Ты, пожалуй, и киселя-то никогда не пробовала!

— Le président de la republique?[1] — удивляется кухарка.

Нянька долго стоит у дверей у притолоки. Долго рассказывает о лесах, полях, о монашенках, о соленых груздях, о черных тараканах, о крестном ходе с водосвятием, чтобы дождик был, зерно напоил.

Наговорится, напечалится, съежится, будто меньше станет, и пойдет в датскую к ночным думкам, к старушьим снам — все о том же.

* * *

Приехал с юга России аптекарь. Говорит, что ровно через два месяца большевизму конец.

---

[1] Президент республики? (*Фр.*)

Слушают аптекаря. И бледные, обращенные на восток души чуть розовеют.

— Ну, конечно, через два месяца. Неужели же дольше? Ведь этого же не может быть!

Привыкла к «пределам» человеческая душа, не верит, что у страдания есть предел.

Раненый умирал в страшных мучениях, все возраставших. И никогда не забуду, как повторял он все одно и то же, словно изумляясь:

— Что же это? Ведь этого же не может быть!

Может.

Вспоминаем

Горевали мы в Совдепии.

— Умер быт — плоть нашей жизни. Остался один хаос, и дух наш витает над бездною.

Как жить так над бездною — совершенно ведь невозможно.

Не сорвешься сегодня — сорвешься завтра. Ничего не разберешь в хаосе, не наладишься, не устроишься. Небо не отделено от земли, земля не отделена от воды — ерунда, бестолочь и черная смерть.

А теперь собираемся и вспоминаем:

— А помните, как мы жили-были в Совдепии?

«Жили-были» — значит была жизнь, и быт был. Корявый, уродливый, «смертный» быт — а все-таки был. Была физиономия жизни.

Так про человека, который плохо выглядит, говорят:

— Лица на нем нет.

Лицо-то есть, да только такое скверное, что и признать его за таковое не хочется.

Так и быт совдепский был.

Теперь соберемся и вспоминаем.

Какая была жизнь удивительная!

И народ кругом был удивительный.

Особенно хороши были бабы.

Мужчины, угрюмые, нелюдимые, осторожные, были и незанятны и опасны.

Каждому хотелось перед начальством выслужиться, открыть гидру реакции и донести за добавочный паек.

Бабы реальной политикой не занимались, а больше мелкой торговлишкой и политической сплетней, с мистическим налетом.

Мужчина, если приносил какую-нибудь спекулятивную муку, так и сам не тешился и других не радовал.

Сидит мрачный, вздыхает, в глаза не смотрит.

— Вы чего же, товарищ, так дорого лупите-то? Вдвое против последнего.

— Расстреляли многих за спекуляцию, — гудит товарищ. — Вот мы и надбавляем, потому, риск большой. Поймают, расстреляют обоих и тебя и меня. Меня — зачем продаю, тебя — зачем покупаешь.

— Так это выходит, что ты за мою же погибель с меня же дерешь?

Товарищ вздыхает и молчит.

Баба не то. Баба придет, оглянется и затрещит, зазвенит, словно кто на швейной машинке шьет.

— И-и, милая, теперь не то что говорить, думать боишься. Вот везу тебе энту крадену картошку, а сама все про себя повторяю: «не крадена, не крадена!» — мыслей боюсь.

— У кого же ты картошку-то крадешь?

— У себя, милая, у себя. На собственном огороде. Ленин-то с пулеметами сторожит — не позволяет. Ну, а мы наловчаемся — ночью накопаем и до свету в город бежим. Очень страшно. Ну а Ленин тоже, сама понимаешь, от слова не отступится, ему это надо.

— Что надо?

Баба оглядывается и начинает шептать, втягивая в себя воздух со свистом и всхлипом:

— Милая! Ему немецкий царь обещал. Изведи ты мне, говорит, весь православный народ, а я тебя за это в золотом гробу похороню. Подумай только — в золотом гробу! Вот он и старается. Всякому лестно. Доведись хуш нам с тобой — разве отказались бы?

— Ну еще бы! Только давай.

Привозила баба и баранину. Откуда-то издалека. Сначала все вести подавала — скоро будет. Девчонка прибегала, глазами крутила, шептала со свистом и с ужасом непередаваемым:

— Тетенька Лукерья поехамши. Наказали ждать.

Потом прибегала:

— Тетенька Лукерья приехамши. Наказали сказать, что, мол, сказано, то сделано.

Потом являлась сама баба. Лицо обветренное и бюст неестественный: под кофтой у самой подложечки — подвязан тряпицей вялый сизый лоскут баранины.

— Вот, милая, — торжествует баба. — Получай. Твое.

Бабу разматывают, усаживают.

Баба величается и рассказывает:

— Еду я, кругом ужасти.

Словом, все как следует.

— И вот баранину я тебе предоставила. А кроме меня никто не может. А почему? А потому, что я с понятием. Я твою баранину под собой привезла. Я как села на нее, так шесть часов на ней и проехала. Ни на минуточку не слезла, не ворохнулась. Уж потерплю, думаю, зато моя барыня вкусно поест. Кругом солдаты обшаривают, чуть что — живо нанюхают и отберут.

Мы бабе льстили, хвалили ее и называли Ангел-баба.

Поили бабу чаем — впрочем, без чая и без сахара. Просто какой-то морковкой, травой — словом, что сами пили, тем и потчевали.

Баба пила, дула на блюдечко, нос распаривала — издали смотреть, так совсем будто чай пьет.

Рассказывала впечатления.

— А в деревне в этой слепая есть. Такая это удивительная слепая, что все она тебе видит, не хуже зрячего. Такая ей значит сила дадена. Старуха уже. У дочки на покое живет. Так эта слепая всю судьбу нашу наперед знает. Такая ей сила дадена. Так прямо народ удивляется.

— Ну и что же она предсказала?

— Ничего. Ничего, милая ты моя, не предсказала, потому, говорит, ей хоша все показано, но объявлять запрещено. Вот какие чудеса на свете-то. А мы живем во грехах и ни о чем не подумаем.

— Так ничего ни разу и не предсказала?

— Одному мужику предсказала. Через месяц, сказала, беспременно помрет. Болен был мужик-то.

— Ну и что же — умер?

— Нет, милая ты моя. Не умер. Так прямо народ даже удивляется.

Впоследствии баба сделала блестящую карьеру. Воруя собственную картошку и торгуя бараниной «из-под себя», баба так округлила свой капитал, что у одного богатого инженера, собиравшегося удрать за границу, купила на сто тысяч ковров.

— Из щелей дует, избу топить нечем — горе мыкаем, — скромно объясняла она.

Вот соберемся, вспоминаем былое житье-бытье. Ангелабабу.

Едим в ресторанах всякие эскалопы и мутон-шопы.

— А ведь нигде такой баранины нет, как, помните, баба привозила.

— И не достать нигде, и приготовить нельзя, потому что шесть часов на ней сидеть надо — кто же при здешнем бешеном жизненном темпе согласится.

— А, что-то та, слепая, что не хуже зрячего. О чем она теперь помалкивает? И что-то ей теперь дадено?

Дачный сезон

В Париже наблюдается удивительное для нас, иностранцев, явление — в Париже нет природных сезонов.

В России, как известно каждому, существует четыре времени года или сезона: весна, лето, осень и зима.

Весной носят калоши, драповое пальто, держат экзамены и ищут дачу.

Летом живут на даче, носят соломенные шляпы и батистовые платья, давят мух и купаются.

Осенью носят калоши и драповое пальто, держат переэкзаменовки, ищут квартиры и шьют новые платья.

Зимой носят новые платья, меховые шубы, топят печи, отмораживают носы, катаются на коньках и простуживаются.

В Париже все навыворот.

В феврале носят соломенные шляпы, в июле бархатные.

В январе — легкие манто, в июне — мех.

В июле дачу ищут и экзамены держат. В декабре ходят голые.

Ничего не разберешь!

Сезонов природных нет.

Есть какие-то странные: сезон тафты, сезон тюля, сезон бархата, сезон талеров, сезон вышивки, сезон крепа, сезон скачек. Выдумывают эти сезоны портнихи, и длятся они неравно. Иной два месяца, иной три недели — никак его не ухватишь и не подладишься.

По погоде тоже ничего заметить нельзя. В феврале бывают такие дни, которые июньским не уступят.

И приходится жить не своим разумом, а смотреть, что люди делают.

Вот теперь, видим, отправляются люди на дачу. Ну и мы всколыхнулись. Значит, у них весна считается, пора и нам об отдыхе подумать.

Только французы как-то беспечно к этому делу относятся. Просто надумают какое-нибудь место — в горах или у моря — пошлют открытку в намеченную гостиницу, получат ответ, набьют чемоданы и марш.

Очень уж это все на русский обычай легкомысленно. У нас не так.

У нас начинали искать дачу в марте, когда еще снег лежал и ничего видно не было.

— Здесь у нас чудесный цветник, — поет дачевладелица, указывая на снежную полянку.

— Тут вам все беседки и фонтаны. Сейчас, конечно, ничего не видно — все под снегом, но летом — благодать.

Приезжаете летом с детьми и возами — ни цветника, ни беседки. Один частокол и палка из-под розы. А вместо фонтана собачья будка. И сама хозяйка удивляется:

— С чего вы взяли? Цветы? Ничего подобного. Цветы вы должны сами садить. От хозяйки вам полагается только пространство. А фонтан — так это не дай Бог. Сами знаете.

— А что?

— А то, что, если кто из вас, не дай Бог, напьется, да, не дай Бог, ночью домой вернется, да, не дай Бог, упадет, да, не дай Бог, головой в фонтан попадет, так тут с полицией хлопот не оберешься.

Искали дачу с любовью. Ездили во все стороны.

Бывали интересные казусы.

Один отец семейства поехал нанимать дачу по Николаевской дороге, а нанял в Павловске. Три дня пропадал и ничего жене объяснить не мог. Повторял только, что очень трудно было, и двое суток проспал.

А другой отец семейства поехал в Парголово, пропадал две недели, вернулся какой-то весь распаренный и сказал, что из сил выбился — никак не мог подходящей дачи найти. А из кармана у него зубочистка вывалилась, с надписью «Бристоль. Варшава». И как она к нему попала, так до сих пор — вот уж восемь лет? — никто додуматься не может. А в то лето так и на дачу не поехали. Некогда было — все про зубочистку разбирали и он и жена.

А третий отец семейства толковый был. Велено ему было найти дачу в Стрельне — ну и нашел. И так скоро, в тот же день. Вернулся веселый.

— Манечка, милая, все, как ты хотела. Дача чудесная, старинная, хозяин ее на слом приговорил, уж еле я его упросил. Такой упрямый; надо, мол, сломать, да и баста. Развалится, мол, дача, до осени не достоит. Сунул ему тысячу рублей отступного, чтобы, значит, не ломал. Согласился.

Жена слушает, радуется.

— Какой, говорит, у меня Петя толковый! Делец!

Переехали. Живут, удивляются. Все обои, как живые, шевелятся, вечером прямо через стену луна светит. Жутко!

Прожили месяц, а на второй обвалился угол и кота придавил.

Ну — делать нечего: выругали хозяина — как смел дать себя уговорить — и съехали.

Ах, много чудесных историй связано с дачными воспоминаниями. Теперь они кажутся прекрасными легендами.

* * *

Ищут дачи наше парижане:

— Говорят, около моря есть какое-то место, что-то вроде Аршанж, не то Агранж.

— Сырость, наверное. Лучше в горы. Слыхал я, тут есть горы — не то Шанвиль, не то Банвиль... как-то так. Дешево, воздух, публики никакой, уединенно — совсем дыра. Можно отдохнуть.

— Я не хочу дыру. В дыре музыки нет, а я хочу ходить на музыку.

— Около самого Парижа есть хорошие места.

— Ну там, наверное, много русских будет. Начнут лезть.

— Или куда-нибудь в глушь забраться, в горы.

— В горах моря нет, а в глуши скучно.

Господи, Господи, пошли Ты нам, беженцам твоим, дачу. Чтоб была она высоко в горах на самом море, стоила бы дешево в глухой дыре с музыкой, и чтоб была она уединенная, и множество чтобы было там знакомых, и чтоб никто к нам не лез, а чтобы мы сами ко всем лезли, Господи!

Воскресенье

Душно... Душно...

Парижане за неделю точно выдышали весь воздух и на воскресенье его не хватает.

Или так кажется, потому что именно в воскресенье полагается вздохнуть свободно — тут-то и видишь, что воздуха нет.

Магазины заперты. Весь Париж отхлынул куда-то по трамваям, автобусам, по кротовым коридорам метро.

Дышать поехали.

В такси непривычные парочки. Она — в нитяных перчатках и хорошей шляпке или в хороших перчатках и скверной шляпке — в зависимости от магазина, в котором она служит.

Он — в щегольском галстуке и помятом котелке, или, наоборот, в помятом галстуке и щегольском котелке — тоже в зависимости от магазина, где он состоит приказчиком. Оба напряженно улыбаются от удовольствия и конфуза собственным великолепием.

В трамваях более солидная публика, знающая суетность мирских наслаждений и понявшая, что истинное счастье есть — деньги, не расточаемые, а накопляемые и сберегаемые в банке. В трамваях лавочники с женами и детьми, пузатые старички с толстоносыми старухами.

Все едут. Уехали.

* * *

В маленькой русской церковке идет богослужение.

Седобородый священник умиленно и торжественно говорит прекрасные слова молитвы: «Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси...»

Господин с тонко-выработанным пробором — сколько лысина позволяет — благоговейно склонил голову и шепчет соседу:

— А я забыл ваш телефон. Мерси. Ваграм или Сакс?

— Онз сись[1], Ваграм, — истово крестясь, отвечает сосед.

Молится седобородый священник о русских митрополитах, может быть, уже убитых, о православной церкви оскверненной, с поруганными иконами, с ослепленными ангелами...

— Интересно знать, — молитвенно закатывая глаза, шепчет дама, крашенная в рыжее, даме, крашенной в черное, — настоящие у нее серьги или нет.

— А мне вчера в концерте понравилось платье Натальи Михайловны. Я бы сделала себе точно такое, только другого цвета и другого фасона.

На паперти, щурясь от яркого желтого солнца, толпятся нищие... духом и толкуют про свои дела.

— Сговорились встретиться здесь с Николай Иванычем и вот уже полчаса жду.

— А может быть, он внутрь прошел?

---

[1] Одиннадцать — шестнадцать (от *фр.* onze, sieze).

— Ну! Чего ради!

— О чем это там братья Гвоздиковы с Копошиловым говорят? И Синуп с ними...

— Кабаре открывать собираются.

— Не кабаре, а банк.

— Не банк, а столовую.

— Кооператив с танцами.

* * *

Надо дышать.

Пойдем в «Jardin des Plantes».

Душный ветер гонит сорную пыль.

Треплет праздничные юбки, завивает их о кривые ноги воскресных модниц в нитяных перчатках и пышных шляпках (и наоборот), сбивает с шага ребятишек, пошлепываемых заботливой материнской рукой. Посыпает песком мороженое и вафли у садового ларька.

Деревья качают тяжелыми тусклыми листьями, мутными, как непроявленные картинки декалькомании.

Длинное здание с решетками. Это клетки.

В одной клетке спит большая серая птица. В другой спит-дышит чья-то бурошерстая спина. Гиена, что ли.

В третьей — лев. Маленький, желтый, аккуратный, весь вылизанный, с расчесанной дьяконской гривой.

Сидит в профиль и зевает, защурив глаза.

Перед клеткой толпа в пять рядов. Напирают, давят, лезут, поднимают детей на плечи, чтобы лучше видели, как лев зевает.

Нежная мать с перьями дикобраза на шляпе высоко подняла крошечную голубоглазую девочку.

— Regarde la grosse bébête! Vois-tu la grosse bébête?[1]

Девочка таращит глаза, но между нею и «grosse bébête» поместилась толстая курносая дама с сиренево-розовыми щеками.

Девочка видит только ее и все с бо́льшим ужасом таращит на нее голубые глазенки.

— La grosse bébête!

---

[1] Посмотри на эту огромную зверюшку! Видишь эту огромную зверюшку? (*Фр.*).

Вырастет девочка большая и будет говорить:

— Какие у меня странные воспоминания детства. Будто показывали мне какого-то льва с сиреневыми щеками в полосатой кофте, толстого, толстого, с бюстом и в корсете... Что это за львы были в те времена? Чудеса! А так ясно помню, словно вчера видела.

* * *

В ресторанчике услужающая мамзель заботливо вычеркивает перед вашим носом каждое выбранное вами в меню блюдо и, глядя в ваши полные кроткого упрека глаза, посоветует есть морковь.

— Des carottes.

Но ведь есть ресторанчики с определенным обедом. Это спасение для человека с дурно направленной фантазией, выбирающего то, чего нет.

В ресторане с определенным обедом вам дадут две редиски, потом пустую тарелку, сбоку которой, по самому бордюру, ползет подсаленный (для того чтобы полз) огрызок говядины. Подается он под различными псевдонимами — cotelette d'agneau, boeuf frit, chateaubriant, lapin, gigot, poulet[1]. Отвечает за быка, зайца, курицу и голубя. Не пахнет ни тем, ни другим, ни третьим. Пахнет теплой мочалой.

Потом подадут пустую тарелку.

— Отчего она рыбой пахнет?

— Saumon suprême[2].

— Ага!

Но ее совсем не видно, этой saumon suprême. Верно, кто-нибудь раньше вас съел.

Потом вам дают облизать тарелку из-под шпината (в ресторанах получше музыка при этом играет что-нибудь из «Тоски»).

Потом вы облизываете невымытое блюдечко из-под варенья и торопитесь на улицу, чтобы успеть, пока не закрылись магазины, купить чего-нибудь съедобного.

---

[1] Отбивная из ягненка, жареная говядина, шатобриан, кролик, баранья нога, цыпленок (*фр.*).

[2] Лучший лосось (*фр.*).

* * *

Театров много. Французы играют чудесно.

В одном театре идет Ки-Ки, в другом Фя-Фи, в третьем Си-Си.

Потом вы можете увидать:

«Le danseur de Madame», «Le bonheur de ma femme», «Le papa de maman», «La maman de papa», «La maman de maman», «Le mari de mon mari», «Le mari de ma femme»[1].

Можете посмотреть любую; это то же самое, что увидеть все. Некоторые из них очень серьезны и значительны. Это те, в которых актер в седом парике подходит к самой рампе и говорит проникновенно:

— Faut être fidèle à son mari[2].

Растроганная публика рукоплещет и сидящий в десятом ряду русский тихо поникает головой:

— Как у них прочны семейные устои. Счастливые!

— Fidèle à son mari! — рычит актер и прибавляет с тем же пафосом, но несколько нежнее:

— Et à son amant[3].

* * *

Кончается душный день,

Ползут в сонных трамваях сонные лавочницы, поддерживая отяжелевших сонных ребят. Лавочники, опираясь двумя руками на трость, смотрят в одну точку. Глаза их отражают последнюю страницу кассовой книги.

У всех цветы. Уставшие, с осклизлыми от потных рук стеблями, с поникшими головками.

Дома их поставят на прилавок между ржавой чернильницей и измусленной книжкой с адресами. Там тихо, не приходя в себя, умрут они, такие сморщенные и бурые, что никто даже и не вспомнит, как звали их при жизни — тюльпанами, полевыми астрами, камелиями или розами.

Устало и раздраженно покрякивая, тащит такси целующиеся парочки в нитяных перчатках и хороших шляпках

[1] Танцор мадам, счастье моей жены, папа мамы, мама папы, мама мамы, муж моего мужа, муж моей жены (*фр.*).

[2] Следует быть верной своему мужу (*фр.*).

[3] Верной мужу и любовнику (*фр.*).

(или наоборот). И в их руках умирают потерявшие имя и облик цветы.

По кротовым коридорам гудит-гремит последнее метро. Качаясь на ногах, выползают из дыр земных усталые, сонные люди.

Они как будто на что-то надеялись сегодня утром и надежда обманула их.

Вот отчего так горько оттянуты у них углы рта и дрожат руки в нитяных перчатках.

Или просто утомила жара и душная пыль...

Все равно. Воскресный день кончен.

Теперь — спать.

* * *

Наши радости так похожи на наши печали, что порою и отличить их трудно...

Сырье

В большом парижском театре русский вечер.

Русская опера, русский балет, талантливые пестрые отрывки воспоминаний и разговоры, похожие на прежние. Прежний петербургский балетоман тонко разбирает, щеголяя техническими терминами, пуанты и баллоны.

Все старое, все похожее на прежнее.

Новое и не похожее только «Она».

— Великая печаль.

В разгаре пустого или дельного разговора — она подойдет, погасит глаза говорящим, горько опустит углы рта, сдвинет им брови и на вопрос о «заносках» ответит:

— Говорят, что холод и голод будущей зимы унесут половину населения России...

Мы знаем, что ее слова бестактны. Мы гости и ведем себя вполне прилично.

У нас дома смертельно больной человек. Но мы пошли развлечься в кругу знакомых. Мы оделись «не хуже других», и улыбаемся, и поддерживаем салонный разговор — гово-

рим о чужом искусстве, чужой науке, чужой политике. О себе молчим — мы благовоспитанные. Даже о Толстом и Достоевском, всегда вывозивших нашу расхлябанную телегу из самого зеленого, трясинного болота — мы упоминаем все реже и реже.

Стыдно как-то.

Словно бедная родственница, попавшая в богатый дом на именины и вспоминающая:

— И была у меня в молодости, когда мы еще с мужем в Житомире жили, удивительная шаль…

— Чего это она раскрякалась? — недовольным шепотом спрашивают друг у друга хозяева.

— Хочет, видно, доказать, что из благородных.

Да и к чему тут Толстой и Достоевский? Все это было, и вместе с нами умерло, и здесь, в нашей загробной жизни, никакой роли не играет и никакого значения не имеет.

Все это ушло в словари «см. букву Д и букву Т».

Теперь интересуются не русской культурой, а кое-чем диаметрально противоположным:

— Русским сырьем.

«Сырье» — самое модное слово.

Жили, жили, творили, работали, а вышло одно сырье, да и то — другим на потребу.

Сырье!

В русском человеке очень слаба сопротивляемость, резистенция. От природы мягки, да и воспитание такое получили, чтобы не «зазнаваться».

Даже с гордостью говорят, что вот такой-то ученый, или профессор, или артист, литератор, художник — служит где-то простым рабочим.

— Молодец, говорят. Научат его за границей правильному труду, технике.

Как же не молодец и как же за него не радоваться!

Забудет свое настоящее яркое и индивидуальное, и пойдет в чужое сырье.

О русском искусстве, русской литературе — в особенности о русской литературе — скоро перестанут говорить. Все это было. Нового нет. Работать никто не может. Могут только вспоминать и подводить итоги.

Говорят:

— Помните — я писал... Помните — я говорил.

Вспоминают о своей живой жизни в здешней загробной.

Да и как писать? Наш быт умер. Повесть о самом недавнем прошла, кажется, историческим романом.

Там, в Совдепии, тоже не работают. Мы видим по газетам и по рассказам, что в театрах идут все старые вещи.

Остановились. Идем в сырье.

Мне кажется, нашим хозяевам, у которых мы сейчас в гостях — должны иногда приходить в голову вопросы:

— Как могут они жить, т. е. одеваться, покупать вещи, обедать и ходить в театры смотреть наши развеселые пьесы, когда каждый день приемный аппарат радио отстукивает новые стоны и предсмертные крики их близких?

Наверное, так спрашивают они себя.

Но мы-то знаем, как мы живем, и знаем, что *так* жить можем.

Да — едим, одеваемся, покупаем, дергаем лапками, как мертвые лягушки, через которых пропускают гальванический ток.

Мы не говорим с полной искренностью и полным отчаянием даже наедине с самыми близкими. Нельзя. Страшно. Нужно беречь друг друга.

Только ночью, когда усталость закрывает сознание и волю, Великая Печаль ведет душу в ее родную страну. Ведет и показывает беспредельные пустые поля, нищие деревушки, как ошметки — ломаные палки да клочья гнилой соломы, — пустые могучие реки, где только чайки ловят рыбу, и обнаглевший медведь, бурый зверь, средь бела дня идет на водопой воду лакать. И показывает пустые гулкие шахты, и тянет душу дремучими заглохшими лесами, в сказочные города с пестрыми мертвыми колокольнями, с поросшими травой мостовыми, где труп лошади лежит у царского крыльца — шея плоская вытянута, бок вздут, а рядом на фонарном столбе что-то длинное, темное кружится, кружится, веревку раскручивает.

И летят по небу черные вороны, со всех четырех сторон. Много их, много. Опустятся, поднимутся, снова опустятся, кричат, скликают. И не дерутся. Чего тут! — на всех хватит.

Хватит сырья.

Как мы праздновали

Думали — будет, как у нас: остановятся трамваи и водопровод, погаснут лампы, повиснут в воздухе лифты, ночью начнутся обыски, а утром известят, что похороны праздничных жертв назначаются через три дня.

И вдруг — сюрприз! Все в порядке.

Вот тебе и четырнадцатое июля!

Как-то не верилось.

Выходя на улицу, спросили у консьержа:

— С какой стороны стреляют?

Тот сначала удивился, потом улыбнулся, точно что-то сообразил, и ответил:

— Танцуют? Я не знаю где.

Он, вероятно, думал, что мы плохо говорим по-французски!

Вышли на улицу. Посмотрели. Беспокойно стало, красного много.

— Я, знаете, предпочитаю в такие дни дома сидеть, — сказал один из нас.

— В какие такие?

— Да вот когда такие разные народные гулянья. Помоему, вообще все должны в такие дни дома сидеть.

— Какое же тогда гулянье, когда все дома сидят! Тоже скажете!

— Не люблю я этого ничего. Прислуга вся ушла, обед не сготовлен, трамвай, того гляди, забастует — одна мýка. Я уж так и знал! Как это самое гулянье или патриотическое торжество — так значит жуй целый день сухомятину, а если нужно куда поспешить, так при пёхом.

— А все-таки, — сказала одна из нас, — интересно бы посмотреть, как танцуют на площадях. Мы ведь в первый раз четырнадцатого июля в Париже.

— Уверяю вас, что никто ничего танцевать не будет. Верите вы мне или нет?

— Почему же не будет?

— Потому что, во-первых, жарища, во-вторых, лень.

— Странное дело — столько лет не ленились, а сегодня как раз заленятся.

— Ну вот помяните мое слово. Верите вы мне или нет?

— Однако — долго мы будем посреди улицы стоять? Нужно же на что-нибудь решиться.

— Завтракать надо, вот что.

— Отлично. Я вас поведу в очень интересное место. Верите вы мне или нет?

— Да зачем же далеко идти — тут ресторанов сколько угодно.

— Нет уж, покорно благодарю, отравляться. Сядем в метро и через пять минут будем в чудесном ресторанчике.

* * *

— Очевидно, мы не там вылезли. Ресторан должен быть тут сразу налево.

— Да на какой улице-то, говорите толком.

— На какой? Да здесь где-то. Надо спросить... Экутэ! Пардон месье силь ву плэ — ле ресторан. Болван какой-то попался — сам ничего не знает.

— Да чего долго искать — пойдем в первый попавшийся, все они одинаковы.

— Ну нет, я тоже отравляться не желаю. Сядем в метро и через пять минут...

— Да вы нас уж полчаса в метро мотали — куда еще?

— Мы не там вылезли. Верите вы мне или нет? Через пять минут...

* * *

— Черт! Ведь был же здесь ресторан! Провалился он, что ли? Знаете что, господа. Вот что я вам предложу: сядемте в метро и через пять минут...

— Ну нет, как хотите, а я больше не ездец. Тут четырнадцатое июля, люди веселятся, музыка гремит, а мы, как кроты, ковыряемся под землей.

— Не хочу.

— Да где же у вас музыка гремит?

— Где-нибудь да гремит же! Ведь четырнадцатое июля.

— Не знаю. Я по крайней мере музыки не слыхал.

— Еще бы, когда мы с одиннадцати часов утра из-под земли не вылезаем.

— Даю вам слово, что через пять минут, даже меньше — через четыре с половиной мы будем в чудесном ресторане.

Уж все равно столько ездили — лишний час дела не поправит и не испортит.

— Ча-ас? Как час? Вы говорили — пять минут.

— Чистой езды пять, ну да пока сядем, пока вылезем, пока найдем, пока дойдем.

— Ну, господа, чем спорить, уж лучше скорее поедем.. Все равно здесь ничего нет.

* * *

— Силь ву плэ...[1]

— Да вот же под самым носом какой-то ресторанчик.

— Между прочим, уже четыре часа, так что завтрака мы все равно не достанем... Придется à la carte[2].

— Ну уж теперь не выбирать. У меня от голода голова кружится.

— Ну и ресторан. Прислуги нет, одна баба с флюсом.

— Ничего, я сейчас закажу.

— Спросите, что у нее есть.

— Кэс кэ ву завэ?[3]

— J'ai mal aux dents, monsieur![4]

— Что она говорит?

— Не знаю, не разобрал.

— Так переспросите.

— Как-то неловко.

— Ну что у нее может быть — наверное, гадость какая-нибудь.

— Наперед говорю — я этого есть не стану.

— Может быть, у нее ветчина есть?

— Бесполезно спрашивать.

— Одного не могу понять — чего мы рыскаем по каким-то задворкам, когда мы можем идти в любой знакомый ресторан!

— Ну что за тоска! Четырнадцатого июля нужно именно в каком-нибудь маленьком красочном кабачке, чтобы кругом плясала пестрая толпа под звуки самодельной скрипки и чтобы тени великого прошлого...

---

[1] Пожалуйста (*фр.*).

[2] По карточке (*фр.*).

[3] Что с вами? (*Фр.*)

[4] У меня болят зубы! (*Фр.*)

— Мне определенно хочется ветчины.

— Помните, мы как-то заходили на Монпарнасе в какое-то кафе? Там была неплохая ветчина.

— А ведь верно. От добра не ищи добра. Сядем в метро и через пять минут будем есть чудесную ветчину.

— Господа, смотрите направо. Видите? Там толпа... Ей-богу, танцуют! Бежим скорее.

— Да плюньте вы! Ну, чего вы не видали! И танцуют-то, наверное, прескверно.

— Потом посмотрите. Нельзя же весь день не евши по такой жарище болтаться.

— Ну-с, я бегу на метро...

* * *

— Комман? Па де жамбон? Ну, уж это, знаете, свинство! Он говорит, что па де жамбон. Что? Кафэ о лэ? Еф о пля? Сам лопай! Идем, господа, отсюда.

— Я предлагаю идти домой. Я сегодня видела, как кому-то несли ветчину.

— Ветчину? Где?

— У нас в отеле.

— Ну так пойдемте, чего же вы молчали?

— Неужто домой? Как-то неловко. Все-таки четырнадцатое июля... Великие танцы на площади... тени под самодельной скрипкой.

* * *

Ветчины в отеле не оказалось. Ее съели какие-то русские. По-моему, празднование четырнадцатого июля в этом году было не особенно удачное. По крайней мере, на меня оно произвело впечатление чего-то очень тусклого и плохо организованного. Какая-то бестолочь и вообще...

Птичий день

Какие ужасы бывают в восточных сказках!

Калиф Багдадский и его великий визирь были злым волшебником обращены в птиц. Это еще было бы с полбеды, если бы они не забыли чародейного слова «Мутабор». Если

бы не забыли, могли бы через год вернуть себе человеческий облик.

И калиф, и визирь страшно горевали. В те времена быть птицей считалось обидным.

* * *

В прошлую пятницу был самый модный день в Париже.

Разыгрывался большой приз на скачках. Весь Париж был на ипподроме. Лучшие «maisons»[1] лансировали новые модели, устанавливали моду на весь будущий сезон.

Азартные игроки ревели и свистели, огромные трибуны дрожали от нетерпеливого топота десятков тысяч ног.

Англичане, специально переплывшие для этого дня свой пролив, лезли друг другу на плечи и тыкали полевыми биноклями в спину соседей.

Париж был пуст. Все были там, на скачках.

* * *

Вечером «monde»[2] был в Bois de Boulogne[3].

Весь день суетились лакеи Pré-Catelan, устраивали длинные столы, принимали заказы по телефону, считали стулья, засовывали карточки в бокалы.

К девяти часам начался съезд.

* * *

Распахнулись дверцы мотора. Вытянулась лапка, ярко-розовая.

— Чукишш, — зашуршали какие-то перья. Вытянулась вторая лапка, и гигантская пестрая птица вылезла и отряхнулась.

Она была голенастой породы, потому что лапы ее были длинны и тонки. Вроде цапли. На головке пестрый хохолок. Оперение — черное с золотом и длинный алый хвост.

Птица, осторожно вытягивая лапы, сделала несколько шагов, остановилась и, повернув хохолок, пискнула.

К ней тотчас подбежал ее самец — черный с коротким хвостом, вроде трясогузки или человека во фраке.

— Мадам Санвиль, — сказал кто-то в толпе.

---

[1] Дома (*фр.*).

[2] Свет (*фр.*).

[3] Булонский лес (*фр.*).

Птица, вытягивая розовые лапки и шевеля хохолком, вошла в ресторан.

Из другого мотора вытянулась зеленая лапка и выпорхнула маленькая полевая курочка. Закружилась, побежала не в ту сторону.

— Кэ-кэ-кэ-кэ...

Две трясогузки, с трудом поспевая, загнали ее в ресторан.

— Квик! Квик!

Сердито поворачивая клювом, вылезла старая цесарка и, перебирая серыми ввернутыми внутрь лапами, пошла по желтой дорожке.

— Квик!

Золотые цапли, с оранжевыми крапинками, зеленые какаду с черными хвостами, голубые колибри с серебряными лапками, райские птички с тысячецветным оперением вылезают, выпархивают, выпрыгивают.

Сопровождающие их самцы как будто слегка смущены.

У них ведь почти человеческий вид. Человеку выступать рядом с птицей все-таки немножко совестно. Но они оглядываются кругом и быстро успокаиваются. Лица из смущенных делаются гордыми.

— Моя коноплянка не хуже любого какаду. Золото, изумруды, бриллиантовые лапки, жемчужные шейки, сапфирные крылышки, серебряные хвостики.

— Курлык!

* * *

Сколько было хлопот, приготовлений, разговоров, стараний, сколько было пролито настоящих, человеческих слез и потрачено человеческого труда, чтобы к этому великому моменту, к этому самому модному дню Парижа переделать человеческую самку в птичью.

Сколько отдано за счастье быть птицей. Гарун аль-Рашид! Старый дурак! Радуйся, что забыл «Мутабор».

Вот эта розовая фламинго с золочеными крылышками и самоцветным хохолком, наверное, изменила унылой трясогузке с печальными человеческими глазами, которая устало, провожает ее на заплетающихся лапах. Изменила с красноклювым, седоперым снегирем. Снегирь, может быть, пошел на подлог или шантаж, чтобы позоло-

тить ей крылышки, и круглые глаза его озабочены, как бы все это дельце не выплыло наружу.

Райская птичка весело подпрыгивает, отряхая шуршащие перышки... Женщина всегда держит себя так, как того требует ее туалет, и райская птичка распушила веером пестро-сверкающий хвост и тихо, чуть слышно, вопросительно курлычет изумрудным горлышком:

— Eh bien? Eh bien?[1]

Она подбила на какую-нибудь крупную гадость тоскливо бредущую за ней черноносую ворону.

— Что поделаешь! Должен же кто-нибудь заплатить за этот момент, за это счастье быть хоть один вечер птицей.

Суетятся распаренные лакеи, с трудом протискиваются между голыми женскими спинами и пестрыми птичьими хохлами, льют рыбный соус на трясогузкину плешь, и звякает оркестр новый любимый фокстрот.

Розовая фламинго с золочеными крылышками клюет и переворачивает на тарелке подсунутого ей (сегодня все слопают!) гнилого рака. Седоперый снегирь кормит ее, как настоящий птичий самец, сам только изредка опуская клюв в тарелку. Унылая трясогузка смотрит на самоцветный радостный хохолок своей фламинго печальными человеческими глазами, сдвигает брови, хочет что-то понять, что-то сказать, что-то вспомнить — и не может.

Хоть бы кто-нибудь напомнил ему!

Перья, хвосты, клювы... Звякает фокстрот... и болит сердце, и не может вспомнить чародейного слова.

— Му-та-бор!

Вот сейчас... сейчас еще минута, и он, может быть, вспомнит:

— Му-та-бор...

Наука и жизнь

В октябре Париж наполняется.

Возвращаются купальщики и водоглотальщики с гор, из долин, из лесов и с морских берегов.

---

[1] Ну и что? Ну и что? (*Фр.*)

Гордятся загорелыми лицами и тренированными фигурами.

Но те, которые никуда не попали и просидели лето в Париже, перекозыряли всяких купальщиков. Купили себе на шесть франков подобающей пудры и наохрили себе лица так, что даже солнце пугается.

— Ей-богу — говорить — я бы так не сумело!

Оставшиеся вообще господа положения. Живут обычным и привычным темпом и чувствуют себя дома.

Приехавшие скачут рядом и никак в ногу попасть не могут.

На водах приучили их вставать в пять часов утра.

Ну, посудите сами — что может делать человек в Париже в пять часов утра.

Все закрыто, из всех комнат густой или звонкий храп.

Курортные врачи советуют:

— Вставайте в пять часов и идите гулять в Булонский лес.

Чего проще?

— С удовольствием, господин доктор, только вы, пожалуйста, сами разбудите мою консьержку в пять часов. Или возьмите на себя ответственность за все последствия.

Конечно, наука не может входить в сношения с консьержкой.

Наука только предписывает, а уж отдуваться должны вы сами.

В конце концов, можно ко всему примениться. Что такое, в сущности, прогулка?

Прогулка есть движение на свежем воздухе.

Значит — открывайте окно и дрыгайте перед ним ногами от пяти до шести с половиной часов утра.

При прогулке наука советует ни о чем не думать, потому что усиленная мозговая деятельность мешает правильному кровообращению, без которого всей затее грош цена.

Так вот, значит, ни о чем не думайте.

Потом, по крайней мере за час до завтрака, вы должны снова прекратить думать.

Потому что желудок не может работать, если вы устроите себе приток крови к мозгу.

Дело ясное.

Во время еды молчите и дышите носом как можно сильнее.

Наука требует.

Каждый кусок вы должны пережевывать не меньше тридцати раз. Можете про себя считать.

— Раз, два, три...

— Анна Николаевна, какая вы сегодня задумчивая!

— Шесть, семь, восемь...

— Анна Николаевна! Ну, хоть улыбнитесь!

— Одиннадцать, двенадцать...

— Господа, не разговаривайте с Анной Николаевной! Ее мысли далеко-далеко!..

— Двадцать один, двадцать два, двадцать три...

— Я догадываюсь, о ком она думает.

— Двадцать девять, тридцать. Что?

— В каком курорте вы провели лето?

— После завтрака я вам отвечу. Сейчас мне думать нельзя. Раз, два, три...

Есть наука велит осторожно. Нельзя ничего соленого, горького, кислого и сладкого.

Но самая вредная пища — пресная и безвкусная, ибо она не вызывает необходимого выделения желудочного сока.

— Что же тогда есть?

— Как вам сказать... Вы можете есть соду, только, конечно, в самом небольшом количестве. Впрочем, недавно в одной клинике производились опыты кормления содой петуха. На третий день петуха затошнило и затем наблюдалось сильное выпадение перьев.

— Господи! А вдруг я тоже перья растеряю...

— Так что нужно быть осторожным при введении в организм соды. Можете есть говядину.

— Ага!

— Три грамма, четыре драхмы за один прием.

— Это сколько же примерно будет?

— Так и будет — три грамма, четыре драхмы. Наука другого языка не знает. Вводите в себя щелочи. Лучше часто, но не больше двух золотников каждый прием.

— А булку есть можно?

— Гм... с большой осторожностью.

— Буду осторожно... голой рукой не возьму.

— Лучше вообще избегайте.

— А пить что?

— Можете вводить в организм какую-нибудь хорошо пережеванную минеральную воду. Но лучше избегать. За час до приема минеральной воды ни о чем не думайте и полтора часа после приема. Это вам обеспечит хорошее пищеварение.

— Сколько же раз в день мне не думать?

— Не думать вы должны во время утренней прогулки, в продолжение часа после прогулки, за час до завтрака, в продолжение двух часов после завтрака, за два часа до обеда, в продолжение двух часов после и за два часа перед сном. Спать ложитесь не позже девяти.

— Гм... Люди-то в театр ходят.

— Организм требует покоя после заката солнца, если же вы станете вводить в него какого-нибудь «Danseur'a de madame», то обмен веществ будет нарушен.

— Все-таки знаете, обидно как-то. Все веселятся...

— Вы можете вместо этого вызвать у себя испарину, накрывшись с головой периной. Это не противупоказуется и облегчит работу почек. Самка удода, если вызывать в ней вечернюю испарину, значительно прибавляет в весе и может нести по четыре яйца в день.

— Вот черррт!

— Мы слишком отошли от природы, и природа мстит жестоко. Главное — старайтесь сохранять полное спокойствие и веселое настроение.

— Сам, дурак, сохраняй, если можешь.

— Чего-с?

— Нон, рьен. Се комса.[1]

* * *

— Господа, что такое с Сергеем Александровичем? Такой был милый, когда уезжал, остроумный, интересный. Побывал на курорте, и узнать человека нельзя. Молчит, улыбается, свистит что-то. Идиот идиотом. Мы его звали обедать к девяти. А он говорит: «Adieu, я потеть должен».

— Гадость какая! И это светский человек! Камер-юнкер!

— У меня вчера его жена была. Марья Николаевна. Такая милочка! Плакала. Сережа, говорит, ездил для обмена

---

[1] Нет, ничего. Вот так (*фр.*).

веществ, вот ему и обменяли! Такую дрянь подсунули, что хоть плачь! Его, говорит, прежнее куда лучше было. Хочет хлопотать, чтобы ему его вещества назад вернули. Ну, да где же уж искать! При нашем беженском положении — кто за нас заступится! Говорят, нужно обратиться в голландское консульство... Ужасно все это грустно! Такая милочка...

Вдвоем

Когда приезжают новые беженцы из советской России и рассказывают о близких и знакомых, нас часто удивляет количество браков, иногда совершенно нелепых.

А я всегда думаю:

— Бедные! Как им страшно жить, что они так боятся одиночества.

Помню Петербург. Осень.

Ночь на исходе. Пустые улицы. Что-то чернеет на тротуаре — из окна видно. Словно труп. Скорченный, одна рука вытянута, видимо, бежал и упал. И тени какие-то вдоль стен маячат — мотнутся к черному, к трупу и снова расходятся. А где-то совсем близко стреляют часто-часто. Расстреливают, что ли. Они ведь это всегда на рассвете.

И тянется ночь, и нет ей конца, и все такая же.

Ждешь зари. Бродишь от окна к окну — скоро ли день, скоро ли разглядишь того, черного, скоро ли узнаешь.

Постучать бы кому-нибудь в дверь и сказать:

— Мне страшно!

Только и всего.

А может быть, и еще меньше.

Колыхнулась портьера, звякнула на столе фарфоровая статуэтка об ножку лампы.

— Кошка! Ты?

Теплая, выгибается под рукою, сует голову в широкий мягкий рукав моего платья.

— Холодно? Зверь, милый, близкий. И тебе холодно! И тебя разбудила звериная предрассветная тревога, и все ты понимаешь, и страх у тебя перед тем черным, что ле-

жит на тротуаре, одинаковый звериный, и тоска та же. Зверь близкий.

— Вдвоем-то нам лучше?

* * *

Его я встречала в Москве. Он был высокий, сутулый, мохрастый, бородастый — такой обычный, что и незнакомые ему кланялись, а знакомые путались — на всех похож, на всех усталых, честных и неудачных, длинного фасона и бурого цвета.

Что он делал — Бог его знает.

Что-то честное и скучное.

Я, помнится, много раз спрашивала, да никак не могла до толка дослушать. Начинал он как-то издалека, крутил, плел все в придаточных предложениях и с историческими датами так, что никогда до конца довести не мог.

— Сам, видно, забывал, к чему дело.

— Вы, кажется, в каком-то журнале пишете?

— Видите ли, что, — в 1882 году, когда еще жив был Владимир Соловьев, которого мне довелось встречать у Николая Петровича, женатого на Софье Андреевне, женщине очень неглупой. Всегда, бывало, говорила мне и т. д., и т. д.

И я забывала, что спросила, и он забывал, куда ведет. И так до следующей встречи.

Жил он одиноко, в пустой квартире, держал какую-то прислугу, очень сердитую.

— Она еще у вас?

— Да, покуда меня не выгнала.

Ходили слухи, что был он когда-то женат, но его, как и всех честных, бурых и бородастых, жена бросила.

Бывал он только в каких-то редакциях, да еще раза три в неделю у общих знакомых — играл в шахматы.

И вдруг пропал.

Собирались узнать, что с ним, да как-то и не собрались.

Недели через четыре пришел сам.

— Где же это вы изволили пропадать?

— Да так знаете ли, все дела...

— Какие такие дела? Нехорошо друзей бросать. Мы беспокоились.

— Беспокоились?

Он слегка покраснел, помялся и сказал, понизив голос:

— Я не мог. У меня... у меня муха.
— Что?
— Ну... муха. Понимаете? Завелась около окна и летает. Теперь зима, холодно, а она! вот... Насчет дров у меня скверно, я спальню запер, а столовую велел топить. Под одеялом ведь довольно тепло.
— Вот чудак! Простудитесь. Вы бы ее тоже в спальню переселили.
— Понимаете — не хочет. Назад летит.
— Ну, допустим, муха — дело серьезное, но почему же вы к нам не приходили?
— Ах, знаете, как-то так... Вот я вчера вечером насыпал ей на стол сахару, она и съела. Сам я пошел в спальню разыскать книгу, а прислуга — прислуга такая грубая, взяла да и погасила лампу. Муха ест, а она погасила. Вы понимаете...
Он рассеянно сыграл обычную партию в шахматы и, торопливо распрощавшись, ушел.
Несколько дней все веселились по поводу мухи. Хозяйка дома, очень остроумная и живая, чудесно передавала в лицах весь разговор.
— Верочка! Расскажите еще про муху! — просили ее.
И она рассказывала.
Но герой рассказа снова пропал. И на этот раз навсегда.
Он умер. Умер от воспаления легких.
Из газет мы узнали, что он был приват-доцент и знаток каких-то литератур.
Его жалели.
— Бедный! Такой одинокий.
Но я думала:
— Нет. Последние дни свои он не был одинок.
И хорошо. Вдвоем ему было легче.

Мещанский роман

1

Насочиняли люди прекрасных басен
О том, что, мол, деньги — и прах и тлен;
Вот я так с этим не был согласен,

Покупая цветы у церкви Madeleine!
Торговался с бабой до слез, до угрозы,
И ругался и делал томный взгляд,
В результате за три паршивые розы
Заплатил ровно три франка пятьдесят.
Бог! Милый! Если тебе безразлично,
Сделай так, чтобы франк был равен рублю.
Знаю, что молитва моя неприлична,
Но я так глуп, так беден и так люблю!

2

Провела тихонько рукою по пледу...
Улыбнулась странно... села на кровать...
— Я, может быть, уже завтра уеду.
Будете вы тосковать?
Я владею собой, и я отвечаю
Так спокойно, что сам удивлен:
— Неужели завтра? Не хотите ли чаю?
У меня есть кекс и лимон.
Тоскливо кричали автомобили,
Пробегал по окнам их таинственный глаз.
За стеной часы отчетливо били,
Чтоб мы никогда не забыли тот час...
Ее новый адрес, город, улицу, номер,
Я долго повторял, чтоб послать ей вслед
Депешу «Poste restante. Zaboud. Ia oumer».
И на пятнадцать слов уплаченный ответ.

3

Суета и шум на Лионском вокзале...
Глупо, как заяц, прячусь у дверей,
Чтоб не окликнули, чтоб не узнали
Из этой своры пестрых зверей.
Мелькнул воротник знакомого платья,
И сердце забилось так глупо и смешно.
Она иль не она — не успел узнать я,

Все это так грустно, а впрочем, все равно.
Буду тосковать? Не думаю. Едва ли.
Станет меньше расходов, и этому я рад...
Две барышни в метро, хихикая, шептали,
Что у меня шляпа съехала назад.

4

Сегодня небо так сине и ясно,
Сегодня на улице так много роз,
Что мне кажется, совсем не так уж опасно
Предложить консьержке обычный вопрос.
Пройду спокойно, как банкир из банка,
Брошу: «Pour moi pas de lettre, madame?»[1]
Если скажет «да» — получит два франка,
Если нет — ничего не дам,
— Rien?[2] — Мне все равно! Ни обиды, ни боли!
— Le temps est si beau! Merci... pardon...[3]
Мне даже весело! — Не слышно вам, что ли,
Как я фальшиво свищу «Madelon»?

5

Сегодня воскресенье. Все по ресторанам
Отдаются мирно еде и питью.
Брожу по улицам, как по святым странам,
Любви скончавшейся служу литию.
Хожу и вспоминаю то, что не забыто,
И благовоспитанно благодарю
За боль и радости любовного быта.
Вот церковь наша на Rue Daru[4]...
Помню — в сердце пели весенние свирели...
На ней была шляпка из белых роз,
И кадила кадили, и лампады горели,

---

[1] Нет ли для меня писем, мадам? (*Фр.*).
[2] Ничего? (*Фр.*)
[3] Какая хорошая погода! Спасибо, извините... (*Фр.*)
[4] Улица Дарю (*фр.*).

И она мне сказала, что воскрес Христос!..
А вот и Madeleine. Цветочница кивает.
Да! Здесь я, как осёл, цветы ей выбирал.
Нет, хуже, чем осёл! Тот роз не покупает,
А если бы купил, то сам бы и сожрал.

6

Нет — кончено! Пропала охота
Разводить любовную ахинею
И ломаться под Дон-Кихота,
Влюбленного в Дульцинею!
Нет больше Дульциней — одни только Альдонсы
Разносят по свету козлиный дух!
Вот возьмусь за ум, да пойду в Альфонсы —
Утешать американских старух!
Иль, пожалуй, останусь, горд и благороден,
Насобачусь плясать фокстрот —
В любом дансинге, вертя толстых уродин,
Можно заработать до восьми тысяч в год.

7

Вот снова сумерки и чай с лимоном,
Окно открытое на Rue du Rhône[1].
А там на улице, под самым балконом,
Весенней шарманки влюбленный стон.
Маленькая рука, еще совсем чужая,
Обещает новую, незнанную боль,
И дышать, по-новому мечту раздражая.
Новые духи «La Vierge folle»[2].
Тоскливо и томно кричат автомобили
Совсем, как прежде, совсем, как тогда...
— Скажите, monsieur, вы когда-нибудь любили?
— О, нет, madame, никого никогда.

---

[1] Улица Роны (*фр.*).
[2] «Безумная девственница» (*фр.*).

Сказочка

Дома все были заняты и отпустили Гришу погулять одного. Но с условием: в лес далеко не заходить. Гриша на даче жил всего три дня, по-французски говорил плохо — собьется с дороги и расспросить толком не сумеет. Лучше быть осторожнее.

С тем условием его и отпустили.

Но Гриша был мальчик не очень послушный, и к тому же всегда ему казалось, что он лучше других понимает, что можно, а чего нельзя.

Поэтому, дойдя до лесу, он преспокойно свернул с дороги и пошел в самую чащу.

Лес был густой. Между деревьями порос он колючими кустами ежевики, которые оплетали стволы так, что порой и продраться было трудно.

Гриша наелся ежевики, разорвал об колючки, чулки и платье, и уж подумывал, как бы выбраться на дорогу, как вдруг заметил, что справа от него лес как будто редеет и свету больше — видно, там и есть выход на дорогу.

Пролез с трудом через кусты и выбрался из чащи.

Но выбрался он не на дорогу, как думал, а на маленькую полянку.

Посреди полянки торчал старый мшистый пень-коряга, а под пнем булькал поросший незабудками ручеек.

Устал Гриша. Сел на траву, привалился к косогорчику и даже глаза закрыл.

«Отдохну, — думает, — как следует, да и разыщу дорогу. Торопиться тоже некуда. Дома трепка ждет за чулки и за платье, да и вообще, зачем в лес пошел, когда не позволили».

Закрыл глаза, отдыхает.

В траве сверчок скрипит.

— Грррри-шш! Гррри-шш!

Прогудела пчела, словно кто струну тронул.

— Дззз-ун.

Птица из кустов спросила два раза:

— Приду? Найду?

И сама себя передразнила:

— Ду-ду? Ду-ду?

Зазвенла-задудела какая-то словно дудочка и так ясно выговорила:

В лесу, где незабудочки,
Играю я на дудочке,
Играю и пою,
Кто попадет на удочку,
Тот запоет под дудочку,
Под дудочку мою.

Удивился Гриша, а глаза открыть лень.

Вот словно засмеялся кто-то и вдруг — бац!.. щелкнуло что-то Гришу прямо в лоб.

— Орех!

Свежий зеленый орех в шелухе.

Осмотрелся Гриша — никого нет.

Что за чудо! И свалиться ореху неоткуда, — кругом только ежевика, пень да незабудки.

Потянулся, опять глаза закрыл.

— Бац!

Опять орех в лоб, да пребольно!

Вскочил Гриша, обернулся: из самого пня смотрят на него два быстрых глаза. Смотрят, блестят, будто смеются. Пригляделся Гриша — человечек сидит.

Странный такой — голенький. Загорел весь, совсем бурый стал, ноги мохнатые, будто шерстяные чулочки повыше колен натянул. Волосы надо лбом двумя мохрами взбиты, губы толстые. Смотрит на Гришу и так весь от смеха внутри себя и дрожит. Видеть невозможно, до того самому смешно делается. У Гриши так в горле и защекотало и ноги задрыгали.

А человечек, не сводя с Гриши глаз, вдруг прижал к губам маленькую зеленую дудочку. И запела дудочка. Сама выговорила:

Медведь, коза с козлятами,
Лисичка с лисенятами.
И волки, и кроты, —
Попали все на удочку,
Плясали все под дудочку —
Попляшешь, друг, и ты!

Удивился Гриша.

— Вы русский?

А человечек смеется:

— «Попляшешь, друг, и ты!»

— Значит, вы русский?

Человечек отвел ото рта дудочку:

— Я не русский. Я всяческий.

Гриша надулся:

— Смеетесь вы надо мной. Такого и народу на свете нет. Я все народы знаю, а такого у нас не учили.

А человечек ничего, не обижается. Скосил глазки, подумал.

— Так ты, — говорит, — русский? Вот и отлично. Ты мне большую услугу окажешь, а я тебя за это из леса выведу.

— Что ж, я согласен, — отвечал Гриша. — Говорите, в чем дело.

Человечек подумал, почесал ножку об ножку и сказал:

— Родственница ко мне пожаловала. Из России. Беженка. Ничего я не понимаю, что ей нужно. Прямо беда. Поговори ты с ней — может, столкуетесь.

Повел человечек Гришу по лесу. Идет точно по собственной квартире — каждый изворот-поворот знает, за каким кустом свернуть, какой пень обогнуть, под каким суком прошмыгнуть.

Долго ли, коротко ли, привел он Гришу в густой орешник. Раздвинул ветки. Видит Гриша муравейник, а на муравейнике сидит баба-старуха, волосы нечесаные, сама в лохмотьях, на пальцах когти, как у вороны, а лица не видно, все лохмами закрыто.

Посмотрел Гриша на бабу, и что-то ему страшно сделалось.

Стоит, молчит.

Зашевелила баба лохмами, да вдруг как загудит, ровно ветер в трубе:

— И чтой то здеся русским духом запахло?

Раздвинула лохмы, а глазищи у нее зеленые, нос у нее крючком, а изо рта желтый клык торчит.

Затрясся Гриша, да как заорет:

— Баба-Яга!

Хотел бежать, а ноги от страха к земле приросли.

А Яга улыбается, желтым клыком во рту шевелит:

— Здравствуй, — говорит, — добрый молодец. Счастье твое, что у меня аппетит пропал, а то я бы тебя съела. Ты чего смотришь? Положение мое самое тяжелое и попечалиться некому — энтот стрекулист ничего не понимает.

Показала Яга через плечо большим пальцем на человечка и сплюнула:

— И все я свое добро порастеряла. Медну ступу и ту реквизировали, на одном помеле ускакала. Еще, спасибо, леший внизу выхлопотал — он у них в комиссарах по просвещению служит.

Пригорюнилась Яга, подперла щеку костяной ногой.

— Всю фамилию нашу ликвидировали. Капут! Кощея Бессмертного в Лондон повезли Европе показывать, что, мол, и при нашем режиме не все помирают. Мальчик с пальчик-проныра в контрразведку пошел. Конька-Горбунка в Москве на разговенах съели, Спящая Красавица в Совнаркоме на телефоне служит. Болотные черти все в хор пошли, на ихнем клиросе поют. Многие требуют, чтобы, когда венчают вкруг ели, так чтобы черти пели, — ну вот, — зарабатывают. Змей Горыныч уж на что твердый был — соблазнился! В Чрезвычайку пошел мертвыми костями заведовать. Кикимора по государственной эстетике пошла. Оборотень сдох. Двадцать раз в минуту переворачивался, и то не потрафил. Мне, говорит, за ними все равно не поспеть, и сдох.

Заплакала Яга.

— Ху-у-до мне. Что я делать буду! Тут у них и снега толкового не будет, как я метель закручу, как след замету! Пропадать мне, видно!

Плачет Яга, разливается. Грише хоть и страшно, а жаль Ягу, даже в носу защекотало.

Вытерла Яга слезы лопухом и говорит Грише:

— Иди-ка ты, добрый молодец, своей дорогой, а то мне тебя здесь и изжарить не в чем. Печки нету. У них тут в лесу центральное отопление, чтоб им лопнуть.

Повернулся Гриша, а из-за куста ему человек кивает:

— Сговорились? Понял?

— Понял.

— А я — что-то ничего не понимаю.

Схватил человечек Гришу за руки и закружил по лесу. Через кусты, через пеньки, через коряги, бежит-кружит, смеется:

Попал и ты на удочку,
Плясал и ты под дудочку,
Под дудочку мою!

Завертел он Гришу волчком, толкнул в спину и пропал. Только далеко-далеко в лесу ухнуло что-то и покатилось.

Осмотрелся Гриша. Видит кусты, а за ними дорога и дачи тут как тут.

Поплелся домой.

Дома влетело ему и за драные чулки, и за грязное платье, и зачем в лес ходил.

А больше всего попало за то, что врет много.

Нет, видно, на свете справедливости.

Квартирка

В отеле жить немыслимо.

Оставаться в нем дня на три, на неделю, даже на месяц — очень хорошо. Но жить постоянной человеческой жизнью — неудобно, беспокойно и дорого.

Особенно в парижском отеле, где всю меблировку вашей комнаты составляют — кровать, стол на четыре куверта, умывальник и пепельница.

И вот Танечка ищет квартиру.

В душе у нее давно живет идеал этой будущей квартиры: на каждого по спальне, гостиная, столовая, в центре города, на людной улице, но чтоб шума не было слышно.

Обстановка должна быть изящна, комнаты просторные, но уютные, с ванной, лифтом, освещением, отоплением и телефоном и стоить должна она примерно... франков сорок в месяц. Конечно, хорошо было бы, если бы в эту же цену входила и прислуга — ну, да где уж там!

Таков Танечкин идеал. Но суровая действительность быстро опалила крылья мечты, и Танечка ищет франков за ты-

сячу, можно и без лифта, можно и без телефона, можно и без ванны, с одним шумом с улицы.

По вечерам, когда возвращается со службы Танечкин муж и ест сыр жервэ, восхваляя его мягкость и высчитывая научно, сколько гранов мяса, яиц, овощей и солей заменяет собою этот кусочек, Танечка рассказывает ему, какие квартиры видела и какие упустила.

Упущенные всегда бывают дивно хороши и как-то даже подозрительно дешевы. Свободные дороги, тесны и далеки — чуть ли не под Костромой. Но достаточно решиться на одну из них, как моментально она оказывалась взятой и очень хорошей.

— Не умеешь ты искать, — укорял Танечку муж. — Искать надо на rive gauche[1]. Там центр интеллигенции, и поэтому квартиры дешевле.

Танечка вздыхает.

— Была одна на rive gauche. Только консьержка не позволяет ни детей, ни кошек, ни собак, ни рыб, ни птиц. И знакомых, говорит, тоже нельзя.

— Ну, уж это дудки. Уж что-нибудь одно надо было отстоять — либо знакомых, либо кошку. Этак совсем одичаешь.

— Около Этуали была одна квартира. Но ее давно сдали, еще до войны. Хорошая, с ванной.

— Эх ты, ворона!

— Еще, говорят, хорошая квартира есть где-то на Avenue Kléber. Только ее не сдают.

— Отчего не сдают?

— Не знаю, сами живут.

— Этак мы никогда ничего не найдем.

— Что же я могу сделать! Я стараюсь. Вот вчера мне дали адрес в конторе: на rue de Rome пять комнат с ванной, второй этаж, тысячу франков. А потом оказалось, что она не на rue de Rome, а в Passy, три комнаты, пятый этаж, восемьсот франков.

— Гм... Да ты, верно, не ту квартиру посмотрела.

— Может быть. Все это очень трудно.

— Нужно на rive gauche. Кроме всего прочего, там сконцентрированы все кладбища.

— Да на что нам?

---

[1] Левый берег (*фр.*).

— Нет, не говори, все-таки это большое удобство. Представь себе, умрет кто-нибудь из нас здесь, около Opéra, ведь отсюда до кладбища тащиться полтора часа, и неизвестно еще, какая при этом будет погода. Имей в виду, что чаще всего простуживаются именно на похоронах. Между прочим, пальто у меня скверное...

— Отчего мы такие несчастные! Устраиваются же люди!

— У Зябликовых квартира.

— Ну уж тоже! С умирающим. В верхнем этаже умирающий живет. Как у Зябликовых гости, так умирающий начинает кончаться и в потолок стучит, чтобы не мешали, Зябликовы всех гостей разгонять, а он к утру опять оживает.

— Ну это пустяки, умрет же он когда-нибудь. Тут нужно только терпение.

— А вот у нас в Вятке квартиру с домовым сдавали. Чудесная — целый дом. И дешево. Домовой только вздыхал и никого не трогал. И то потом выяснилось, что это кучер.

— Почему же он вздыхал?

— От неизвестных причин. Вот бы сюда эту квартирку! Восемь комнат. Пять внизу и три наверху. Наверх можно было бы Зябликовых пустить.

— Ну уж покорно благодарю! Сами будут всю ночь ногами топать, а чуть ты шевельнешься, сейчас претензии.

— Ну тогда можно было бы Зябликовым две крайние отдать. А мы жили бы наверху, а внизу только парадные комнаты были бы.

— Ну тоже по лестницам бегать, благодарю покорно. Особенно вечером со свечкой — еще пожару наделаешь.

— Зачем же со свечкой, когда электричество?

— Это в Вятке-то электричество!

— Да ведь дом-то, чудак ты этакий, в Париже будет, а не в Вятке!

— Сама говоришь, в Вятке, а теперь вдруг в Париже. Сначала думай, а потом говори.

— Чем же я, виновата, что ты ничего не понимаешь! Дом, конечно, в Вятке, но жили бы мы в нем в Париже.

— Ничего не понимаю! Или ты идиотка, или я с ума сошел.

— Ничего не идиотка. Я просто рассуждаю, что, если бы он был здесь, то как бы мы жили. Очень просто.

— Во всяком случае, я с Зябликовыми не желаю.

— Какой у тебя скверный характер! Ну что тебе Зябликовы помешают. Дадим им две комнаты около лестницы — там как раз кучер вздыхает. И потом не можем мы одни занимать целый особняк. Сколько одно отопление стоило бы.

— Надо завести центральное отопление, тогда, если сильный мороз, хозяин за все отдувается.

— Так ведь хозяин-то ты, чудак!

— Это безразлично. Зябликовых не желаю. Завтра пойдем в контору?

— К чему? Если ты желаешь один занимать особняк в восемь комнат и сам его отапливать, так на тебя все равно никто не угодит.

— Не реви, сделай милость. И без того тошно.

* * *

— Танечка, ты не спишь?

— Мммм...

— Мне что-то не спится. Все разные мысли...

* * *

— Танечка, ты не спишь?

— Гм?

— По-моему, можно было бы в вятском доме сдать Зябликовым весь низ. Он наверняка сырой. И если бы поставить дом около Этуали, мне бы на службу было удобно. Гм?

— Гм...

Мертвый сезон

В августе начинается в Париже мертвый сезон. Saison morte, по выражению Lolo, сезон морд.

Все разъехались. По опустелым улицам бродят только обиженные, прожелкшие морды, обойденные судьбой, обеструвилленные, обездовилленные и обездоленные.

— Ничего, подождем. Когда там у них в Трувиллях все вымоются и в Довиллях все отполощутся и в прочих Виллях

отфлиртуются, когда наступит там сезон морд, тогда и мы туда махнем. У всякой овощи свое время. Подождите — зацветет и наша брюква! Пока что пойдем на sold'ы покупать обжэ де люксы: ломаную картонку, рыжий берет — последний крик умирающей моды, перчатки без одного пальца, сумочку с незапирающимся замком и платье с дырой на груди. Купим, уложим и будем ждать, когда наступит на нашей улице праздник. Главное, быть готовым.

Поезда переполнены. Багажные вагоны завалены — в них, кроме обычной клади, возят сундуки с трупами. Переправлять трупы таким образом стало делом столь обычным, что приказчик, продавая сундук, заботливо спрашивает:

— Вам на какой рост?

И покупательница отвечает, опуская глаза.

— Нет, нет. Мне только для платья.

Скоро промышленность отзовется на спрос покупателей и выпустит специальные сундуки с двойным дном, и с отделением для льда, чтобы скоропортящийся груз не так скоро «подал голос». Ну да это местные заботы, и нам, пришельцам, собственно говоря, дела до них нет. Так, только из сочувствия интересуемся.

* * *

Уехавшие живут хорошо.

Письма пишут упоительные и соблазняющие.

«Я не мастер описывать красоты природы, — пишет молодой поэт, — скажу просто: восемнадцать франков».

Я заметила странную вещь: все пансионы во всех курортах стоят всегда восемнадцать франков, когда о них говорят в Париже.

Но если вы пойдете на место, с вас возьмут двадцать пять.

— Почему же?

— Потому что из вашего окна вид на море.

— Тогда дайте мне комнату в другую сторону.

— Тогда будет тридцать пять, потому что вид на гору.

— Давайте в третью сторону.

— Тогда будет сорок, потому что комнаты, которые выходят на двор, прохладны и шума в них не слышно. Но, в общем, у нас комнаты по восемнадцать франков...

* * *

«Миленькая! Приезжайте непременно. У меня с носа уже слезла кожа — словом, вы будете в восторге. Кругом гуси, утки и можно приработать на конкурсе красавиц — выдают двести франков и швейную машинку».

Пишет златокудрая Наташа со строгими северными глазами, которым не верить нельзя.

* * *

Прожелкшие, обиженные судьбою морды при встречах друг другу советуют:

— Поезжайте в Contexeville. Поправите почки.

— Да они у меня здоровы.

— Эка важность! Уж если вы такая добросовестная, так пошатайтесь по ресторанам, попейте шампанского, головой вам отвечаю, что через две недели ничего от ваших почек не останется.

Другая морда советует:

— В Экс вам надо. Ревматизм лечить.

— Да его у меня отродясь не бывало.

— Это так кажется. Иногда ведь и не замечаешь. Серьезно. Иногда совсем здоровый человек умрет, все — ах, ах! отчего да почему. А потому что вовремя не лечился. Отсутствие болевых ощущений вовсе не есть признак здоровья, и обратно. У иного человека так все болит, что он с места подняться не может — на носилках его носят и на простынях поворачивают. А на самом деле что же — здоров как бык. А другой прыгает, скачет, а как сделают после смерти вскрытие, оказывается — умер. Нет, уж вы, знаете, лучше не запускайте.

Третья морда говорит убежденно:

— Чего вы тут сидите? Вам нужно торопиться печень лечить.

— Да у меня печень здорова.

— Ну, это вы другим рассказывайте. Верьте мне, вам нужно печень лечить. Вон мою кузину послали же лечить печень. И вам надо.

— А меня посылают на морские купанья.

— Кто?

— Врач.

— Да плюньте вы на врача — ей-богу, чудачка! Я вам говорю — вам надо печень лечить.

— Простите, но почему я должна плевать на врача, который прошел специальную школу, имеет опыт и знания — и буду лечиться у вас, когда вы присяжный поверенный?

— Ну уж это, знаете ли, дамская логика. Женское рассуждение. Все бабы докторам верят. Как заболеют, так непременно к доктору. Много ваши доктора понимают! Я вам говорю, что вам надо печень лечить. Впрочем, как хотите — ваше дело.

— А вот один знакомый инженер советует мне лечиться от малокровия. У меня его, кажется, также нет — так, может быть, нужно полечиться?

— Ерунда. Что он понимает. Я вот еду — тут есть небольшой курортик, очень хорошо лечит от аппендицита.

— А разве у вас аппендицит?

— Нет, у меня скидка.

— Это что же за штука?

— Скидку мне там сделают, знакомый врач обещал. Раз скидка, так отчего же не полечиться? Непрактично было бы упустить.

* * *

У меня есть один знакомый из персонала собачьей лечебницы за городом, воздух хороший... Может быть, устроится хорошая скидка...

* * *

Морды прожелкшие, обиженные, обойденные судьбой, ходят по опустелым улицам, дают друг другу советы, смотрят в окна магазинов на выгоревшую дешевку, празднуют свой сезон.

Файфоклоки

Рецепт приготовления файфоклока следующий:

1 кило миндального печенья.
На пять франков кексу.
На десять какой-нибудь дряни.
1 кило конфет.
1 лимон.

Все это режется и раскладывается по тарелкам, в виде звезд или каких-нибудь геометрических фигур — ромбов, квадратов, концентрических кругов.

Делается это для того, чтобы с первого же момента поразить воображение гостя, чтобы он присмирел и понял, что попал не так себе куда-нибудь, а в дом, где любят красоту и ценят искусство. Красота это, как известно, страшная сила, и уложенная винтом баба (я говорю, конечно, про печенье, а не про женщину) производит впечатление гораздо более яркое и острое, чем просто натяпанная кривыми ломтями. Можно еще купить орехов. Но к ним следует относиться как к элементу декоративному и щипцов не класть. От них, если дозволить их есть, только треск и сор. А так, без щипцов, если какой гость и надумает взять, то недалеко уедет: повертит в пальцах, лизнет и сунет потихоньку под пепельницу.

Если гость строптивый и задира, то надо дать понять, что вы его штуки заметили и не одобрили — берешь, мол, добро, есть не ешь, а только изводишь. От этого он делается скромнее и иногда даже начинает говорить комплименты.

Если вы натуральный беженец и живете в одной комнате, то для настоящего светского файфоклока вы непременно должны придать вашему помещению элегантный вид: выбросить из пепельницы присохшие к ней косточки от вишен, старые туфли засунуть подальше под кровать, а новые, наоборот, выставить около окошка — пусть сверкают. Умывальную чашку можно скрыть под небрежно развернутым японским веером.

Словом — иногда самыми маленькими усилиями можно достигнуть потрясающих эффектов.

Между прочим, если у вас есть стул с расхлябанной ножкой, не стыдитесь и не прячьте его. Он вам сослужит службу: если к вам придет очень важный гость, запрезирает ваш кекс и спросит, есть ли при вашей комнате salle de bain[1] — сажайте его немедля на этот стул. Он потеряет равновесие, брыкнет ногой и попытается обратить все в шутку. А вы улыбнетесь «с большой выдержкой» и скажете:

— Ах, пустяки, не стоит обращать на это внимание. Здесь мебель хотя и дорогая, но очень непрочная.

---

[1] Ванная (*фр.*).

Тогда он подумает, что сам сломал ножку, и сильно сконфузится. Тут берите его голыми руками.

Разговоры за файфоклоками нужно вести на самые светские темы, а вовсе не о том, что вас лично в данный момент больше всего интересует.

Допустим, ваша душа занята тем, что утром сапожник содрал с вас пятнадцать франков за новую подметку. Как бы ни были вы полны этими переживаниями, говорить о них не следует, потому что все притворятся, что их такая мелочь никогда не интересовала, и даже не сразу поймут, кэс ке сэ, мол, подметка.

Говорите об опере, о туалетах. Только не надо говорить непременно правду.

— В оперу не хожу — денег нет.

Или:

— Сегодня утром смотрю — ах! — на новом чулке дырка!

Это не то. Надо держать высокий тон.

— Французы не понимают даже Чайковского, как вы хотите, чтобы они претворили (непременно скажите «претворили», я на этом настаиваю) Скрябина?

Или так:

— Пакэн повторяется!

И больше ничего. Пусть все лопнут.

Если разговор очень вялый, вы можете легко оживить его, бросив вскользь:

— Видела вчера в церкви Анну Павловну. Какая красавица!

Тут-то и начнется.

— Анна Павловна красавица? Ну уж это, я вам скажу...

— Анна Павловна харя.

— Она одевается недурно, но ведь она ужасна!

— Одета она всегда возмутительно! Я даже не понимаю, где она заказывает эти ужасы. Ее выручает смазливое личико...

— Личико?! У нее муравьиный нос. Фигура только и выручает.

— Горбатая... Один бок...

— У нее три ноги...

— У нее скорее фигура смазливая, чем лицо.

— Характер у нее смазливый, а не фигура.

— Несчастный муж! Жена, кажется, продается направо и налево...

— Женщине шестой десяток и вечно за ней хвост мальчишек.

— Очевидно, умная женщина. Раз ей шестьдесят лет, да еще и урод она, и одевается скверно, так за что же ей платят?

— Анна Павловна умна? Вот уж разодолжили! Дура петая, перепетая.

— А много ли им нужно! Была бы хорошенькая мордочка.

— Да одевалась бы хорошо.

— Так значит она хорошенькая?

— Совершенная цапля, только коротенькая... Кривая.

— Ну вот! А вы говорите, продается. Сама всем платит.

— Что же — значит богатая?

— Ломаного гроша нет. Я ей сама старую шляпку подарила.

— Так как же тогда? Чем же она платит?

— Ах, какая вы наивная! Уж поверьте, что на это найдется.

— А на вид ей не более тридцати.

— Ах, какая вы наивная! Ей на вид все восемьдесят.

Это разговор специально дамский.

Для возбуждения мужских страстей вы вскользь бросаете:

— Интересно мнение большинства. Следует нам вообще объединиться, разъединиться или отъединиться?

Тут пойдет.

В общем, эти разговоры, если их не сбивать, могут длиться часа три-четыре.

Но если вам захочется есть, то вы всегда можете мгновенно погасить энтузиазм толпы и элоквенцию ораторов простой фразой, произнесенной вполголоса:

— Ах, я и забыла! Меня просили продать тридцать билетов на благотворительную лотерею. И куда это я их засунула... надо поискать.

Ровно через полторы минуты ваша комната останется пустой.

Окурки, бумажки от конфет, сизый дым, огрызки печенья — унылые клочья былого файфоклока — унылые файфоклочья.

Последние крики на лестнице:

— Заходите!

— Позвоните!

— Шшш... не крие па сюр лескалье![1]

Тоска

Не по-настоящему живем мы, а как-то «пока»,
И развилась у нас по родине тоска,
Так называемая ностальгия.
Мучают нас воспоминания дорогие
И каждый по-своему скулит,
Что жизнь его больше не веселит.
    Если увериться в этом хотите,
Загляните хотя бы в «Thé Kitty».
Возьмите кулебяки кусок.
Сядьте в уголок,
Да последите за беженской братией нашей,
Как ест она русский борщ с русской кашей.
Ведь чтобы так — извините — жрать,
    Нужно действительно за родину-мать
    Глубоко страдать.
И искать, как спириты с миром загробным,
Общения с нею хоть путем утробным.

* * *

Тоскуют писатели наши и поэты,
Печатают в газетах статьи и сонеты.
    О милом былом,
    Сданном на слом.
Lolo хочет звона московских колоколен,

[1] Не кричите на лестнице! (*Фр.*)

Без колоколен Lolo совсем болен.
Аверченко, как жуир и франт,
    Требует — возобновить прежний прейскурант
На все блюда и на все вина,
Чтобы шесть гривен была лососина,
Два с полтиной бутылка бордо
И полтора рубля турнедо.
    Тоже Москву надо
    И Дону Аминадо.
Поет Аминадо печальные песни:
    Аминадо, хоть тресни,
    Хочет жить на Пресне.
А публицисты и журналисты,
И лаконичны и цветисты,
Пишут, что им нужен прежний быт,
Когда каждый был одет и сыт.
(Милые! Уж будто и в самом деле
Все на Руси, сколько хотели,
    Столько и ели?)

* * *

У бывшего помещика ностальгия
Принимает формы другие:
«Эх-ма! Ведь теперь осенняя пора!
Теперь бы махнуть на хутора!
Вскочить бы рано, задолго до света,
Пока земля росою одета,
Выйти бы на крыльцо,
Перекинуть бы через плечо ружьецо,
Свистнуть собаку, да в поле
За этими, ушатыми… как их… зайцы, что ли…
    Идти по межи. Собака впереди.
    Веет ветерок. Сердце стучит в груди...
Вдруг заяц! Тубо! Смирно! Ни слова!
    Приложился… Трах! Бац! Готово! —
    Всадил дроби заряд
    Прямо собаке в зад.
А потом вечерком в кругу семейном чинном
Выковыривать дробинки ножом перочинным...

* * *

Ну что же, — я ведь тоже проливала слезы
По поводу нашей русской березы:
«Ах, помню я, помню весенний рассвет!
Ах, жду я, жду солнца, которого нет...
Вижу на обрыв, у самой речки
Теплятся березоньки — божьи свечки
Тонкие, белые — зыбкий сон
Печалью, молитвою заворожен.
Обняла бы вас, белые, белыми руками,
Пела, причитала бы, качалась бы с вами...»

* * *

А еще посмотрела бы я на русского мужика,
Хитрого, ярославского, тверского кулака,
Чтоб чесал он особой ухваткой,
Как чешут только русские мужики —
Большим пальцем левой руки
Под правой лопаткой.
Чтоб шел он с корзинкой в Охотный ряд,
Глаза лукаво косят,
Мохрится бороденка:
— Барин! Купи куренка!
— Ну и куренок! Старый петух.
— Старый?! Скажут тоже!
— Старый! Да ен, може,
На два года тебя моложе!

* * *

Эх, видно все мы из одного теста!
Вспоминаю я тоже Москву, Кремль, Лобное место...
Небо наше синее — синьки голубей...
На площади старуха кормит голубей
«Гули-гули, сизые, поклюйте на дорогу,
Порасправьте крылышки, да кыш-ш... прямо к Богу.
Получите, гулиньки, божью благодать
Да вернитесь к вечеру вечерню ворковать».
... — Плачьте, люди, плачьте, не стыдясь печали!
Сизые голуби над Кремлем летали!..

* * *

Я сегодня с утра несчастна:
Прождала почты напрасно,
Пролила духов целый флакон
И не могла дописать фельетон.
От сего моя ностальгия приняла новую форму
И утратила всякую норму,
Et ma position est critique[1].
Нужна мне и береза и тверской мужик,
И мечтаю я о Лобном месте —
И всего этого хочу я вместе
Нужно, чтоб утолить мою тоску,
Этому самому мужику
На этом самом Лобном месте
Да этой самой березы
Всыпать, не жалея доброй дозы,
Порцию этак штук в двести.
Вот. Хочу всего вместе!

Счастье

(Рассказ петербургской дамы)

Мне удивительно везет! Если бы мои кольца не были раскрадены, я бы нарочно для пробы бросила одно из них в воду, и если бы у нас еще ловили рыбу, и если бы эту рыбу давали нам есть, то я непременно нашла бы в ней брошенное кольцо. Одним словом — счастье Поликрата.

Как лучший пример необычайного везенья, расскажу вам мою историю с обыском.

К обыску, надо вам сказать, мы давно были готовы. Не потому, что чувствовали или сознавали себя преступниками, а просто потому, что всех наших знакомых уже обыскали, а чем мы хуже других?

---

[1] Мое положение критическое (*фр.*).

Ждали долго — даже надоело. Дело в том, что являлись обыскивать обыкновенно ночью, часов около трех, и мы установили дежурство — одну ночь муж не спал, другую тетка, третью я. А то неприятно, если все в постели, некому дорогих гостей встретить и занять разговором, пока все оденутся.

Ну, ждали-ждали, наконец и дождались. Подкатил автомобиль. Влезло восемь человек сразу с черной и с парадной лестницы и шофер с ними.

Фонарь к лицу:

— Есть у вас разрешение носить оружие?

— Нету.

— Отчего нету?

— Оттого, что оружия нету, а из разрешения в вас палить ведь не станешь.

Подумали — согласились.

Пошли по комнатам шарить. Наши все, конечно, из постелей повылезли, лица зеленые, зубами щелкают, у мужа во рту часы забиты, у тетки в ноздре бриллиант — словом, все как полагается.

А те шарят, ищут, штыками в стулья тычут, прикладами в стену стучат. В кладовой вытащили из-под шкафа старые газеты, разрыли, а в одной из них портрет Керенского.

— Ага! Этого нам только и нужно. Будете все расстреляны.

Мы так и замерли. Стоим, молчим. Слышно только, как у мужа во рту часы тикают, да как тетка через бриллиант сопит.

Вдруг двое, что в шкаф полезли, ухватили что-то и ссорятся.

— Я первый нашел.

— Нет я. Я нащупал.

— Мало что нащупал. Нащупал да не понюхал.

— Чего лаешься! Присоединяй вопще, там увидим.

Мы слушаем и от страха совсем пропали. Что они такое могли найти? Может быть, труп какой-нибудь туда залез?

Нет, смотрим, вынимают маленькую бутылочку, оба руками ухватили.

— Политура!

И остальные подошли, улыбаются.

Мы только переглянулись:

— И везет же нам!

Настроение сразу стало у меня такое восторженное.

— Вот что, — говорят, — мы вас сейчас арестовывать не будем, а через несколько дней.

Забрали ложки и уехали.

Через несколько дней получили повестки — явиться на допрос. И подписаны повестки фамилией «Гаврилюк».

Думали мы, думали — откуда нам эта фамилия знакома, и вспомнить не могли.

— Как будто Фенькиного жениха Гаврилюком звали, — надумалась тетка.

Мы тоже припомнили, что как будто так. Но сами себе не поверили. Не может пьяный солдат, икавший в кухне на весь коридор, оказаться в председателях какой-то важной комиссии по допросной части.

— А вдруг!.. Почем знать! И зачем мы Феньку выгнали!

Фенька была так ленива и рассеянна, что вместо конины сварила суп из теткиной шляпы. Шляпа, положим, была старая, но все-таки от конины ее еще легко можно было отличить.

Никто из нас, конечно, есть этого супа не стал, Фенька с Гаврилюком вдвоем всю миску выхлебали.

— Что-то будет!

Однако пришлось идти.

Вхожу первая. Боюсь глаза поднять.

Подняла.

— Он! Гаврилюк!

Сидит важный и курит.

— Почему, говорит, у вас портрет Керенского контрацивурилицивурилена?

Запутался, покраснел и опять начал:

— Концивугирицинера...

Покраснел весь и снова:

— Костривуцилира...

Испугалась я. Думаю, рассердится он на этом слове и велит расстрелять.

— Извините, говорю, товарищ, если я позволю себе прервать вашу речь. Дело в том, что эти старые газеты собирала на предмет обворота ими различных предметов при выношении, то есть при выносьбе их на улицу бывшая наша

кухарка Феня, прекрасная женщина. Очень хорошая. Даже замечательная.

Он скосил на меня подозрительно левый глаз и вдруг сконфузился.

— Вы, товарищ мадам, не беспокойтесь. Это недоразумение, и вам последствий не будет. А насчет ваших ложек, так мы расстрелянным вещи не выдаем. На что расстрелянному вещи? А которые не расстреляны, так те могут жаловаться в... это самое... куды хочут.

— Да что вы, что вы, на что мне эти ложки! Я давно собираюсь пожертвовать их на нужды... государственной эпизоотии.

Когда мы вернулись домой, оказалось, что наш дворник уже и мебель нашу всю к себе переволок — никто не ждал, что мы вернемся.

Ну не везет ли мне, как утопленнику!

Серьезно говорю — будь у меня кольцо, да проглоти его рыба, да дай мне эту рыбу съесть, уж непременно это кольцо у меня бы очутилось.

Дико везет!

Контр

Париж.

Улица — по ту сторону Сены для нас, по сю сторону для них.

Меблированная комната (шестиперсонная кровать, стол, два стула и пепельница).

Это положение географическое.

Положение психологическое: тошно, скучно, не то спать хочется, не то просто — все к черту.

Сидят они двое — Сергей Иванович и Николай Петрович. Сергей Иванович хозяин, Николай Петрович — гость.

Поэтому на столе сухари и в стаканах недопитый чай.

— Хотите еще?

— А?

— Чаю хотите?

— Нет, ну его к че... то есть спасибо. Не хочется.

— Тощища! — говорит хозяин и тут же вспоминает, что хозяину так говорить не полагается, и, придав лицу светский вид (вроде птицы, которая, собираясь клюнуть, смотрит боком), спрашивает:

— В театрах бываете?

— Какие там театры. До того ли теперь.

— А что?

— Как что! Россия страдает.

— Ах, вы про это.

— И потом — дрянь театры, а лупят как за путное.

— Гм.

— Гм?

— Нет, я так.

— Давали бы контрамарки, так я бы, пожалуй, ходил.

— Аану!

— Что?

— Нет, просто зевнулось.

— Подпругин приехал. Слыхали, Егор Иваныч?

— Остановился в номерах.

— Где?

— В Кляридже. Хвалит. Очень, говорит, чисто и звонки. Позвонить — официант является. У них, говорит, в Архангельске тоже хорошая гостиница, только, говорит, если звонок нажмешь — обязательно клоп выбежит.

— Собака он, Егор Иваныч. Никому от него пользы нет. И что ему в Париже делать? Роздал бы деньги, да и к черту — пусть назад едет.

— Куда же? Ведь его там повесят.

— Ну, и пусть вешают, какая цаца, подумаешь.

— А он серебряную свадьбу справлять хочет. Наши собираются подарок подносить.

— Подаро-ок? Я б ему поднес подарок.

— А?

— Тут, говорят, собачье кладбище очень шикарное. Так вот разориться раз да купить ему в складчину фамильный склеп на собачьем кладбище. А? Ха-ха! Интересно знать, в чьей он контрразведке служит.

— Что?

— Все же служат. Кто просто в разведке, кто в контрразведке. В контр дороже платят. И еще агитаторы есть — хорошо зарабатывают. Попадейкин контразербейджанский агитатор.

— А что же он делает?

— Он у Лярю обедает. Я сам видел. Дальнейшего ничего не знаю. Один раз чуть было меня не подцепил, ну, да я не так прост.

— А что же он?

— Да подошел и говорит: «Как поживаете, Сергей Иваныч? Что слышно новенького?» Понимаете? Нашел простачка! Так я ему и рассказал! Я говорю «спасибо, ничего особенного». Ну, он и отскочил. Ловко? Отбрил?

— А знаете что-нибудь?

— Да мало ли что. Все-таки вращаешься в обществе, слышишь. Вот был вчера у Булкиных. Они очень раздражены против Зайкиных. У Зайкиных дочь, говорят, в южноафганистанской контрразведке служит. А сам Булкин, по-моему, к контрсоветской румынской контрразведке сильно причастен.

— Из чего вы это заключаете?

— Уады!

— Что?

— Зевнулось. Заключаю? По различным признакам. Хотите чаю?

— Спасибо. Не хочу. По каким признакам?

— А то бы выпили. Я позвоню.

— Не надо. По каким при...

— Скажите, вы с Сопелкиным встречаетесь?

— Видел раза два.

— Гм...

— А что?

— Агент большевиков.

— Господь с вами! Бывший жандарм.

— Ничего не значит. О чем он с вами говорил?

— Подождите, дайте припомнить.

— Я не настаиваю. Можете и не рассказывать.

— Позвольте... Один раз, точно не помню, про водку. Водочный завод какой-то открывается. Так он говорил, что вот,

мол, мы удрали и водочка за нами прибежала. С большим умилением говорил.

— Так-с. А второй раз?

— Второй... Гм... Я бы, пожалуй, чайку выпил, если вас не побеспокоит.

— Хорошо, я звоню. Так вот о чем...

— А знаете, говорят, контр Попов тоже в разведке... то есть я хотел сказать Попов в контрразведке, в монархической контрагитации, а Семгины вся семья контрагитирует за Савинкова. Они говорят, что в газетах было будто. Савинков не рожден, а отпочковался, и что это имеет огромное влияние на польские умы, а также очень возбуждает народные массы.

— А о чем вы говорили с Сопелкиным?

— Да так, пустяки. Он рассказывал тут про одного типа, который будто и в разведке и в контрразведке служит, сам на себя доносы пишет, и с двух сторон жалованье получает. И будто ничего с ним поделать нельзя, потому что от взаимного контрдействия двух сил существо его неуязвимо.

— Вот прохвост! Кто же это? Ловкий. Надо бы на него ориентироваться.

— Слушайте... Вы никому не скажете? Даете слово?

— Ну, разумеется, даю.

— Ей-богу? Никому не скажете? Смотрите, а то выйдет, будто я сплетник.

— Да ну же! Говорю же, что не скажу!

— Ну, так я должен вам сказать, что этот самый человек, который гм... ну да что там, скажу прямо: говорят, что это вы. Только помните, чтоб не вышло сплетен. А?

Тонкие письма

Из Совдепии стали получаться письма. Все чаще и чаще.

Странные письма.

Как раз на основании этих писем растет и крепнет слух, будто в Совдепии все помешались.

Журналисты и общественные деятели, пытавшиеся основывать на этих письмах свои выводы об экономическом, политическом и просто бытовом положении России, залезли в такие густые заросли ерунды, что даже люди, свято верившие в неограниченность русских возможностей, стали поглядывать косо.

Несколько таких писем попало мне в руки.

Одно из них, адресованное присяжному поверенному и написанное его братом врачом, начиналось обращением:

«Дорогая дочурка!»

— Иван Андреич! Почему же вы оказались дочуркой собственному брату?

— Ничего не понимаю. Догадываться боюсь.

Новости сообщались в письме следующие:

«У нас все отлично. Анюта умерла от сильного аппетита...»

— Должно быть, от аппендицита, — догадалась я.

«...Вся семья Ваньковых тоже вымерла от аппетита...»

— Нет, что-то не то...

«...Петр Иваныч вот уже четыре месяца, как ведет замкнутый образ жизни. Коромыслов завел замкнутый образ жизни уже одиннадцать месяцев тому назад. Судьба его не известна.

Миша Петров вел замкнутый образ жизни всего два дня, потом было неосторожное обращение с оружием, перед которым он случайно стоял. Все ужасно рады».

— Господи! Господи! Что же это такое? Ведь это не люди, а звери! Человек погиб от несчастного случая, а они радуются.

«...Заходили на твою квартиру. В ней теперь очень много воздуха...»

— Это еще что за штука? Как прикажете понять?

— Думать боюсь! Не смею догадаться!

Кончалось письмо словами:

«Пишу мало, потому что хочу вращаться в свете и не желаю вести замкнутый образ жизни».

* * *

Долго оставалась я под тяжелым впечатлением, произведенным этим письмом.

— Знаете, какое горе, — говорила я знакомым. — Ведь брат-то нашего Ивана Андреича сошел с ума... Называет Ивана Андреича дочуркой и пишет такое несуразное, что даже передать стесняюсь.

Очень жалела я беднягу. Хороший был человек.

Наконец узнаю — какой-то француз предлагает отвезти письмо прямо в Петроград.

Иван Андреич обрадовался. Я тоже собралась приписать несколько слов — может быть, еще и не совсем спятил, может, что-нибудь и поиметь.

Решили с Иваном Андреичем составить письмо вместе. Чтоб было просто и ясно и для потускневшего разума понятно.

Написали:

«Дорогой Володя!

Письмо твое получили. Как жаль, что у вас все так скверно. Неужели правда, будто у вас уже едят человеческое мясо? Этакий-то ужас! Опомнитесь! Говорят, у вас страшный процент смертности, Все это безумно нас тревожит. Мне живется хорошо. Не хватает только вас, и тогда было бы совсем чудесно. Я женился на француженке и очень счастлив.

Твой брат Ваня».

В конце письма я приписала:

«Всем вам сердечный привет

Тэффи».

Послание было готово, когда зашел к нам общий наш друг адвокат, человек бывалый и опытный.

Узнав, чем мы занимались, он призадумался и сказал серьезно:

— А вы правильно письмо написали?

— То есть... что значит правильно?

— А то, что можете ли вы поручиться, что вашего корреспондента за это ваше письмо не арестуют и не расстреляют?

— Господь с вами! Самые простые вещи — за что же тут!

— А вот разрешите взглянуть.

— Извольте. Секретов нет.

Он взял письмо. Прочел. Вздохнул.

— Так я и знал. Расстрел в двадцать четыре часа. Это уже не первый случай.

— Ради Бога! В чем дело?

— Во всем. В каждой фразе. Прежде всего — вы должны были писать в женском роде, иначе вашего брата расстреляют, как брата человека, сбежавшего от призыва. Во-вторых, не должны упоминать, что получили письмо, ибо переписка запрещена. Потом не должны показывать, что знаете, как у них скверно.

— Но как же тогда быть? Что же тогда писать?

— А вот разрешите, и я вам это самое письмо приведу в надлежащий вид. Не беспокойтесь — они поймут.

— Ну, Бог с вами. Приводите.

Адвокат пописал, почиркал и прочел нам следующее:

«Дорогой Володя!

Письма твоего не получал. Очень хорошо, что у вас так хорошо. Неужели правда, будто у вас уже не едят человеческого мяса? Этакую-то прелесть! Опомнитесь! Говорят, у вас страшный процент рождаемости. Все это безумно нас успокаивает. Мне живется плохо. Не хватает только вас, и тогда было бы совсем скверно... Я вышел замуж за француза и в ужасе.

Твоя Иван-сестра.

Приписка:

«Всех вас к черту. *Тэффи*».

— Ну, вот, — сказал адвокат, мрачно полюбовавшись своим произведением и проставив где следует запятые. — Вот в таком виде можете посылать без всякого риска. И вы целы, и получатель жив останется. И все же письмо будет получено. Так сказать — налаженная корреспонденция.

— Боюсь только насчет приписки, — робко заметила я, — как-то уж очень грубо.

— Именно так и нужно. Не расстреливаться же людям из-за ваших нежностей.

— Все это чудесно, — вздохнул Иван Андреич. — И письмо и все. А вот только что они там об нас подумают? Ведь письмо-то, извините, — идиотское.

— Не идиотское, а тонкое. А если даже и подумают: вы обыдиотились — велика беда. Главное, что живы. Не все по нынешним временам могут живыми родственниками похвастаться.

— А вдруг они... испугаются?

— Ну, волков бояться, в лес не ходить. Хотят письма получать, так пусть не пугаются.

* * *

Письмо послано.

Господи! Господи! Спаси и сохрани.

Наш май

Наобещали много и не сделали ровно ничего.

Я говорю о выступлениях и о забастовках Первого мая. Все свелось к пустякам.

Какой-то провокатор, выстрелив кверху без толку, убил сидевшую у окна даму.

По другой версии, — какая-то провокаторша, увидя, как снизу летит пуля мирно демонстрирующего прохожего, нарочно налезла на нее лбом.

Несколько штрейкбрехеров проехало в автобусе.

По другой версии — сами забастовщики разъезжали в автобусах, управляемых волонтерами, чтобы проверить, правильно ли работает пролетариат.

Больше ничего и не было.

Тонкие политики объясняют это тем, что специалисты — стачечники, бастовавшие всю жизнь, решили примкнуть к стачке и бросили свое обычное занятие — перестали бастовать.

Вот и все.

Не того ожидали мы, воспитанные серьезными советскими порядками.

Как только мы услышали, что Первого мая ожидаются «выступления», мы немедленно взяли деньги из банков и бриллианты из сейфов. Деньги, как полагается, заткнули в

зеркало, между стеклом и рамой. Бриллианты, тоже как полагается, засунули в нос.

Затем каждый пошел ночевать к соседу. А к Б, Б к В, В к Г и так далее до конца азбуки. Ижица ночевала у А.

Потом наутро справлялись по телефону, на какое число назначены похороны жертв.

Нас не понимали, удивлялись и даже сердились.

Там, на родине, никто в таких случаях не удивлялся.

Там, в советских газетах, печатали так: «На такое-то число назначается радостный праздник такой-то годовщины. Похороны жертв через четыре дня».

И все ясно, и все просто. Никто не удивляется, никто по телефону не справляется.

Налаженная была жизнь — не то, что у них...

* * *

Вспоминается последнее Первое мая, проведенное мною в Москве.

Народ в Кремле. Отряды красномордых латышей.

Черные молодые люди в хрипящем автомобиле. Старые памятники, забинтованные бурыми тряпками. Бурыми потому, что красные все давно вышли.

Тихая серая толпа отхлынет, прихлынет, зыбится.

— Чего ждут?

— Троцкий речь будет говорить.

— А когда?

— Да вот уж на два с половиной часа опоздал. Теперь, видно, скоро.

— А вот эти, что в автомобиле приехали... эти разве не Троцкие?

— Неизвестно. Не наше дело разбирать, какие что!

— Да Господь с вами! Я ведь что... я ведь ничего... я ведь так...

Ходят серо-зеленые лики. Ухо тянут-подслушивают.

На Скобелевской площади даму арестовали: выразила сожаление, что Скобелева с памятника содрали. А между прочим, Скобелев был против советов, так против самых советов и помешался. Долго ли нам еще терпеть? Гидру реакции и нож в спину революции...

Холодно. Солнце желтое, чуть теплое...

Отчего такая тоска?

— Будут на могилах штацкую панихиду служить...

— Прежняя, значит, военная была, что ли?

Повернули назад красномордые латыши.

Потянулась за ними красная гвардия. Онучки обмотаны лычками да бечевками. Подвязаны тряпицами ручные гранаты. Лица землистые, глаза потупленные.

— Милые, милые, горькие вы мои!

Старушонка какая то заплакала.

— Кончился парад. Первое мая! В свободной стране!

* * *

Похороны были через четыре дня.

Карандаш

В Совдепии совсем нет бумаги. Не на чем печатать пресловутые декреты.

Многого там нет. О многом, должно быть, уже и забыли.

Помню я одну из последних радостей моего совдепского жития: мне подарили карандаш. Самый простой карандаш Фабера номер второй.

Но тогда это была уже большая редкость, давно не виданная.

— Какая прелесть! — говорила я, рассматривая подарок. — Какое чудесное душистое красное дерево! А графит, смотрите, какой ровный, ровный, круглый — точно он таким и рождается.

— Это не графит, а свинец, — поправил подаривший.

— Разве? А по-моему, графит...

— Не знаю. Мы ведь вообще ничего не знаем. Вот, может быть, видим эту штуку последний раз. Всю жизнь была она с нами, каждый день вертели ее в руках и почти не видели. И называется так диковинно «карандаш». Что за «карандаш» такой? Откуда такое слово? Никто, вероятно, и не знает. Вот жил такой карандаш всю жизнь с нами. И не замечали мы его. А какой красивый — ровный, шестигранный, полиро-

ванный, удобный, приятный. В сущности, мы, наверное, каждый раз испытывали удовольствие от общения с ним. Тайное, неосознанное и неотмеченное. Как мы вспомним его, когда его не будет? Была такая чудесная палочка с непонятным названием. И ничего мы о ней не знали, кроме того, что она «карандаш». А кто ее выдумал, из чего сделал, почему так назвал — ничего не знаем и не вспомним. Телеграфы и телефоны, и машины, и паровозы — этого мы не забудем. Это так называемые большие «чудеса современной техники». Как их забудешь — они мир двигали. А вот бумага — простая писчая бумага — задумывались ли вы когда-нибудь над нею. Из чего она сделана?

— Из тряпок, из дерева, право, не знаю — смотря какая, — отвечала я.

— И я не знаю. Из чего, как, кто выдумал. А какая чудесная вещь! Взгляните: белая, гладкая, почти не имеет третьего измерения — такая тонкая. Сделана, говорите вы, из дерева, из какой-нибудь бурой корявой сосны. Разве это не чудо? И главное — до чего красиво! Разве не было для нас для всех тайной радостью дотрагиваться до этих гладких шелковистых листов. Мы-то привыкли, не чувствовали, что это радость. А случалось вам видеть, как мужик в деревне развертывает листок газеты, или письма, с каким благоговением ощупывает заскорузлыми, плохо гнущимися пальцами тонкую гибкую полоску почти без третьего измерения. Вот, может быть, скоро не будет бумаги — наглядимся, налюбуемся, нарадуемся на нее пока есть. А имя у ней тоже какое странное «бумага». Откуда это?

Он подумал и продолжал:

— Странная была жизнь. Все время нас радовали. Только и делали, что радовали, а мы и не замечали этого. Каждая пуговица вашего платья из кожи вон лезла, чтобы быть красивой. Самая мелкая ерунда — ушко у иголки — ну какие к нему можно предъявлять требования? Лишь бы нитка влезла, вот и все. Так ведь и эта, самая ничтожная из ничтожных, деталь нашего обихода считала своим долгом хоть озолотиться, что ли, вам на радость. Или какая-нибудь пыльная тряпка, которая фабриковалась-то именно для этого самого унизительного дела — вытирать собою пыль, — и та не отказала себе в возможности украситься

каким-то красным бордюрчиком с бурыми квадратиками — а все для вас, для вашей радости. И видели-то вы ее, может быть, раз в год, когда зазывавшаяся прислуга забывала ее в углу на этажерке и вы сердито швыряли ее ногой в коридор; а вот для этого самого момента и разукрасили ее на фабрике, — художник сочинял рисунок — красивый бордюрчик с бурыми квадратами, — мастер подбирал краски, и, если своих подходящих не находилось — выписывал их из-за границы, хлопотал, платил пошлины, прятал проект от конкурентов. А потом ткачи работали, высчитывали нитки, чтобы тряпка вышла не какая-нибудь, а рисунчатая, потом рабочие бастовали, потом их усмиряли, и все для того, чтобы удалась пыльная тряпка отечеству на славу, нам на утешение.

— Стекол скоро совсем не будет. Половина окон в городе досками забита. Во время революций больше всего стекла страдают. Теперь, говорят, в России стекла хватит ровно на один переворот, и кончено. Будем жить без стекла. Сначала трудно будет, потом привыкнем и забудем, что за стекло такое было. Начнем вспоминать, детям рассказывать: твердое, прозрачное, финикияне выдумали; все через него видно, а насквозь пройти не пускает. Прямо чудо из чудес. Дети послушают и перестанут нас уважать — зачем врем без толку.

Сколько неисчислимых радостей было у нас! Сколько чудес!

Зонтики, зубные щетки (их давным-давно уже нет!), спички (и их нет).

— Спички — это были такие чудесные палочки. Если потрешь эту палочку о шершавую поверхность, то на конце ее появлялся огонь. Из этой маленькой палочки каждый мог добыть и свет и тепло. В каждой жил сухой огонек. Кто хотел, мог хоть полный карман набить себе таких огоньков. Люди носили огоньки с собой в коробке, и никто не удивлялся — скучно жили, не понимали своей радости…

Вот живу теперь в стране больших и малых чудес, и снова привыкла к ним, и не чувствую, что в них радость.

Только когда вижу карандаш, простой карандаш номер второй, вспоминаю я о том моем совдепском последнем и думаю:

— Какой ты красивый, шестигранный, душистый! Как можно не замечать тебя и всех тех милых маленьких чудес, которые живут с нами, и радуют нас, и умирают там в Совдепии. Неужели уже забыли тебя там, и дети только во сне вспоминают удивительное имя твое — «ка-ран-даш»?

В мировом пространстве

Школа философов-стоиков утверждала, что ни одно произнесенное человеком слово не исчезает, что в мировом пространстве оно живет вечно.

Итак, как с тихим отчаянием заметил один из современных нам нефилософов — мировое пространство заполнено человеческой брехней.

Мировое пространство беспредельно. Человеческая брехня также.

Предельное насыщается предельным. Может быть, беспредельное заткнется когда-нибудь беспредельным и мы наконец успокоимся.

* * *

Из Совдепии стали приезжать «очевидцы» все чаще и чаще. Врут все гуще и гуще.

Слушаю их — присяжных поверенных, врачей, инженеров, купцов и банкиров — и вспоминается мне московская старушонка, которая перед большевистским переворотом, после керенского недоворота, рассказывала у Иверской:

— Под Невским-то, милые вы мои, под Невским-то серый огонь выступил. Гореть не горит, только пепел летит. И ни человеку, ни зверю, ни рыбе через себя перешагнуть не дает. И сколько там душ погибло, не нам считать...

Если содержание новых повестей и не совсем такое, то стиль уж безусловно таков.

Мы узнаем, что Махно, умерший от сыпного тифа, два раза расстрелянный и добровольцами и большевиками, разъезжает на тройке с бубенцами, колокольцами, лентами

и позументами и возит в кибитке Михаила Александровича. Так все возит и возит. Потом, говорят, остановится и короновать будет.

А Бахмач опять взят и опять неизвестно кем. Только уж на этот раз наверное взят. Прошлые четыре раза — это все вранье было. А теперь можете смело верить.

Есть нечего, так что никто ничего не ест.

Говядина пятьсот шестьдесят рублей фунт. Телятина — девять тысяч с копейками. Но ничего этого достать нельзя, потому что подвоза нет.

Вспоминается другая старушонка.

— А у нас в Питере давно не едят. Не едят, не едят, немножко погодят, да и опять не едят. Итак, значит, ничего в России не едят.

— Как же они живы-то?

— Да уж так... Вообще, больше двух месяцев большевизм не продержится, — убежденно, но скосив глаза в сторону, говорит свежий очевидец.

— Так зачем же вы тогда уехали? Уж переждали бы там. Два-то месяца не переждать.

Слушаем дальше:

— Санитарное состояние обеих столиц ужасно. Все нечистоты сваливаются прямо на улицу и нижние этажи домов затоплены ими бесповоротно. Люди оттуда так уж и не вылезают. И темно там, разумеется, ужасно. Но главное, конечно, голод. Так как ничего не достать, то приходится покупать все на улице.

— ?

— Ну да, все улицы обращены в сплошной базар. Продают вареный картофель, репу и всякую дрянь. Ужас!

Ужас продолжается.

— Помните вы инженера К.? Еще такой толстущий был, все в Мариенбад ездил. Так вы не можете себе представить, какой ужас!..

— Умер? Расстрелян?

— Похудел.

— ?

— Ей-богу. Видел собственными глазами. Идет по Маросейке и ест что-то невкусное. Больше месяца это не продлится.

— Что не продлится? Невкусное?

— Большевизм не продлится. Уж это я вам говорю! Комиссары слишком очень раздражают народ. Живут — ни в чем себе не отказывают. Для Ленина, говорят, завели специальных мясных быков...

— А разве бывают быки не мясные?

— Потом веселятся они... Шампанское льется рекой. Стариков и старух всех уже убили, потому что их бесполезно кормить. Детей едят. Не всех, положим, а все-таки...

* * *

Любезный читатель!

Все это отнюдь не означает, что я не верю в тяжелое положение нашей родины и представляю себе большевистский уклад райским житием.

Но, любезный читатель, если ты, узнав, что близкий тебе человек смертельно болен, позовешь очевидца и услышишь следующее:

— Да, друг ваш, действительно, при смерти. Я от него не отходил и все видел. Это тиф, но с ужасными осложнениями. У него, видите ли, из левого уха выросла герань. Ужасно это его раздражает — и тяжело и щекотно. Ест он уже второй месяц только утиные перья. Больше ничего организм не переваривает... Долго не протянет.

Так вот, любезный читатель, если услышишь ты такие подробности о болезни твоего близкого, не вспомнишь ли ты о школе стоиков и не покажется ли тебе, что мировое пространство так плотно набилось и закупорилось, что существовать в нем стало невыносимо?

Как быть?

Мной недовольны.

Это для меня стало теперь ясно и определенно.

Не-до-воль-ны.

Встречаю недавно знакомого врача. Посмотрел на меня, вздохнул.

— Н-дам. Читал вашу последнюю вещичку.

— А что?

Смотрит так, как будто узнал про меня что-то очень скверное и только не может решить, стоит ли мне открывать глаза или уж лучше смолчать.

— Так что же?

— Как вам сказать... Зачем вы берете такие печальные темы, когда и без того так грустно, так тяжело живется! Печатное слово должно поставить себе задачей подбодрить нас, дать нам хоть минутку веселого, здорового смеха, отвлечь от кошмара действительности. Смех озонирует душу, убивает в ней разъедающие бациллы уныния и отчаяния, а потому — прямо необходим в наши скорбные дни. А вы что? Вы только углубляете в нас наше же собственное тяжелое настроение.

— Ну, хорошо. Я больше не буду. Право — мне самой совестно. Спасибо за ценные указания.

Через два дня встречаю знакомого банкира.

— Вы не рассердитесь, если я скажу вам правду, прямо, честно. По-дружески. Я всегда режу правду-матку в глаза. Можно?

— Режьте.

— Так вот уж вы меня простите, но вы меня прямо удивляете, — как можете вы смеяться в тот самый момент, когда наша родина страдает? Вы высмеиваете спекулянтов в то время, когда наши родные поля и нивы заливаются братской кровью. Вы меня простите, но смех, а тем паче насмешка сейчас неуместны, прямо скажу — бестактны. Теперь година страдания, а не шуток. Я сам за эти полгода похудел. Даже жена поздравляла. Говорит, если так дальше пойдет, то можно и в Виши не ездить. А вы находите возможность смеяться! Мы все должны рыдать. Все поголовно. Попробуйте перестроить вашу лиру.

— Очень, очень вам благодарна за ценные указания. Только лира — это ведь для стихов, а фельетоны вообще пишутся без лиры.

— Ну вот, тем более. Вы уж не сердитесь. Лучше прямо сказать. Не правда ли?

Потом пришел видный общественный деятель, вздохнул, поник скорбно головой и сказал:

— Не в том дело. Не в темах. Писать надо иначе, вот что. Вы вот, например, пишете, что под казаком лошадь плясала. К чему это? Этого не надо.

— Отчего же не надо? — испугалась я.

— Не надо. Нужно, чтобы ни про лошадь, ни про казака не было сказано, а чтобы читатель все сам чувствовал и видел.

— Это как же так?

— Да уж так. Не мне вам объяснять. Вы писатель, а не я. Я реалистическую школу не люблю. К чему казак? К чему лошадь? Важен не казак и не лошадь, а то, что я испытываю мои переживания в этот момент. Пишите, например, хоть так: «и казалось, будто кто-то синий и твердый перекидывает руками квадратные шары, прожаренные на терпком масле». Вот! Видите — и ничего не надо. Никакой лошади, ничего. А то «плясала». Ну к чему это? Вам надо работать над собой. Поехать куда-нибудь в деревушку и хорошенько поработать.

— Спасибо. Я непременно. В деревушку.

Потом встретилась светлая личность (без определенных занятий) и сказала:

— Слушайте! Чего вы все мудрите? Все какие-то выкрутасы. Да вычуры... Волосы пишете «лакированные», щеки маринованные, или что-то в этом роде. Ну к чему все эти фокусы? Толстой никогда не прибегал к выкрутасам, а состояние нажил. Писать надо просто. Хотите изобразить, что молодой человек сидит, так и изображайте: «На стуле сидел господин. На нем волосы». Вот и все. И каждый сразу поймет, в чем дело.

— Да, вы правы. Так, конечно, скорее поймут.

— Ну еще бы! Надо просто. Простота, это и есть истинное искусство.

Потом пришла дама. Милая, розовая, душистая, золотистая.

Съела конфетку крем-брюле, облизнулась и сказала:

— Не хочу сплетничать, но, знаете, Степаниде Петровне ваши фельетоны не нравятся. Я, конечно, отстаивала всячески.

— В чем же дело?

— Не хочу сплетничать, но она говорит про них, что это не Бичер-Стоу.

— А нужно, значит, чтобы Бичер-Стоу?

— Уж я, право, не знаю. Она такая злюка. Ее никто у нас не любит. Ничего, что я вам передала?

— Наоборот, я очень рада. Это ценное указание... Значит — Бичер-Стоу...

Она съела еще конфетку, поцеловала меня и ушла. А я осталась.

Я осталась, и вот так и сижу.

Как быть?

«Ке фер?»

Рассказывали мне: вышел русский генерал-беженец на Плас де ла Конкорд, посмотрел по сторонам, глянул на небо, на площадь, на дома, на пеструю говорливую толпу, — почесал переносицу и сказал с чувством:

— Все это, конечно, хорошо, господа. Очень даже все хорошо. А вот... ке фер? Фер-то ке?

Генерал — это присказка.

Сказка будет впереди.

* * *

Живем мы, так называемые лерюссы, самой странной, на другие жизни не похожей жизнью. Держимся вместе не взаимопритяжением, как, например, планетная система, а вопреки законам физическим — взаимоотталкиванием.

Каждый лерюсс ненавидит всех остальных столь же определенно, сколь все остальные ненавидят его.

Настроение это вызвало некоторые новообразования в русской речи. Так, например, вошла в обиход частица «вор», которую ставят перед именем каждого лерюсса.

— Вор-Акименко, вор-Петров, вор-Савельев.

Частица эта давно утратила свое первоначальное значение и носит характер не то французского «Le» для обозначения пола именуемого лица, не то испанской приставки «дон».

— Дон-Диего, дон-Хозе.

Слышатся разговоры:

— Вчера у вора-Вельского собралось несколько человек. Были вор-Иванов, вор-Гусин, вор-Попов. Играли в бридж. Очень мило.

Деловые люди беседуют:

— Советую вам привлечь к нашему делу вора Парченку. Очень полезный человек.

— А он не того... не злоупотребляет доверием?

— Господь с вами! Вор-Парченко? Да это честнейшая личность! Кристальной души.

— А может быть, лучше пригласить вора-Кусаченко?

— Ну нет, этот гораздо ворее.

Свежеприезжего эта приставка первое время сильно удивляет, даже пугает.

— Почему вор? Кто решил? Кто доказал? Где украл?

И его больше пугает равнодушный ответ:

— А кто ж его знает — почему, да где... Говорят, вор, ну и ладно.

— А вдруг это неправда?

— Ну вот еще! А почему бы ему и не быть вором?

И действительно — почему?

* * *

Соединенные взаимным отталкиванием лерюссы определенно разделяются на две категории — на продающих Россию и спасающих ее.

Продающие живут весело. Ездят по театрам, танцуют фокстроты, держат русских поваров, едят русские борщи и угощают ими спасающих Россию. Среди всех этих ерундовых занятий совсем не брезгают своим главным делом, а если вы захотите у них справиться, почем теперь и на каких условиях продается Россия, вряд ли смогут дать толковый ответ.

Другую картину представляют из себя спасающие. Они хлопочут день и ночь, бьются в тенетах политических интриг, куда-то ездят и разоблачают друг друга.

К «продающим» относятся добродушно и берут с них деньги на спасение России. Друг друга ненавидят бело-каленой ненавистью.

— Слышали — вор-Овечкин, какой оказался мерзавец! Тамбов продает.

— Да что вы! Кому?

— Как кому? Чилийцам.

— Что?

— Чилийцам — вот что.

— А на что чилийцам Тамбов дался?

— Что за вопрос! Нужен же им опорный пункт в России.

— Так ведь Тамбов-то не овечкинский, как же он его продает?

— Я же вам говорю, что он мерзавец. Они с вором Гавкиным еще и не такую штуку выкинули: можете себе представить — взяли, да и переманили к себе нашу барышню с пишущей машинкой, как раз в тот момент, когда мы должны были поддержать Усть-Сысольское правительство.

— А разве такое есть?

— Было. Положим, недолго. Один подполковник — не помню фамилии — объявил себя правительством. Продержался все-таки полтора дня. Если бы мы его поддержали вовремя, дело было бы выиграно. Но куда же сунешься без пишущей машинки. Вот и проворонили Россию. А все он — вор-Овечкин. А вор-Коробкин — слышали? Тоже хорош! Уполномочил себя послом в Японии.

— А кто же его назначил?

— Никому неизвестно. Уверяет, будто было какое-то Тирасполь-Сортировочное правительство. Существовало оно минут пятнадцать — двадцать, так... по недоразумению. Потом само сконфузилось и прекратилось. Ну, а Коробкин как раз тут как тут, за эти четверть часа успел все это обделать.

— Да кто же его признает?

— А не все ли равно. Ему главное нужно было визу получить — для этого он и уполномочился. Ужас!

— А слышали последние новости? Говорят, Бахмач взят!

— Кем?

— Неизвестно.

— А у кого?

— Тоже неизвестно. Ужас!

— Да откуда же вы это узнали?

— Из радио. Нас обслуживают три радио — советское «Сoврадио», украинское «Украдио» и наше собственное первое европейское — «Переврадио».

— А Париж как к этому относится?

— Что Париж? Париж известно, — как собака на сене. Ему что.

— Ну, а скажите, кто-нибудь что-нибудь понимает?

— Вряд ли. Сами знаете — еще Тютчев сказал, что «умом Россию не понять», а так как другого органа для понимания в человеческом организме не находится, то и остается махнуть рукой. Один из здешних общественных деятелей начинал, говорят, животом понимать, да его уволили.

— Н-да-м...

— Н-да-м...

Посмотрел, значит, генерал по сторонам и сказал с чувством:

— Все это, господа, конечно, хорошо. Очень даже все это хорошо. А вот... ке фер? Фер-то ке?

Действительно — ке?

Защитный цвет

В некоторых парижских церквах расклеено воззвание приблизительно следующего содержания:

«Истинные христиане должны воздержаться от публичного исполнения разнузданных танцев с экзотическими названиями».

Это начинается гонение церкви на фокстрот.

Первое гонение на так называемые светские танцы было давно, еще до войны, в 1912—1913 году.

Политическая атмосфера была сгущенная. Сплетались международные интриги, зрели тайные планы, монархи и министры обменивались секретными письмами, заполнившими впоследствии страницы разных оранжевых, палевых и бордовых книг. Революционные сейсмографы показывали глухие толчки и колебание почвы.

Наплывали тучи. Густой, насыщенный электричеством воздух давил легкие. Многие робкие души уже видели молнии и крестясь закрывали окно.

И вдруг, как это бывает иногда при глубоких воспалениях, вдруг нарыв прорвало совсем не в том месте: Европа затанцевала.

Гимназисты, дамы-патронессы, министры, дантистки, коммивояжеры, генералы, портнихи, врачи, куаферы, принцессы и левые эсеры — встали рядом, вытянули сплетенные руки, подняли побледневшие истомой лица и плавно заколебались в экзотическом танго.

Танго росло, крепло, тихо покачиваясь, словно в сомнамбулическом сне, переступало в новые области, переходило границы новых государств.

Залы всех ресторанов всех стран Европы, все кафе, эстрады, театры, площади, пароходы, скверы, дворцы и крыши домов были завоеваны и заняты танго.

О танго писались доклады, газетные статьи, устраивались диспуты.

И вдруг — первый удар: германский императорский дом выгнал танго. Вильгельм запретил танцевать его при дворе.

Но танго от этого не пострадало. Пострадал только германский двор, потому что вызвал насмешки и сплетни: немецкие, мол, принцессы настолько неграциозные, что хитрый политик кайзер для спасения их эстетической репутации нарочно запретил танго.

Посмеялись и затомились в новых сложных фигурах.

И вот — второй удар. Небывалый, неслыханный.

Всколыхнулся Ватикан. На танго поднял руку сам римский папа и предал танго анафеме.

Страшное волнение охватило Европу.

— Спасать танго!

Были пущены в ход интриги, натянуты нити и надавлены тайные пружины.

Две великосветские пары были приняты папой, демонстрировали перед ним танго и реабилитировали его.

Конечно, великосветские пары, танцуя, имели в виду необычайного зрителя и готовы были ответить за каждое па хотя бы перед вселенским собором.

Тем более что из каждого танца можно сделать нечто такое, что вас притянут за оскорбление общественной нравственности или, наоборот, — эстетически возвышенное и прекрасное, вроде пляски царя Давида перед ковчегом (хотя и у Давида, по свидетельству Библии, вышли после этих плясок семейные недоразумения).

Ватикан был обманут. Папа уничтожил свою страшную буллу, снял анафему с танго, и ликующая Европа затанцевала «tres moutarde»...

Налетела война. Смыла кровавой волной танцующие пары. Ревом орудий оборвала истомные аккорды.

Страдание и смерть, горько обнявшись, заколебались, закружились, захватывая новые области, переходя границы новых государств. По следам танго — везде, везде.

Революция — рев и свист.

Выскочило подполье.

Сбило с ног. Пляшет.

Матрос с голой грудью и челкой-бабочкой обнялся с уличной девкой. А за ним спекулянт, нувориш и просто наворовавшийся «наворишка» заскакали, заплясали. И сколько их! Весь мир загудел от их пляса!

И музыка у них своя. Точно пьяный погромщик залез на рояль и лупит по клавишам ногами, а рядом кучеренок звякает по подносу вилкой.

Дззын бан! Дззын бан!

Вроде польки. Вроде вальса.

Вроде танго. Вроде танца.

Все «вроде». Все ненастоящее, а так только виденное, на ходу схваченное. Мы, мол, мимо проходили и, мол, видали, как господа танцевали. Чем богаты, тем и рады. Эй! посторонись.

Дззын бан! Дззын бан!

Англичане очень довольны.

Самый непластичный и немузыкальный народ в мире — они торжествуют. Можно скакать не в такт и стучать вилкой по подносу. Нужны только сила, здоровье и выносливость. Кто же тут с ними поспорит.

Дззын бан!

Скачет фокстрот, выпятил живот, раздвинул локти и вихляет боками.

— Извиняюсь! Разрешите пройти вперед, вперед нам, нуворишу с наворишкой. Ах, все вышло так удачно — не мешайте танцевать!

Скачет фокстрот, захватывает новые страны, переходит границы новых государств. По следам страдания и смерти — везде, везде...

Сплетаются международные интриги, где-то уже наблюдаются первые тайные страницы будущих оранжевых и бордовых книг. Наплывают черные тучи, и давит легкие насыщенный электричеством воздух. Революционные сейсмографы показывают колебание почв, еще небывалое.

И скачет фокстрот, безобразный, бессмысленный, последний.

Вот уж и церковь насторожилась. Робко крестясь, пытается закрыть окно.

— Остановитесь! Остановитесь!

Дергается уродливая пляска, как жалкая и жуткая гримаса больного, который улыбкой хочет показать, что он еще не так плох.

Фокстрот — уродливая улыбка, защитный цвет смертельно больного человечества.

Дети

Мелькают дни, бегут месяцы, проходят годы.

А там в России растут наши дети — наше русское будущее.

О них доходят странные вести: у годовалых еще нет зубов, двухлетние не ходят, трехлетние не говорят.

Растут без молока, без хлеба, без сахара, без игрушек и без песен.

Вместо сказок слушают страшную быль — о расстрелянных, о повешенных, о замученных...

Учатся ли они, те, которые постарше?

В советских газетах было объявлено: «Те из учеников и учителей, которые приходят в школу исключительно для того, чтобы поесть, будут лишены своего пайка».

Следовательно, приходили, чтобы поесть.

Учебников нет. Старая система обучения отвергнута, новой нет. Года полтора тому назад довелось мне повидать близко устроенное в Петрограде заведение для воспитания солдатских детей.

Заведение было большое, человек на 800, и при нем «роскошная библиотека».

Так как в «роскошную библиотеку» попали книги частного лица, очень об этом горевавшего, то вот мне и пришлось пойти за справками к «самому начальнику».

Дом, отведенный под заведение, был огромный, новый, строившийся под какое-то управление. Отдельных квартир в нем не было, и внутренняя лестница соединяла все пять этажей в одно целое.

Когда я пришла, — было часов десять утра.

Мальчики разного возраста — от 4 до 16 лет, с тупым скучающим видом сидели на подоконниках и висели на перилах лестницы, лениво сплевывая вниз.

Начальник оказался эстонцем, с маленьким, красненьким носиком и сантиментально голубыми глазками.

Одет, согласно большевистской моде, во френче, высоченные кожаные сапоги со шпорами, широкий кожаный кушак, — словом, приведен в полную боевую готовность.

Принял он меня с какой-то болезненной восторженностью.

— Видели вы наших детей? Дети — это цветы человечества.

— Видела. Что это у них, рекреационный час? Перерыв в занятиях?

— Почему вы так думаете? — удивился он.

— Да мне показалось, что они все там, на лестнице...

— Ну да! Наши дети свободны. И прежде всего мы предоставляем им возможность отвыкнуть от рутины старого воспитания, чтобы они почувствовали себя свободными, как луч солнца.

Так как дело происходило вскоре после знаменитого признания Троцкого: «с нами работают только дураки и мошенники», то я невольно призадумалась: «Мошенник или дурак?»

И тут же решила — дурак!

— К тому же, — продолжал начальник, — у нас еще не выработана новая система обучения, а старая, конечно, никуда не годится. Пока что мы реквизировали 600 роялей.

— ?

— Ребенок — это цветок, который должен взращиваться музыкой. Ребенок должен засыпать и просыпаться под музыку...

— Им бы носовых платков, Адольф Иваныч, — вдруг раздался голос из-за угла между шкафами. — Сколько раз я вам доклад писала. Дети прямо в стены сморкаются. Хоть бы портянки какие-нибудь...

Говорила сестра милосердия с усталым лицом, с отекшими глазами.

— Ах, товарищ! Разве в этом дело? — задергался вдруг начальник. — Теперь, когда мы вырабатываем систему, детали только сбивают с толку.

«А уж не мошенник ли?..» — вдруг усомнилась я.

— У младшего возраста одна смена... Сегодня двенадцать голых в постелях осталось, — продолжала сестра.

Сантиментальные глазки начальника беспокойно забегали. Он хотел что-то ответить, но в комнату вошел мальчик-воспитанник с пакетом.

— Ребенок! — воскликнул, обращаясь к нему, начальник. — Ребенок! Как ты не пластичен! Руки должны падать округло вдоль стана. А голова должна быть поднята гордо к солнцу и к звездам.

«Дурак!» — решила я бесповоротно.

Снизу донесся грохот и вопли.

— Дерутся? — шепнул начальник сестре. — Может быть, их лучше вывести во двор.

— Вчера они сестру Воздвиженскую избили, кто же их поведет. Нужно еще сначала произвести дознание насчет сегодняшних покраж и виновных лишить прогулки. Эти кражи становятся невыносимы!

Начальник прервал ее:

— Итак, у нас теперь в наличности шестьсот роялей... На днях будет утверждена полуторамиллионная ассигновка и тогда — прежде всего детский оркестр. Дети — это цветы человечества.

Когда я уходила, маленькие серые фигурки, гроздьями висевшие на перилах, провожали меня тупо тоскующими глазами и, свесив стриженые головы, плевали вдоль по лестнице.

А наверху дурак говорил напутственное слово.

— К звездам и к солнцу! — доносилось до меня. — К солнцу и звездам!

Но он надул меня! Он оказался не дураком, а мошенником.

Через несколько дней я прочла в газетах, что он, получив на руки полуторамиллионную ассигновку, удрал с нею. Так и разыскать не удалось.

Очевидно, прямо к солнцу и звездам.

Растут наши русские дети.

Больные, голодные, обманутые, обкраденные. Наше темное страшное русское будущее.

Кто ответит за них?

И как ответят они за Россию?

Свои и чужие

В наших русских газетах часто встречаются особого рода статьи, озаглавленные обыкновенно «Силуэты», или «Профили», или «Встречи», или «Наброски с натуры». В этих «силуэтах» изображаются иностранные общественные деятели, министры или знаменитости в области науки и искусства.

Представляют их всегда интересными, значительными или в крайнем случае хоть занятными.

О русских деятелях так и пишут.

Уж если увидите в газете русский «профиль», так я этот профиль не поздравляю. Он либо выруган, либо осмеян, либо уличен и выведен на чистую воду.

Мы странно относимся к нашим выдающимся людям, к нашим героям. Мы, например, очень любим Некрасова, но больше всего радует нас в нем то, что он был картежник.

О Достоевском тоже узнаем не без приятного чувства, что он иногда проигрывал в карты все до последней нитки.

Разве не обожаем мы Толстого? А разве не веселились мы при рассказах очевидцев о том, как «Лев Николаевич, проповедуя воздержание, предавался чревоугодию, со старческим интересом уплетая из маленькой кастрюлечки специально для него приготовленные грибочки»?

Был народным героем Керенский. Многие, я знаю, сердятся, когда им напоминают об этом. Но это было. Солдаты плакали, дамы бросали цветы, генералы делали сборы, все покупали портреты.

Был героем. И мы радовались, когда слышали лживые сплетни о том, что он, мол, зазнался, спит на постели Александра Третьего, чистит зубы щеткой Дмитрия Самозванца и женится на Александре Федоровне.

Был героем Колчак. Настоящим легендарным героем. И каждый врал про него все, что хотел.

И все это — любя.

Странно мы любим — правда?

Не ослепленно и не экстазно.

А разве не любим мы Россию, братьев наших? А что мы говорим о них?

Чужая Шарлотта Кордэ приводит нас в умиление и поэтический восторг. Оттого, что она чужая, и оттого, что на ней белый чепчик, а не русский бабий платок.

И как мы рады, что кишат кругом нас спекулянты, и трусы, и прямо откровенные мошенники, рвущие, как псы, кусок за куском тело нашей родины. Рады потому, что можем сказать: «вот каковы они все оказались!»

О нашей русской Шарлотте Кордэ мы бы легенд не сложили. Нам лень было бы даже имя ее узнать. Так, мимоходом, по привычке, справились бы:

— А с кем она, собственно говоря, жила?

На этом бы все и кончилось.

Трагические годы русской революции дали бы нам сотни славных имен, если бы мы их хотели узнать и запомнить.

То, что иногда рассказывалось вскользь и слушалось мельком, перешло бы в героические легенды и жило бы

вечно в памяти другого народа. Мы, русские, этого не умеем.

Помню, после Корниловского наступления на Петроград один из участников его похода рассказывал побледневшими губами:

— Они были, как дьяволы, эти матросы. Они бросались прямо под броневик, чтобы проколоть штыком резервуар с бензином. Я этого ужаса никогда не забуду! Колеса наползали прямо на мягкое, на их тела, кости хрустели под нами, по живым людям ехали. Гибли одни — на их место бросались другие. Господи, что же это за люди! Откуда такие взялись!

Я встретила потом через несколько месяцев этого офицера. Вспомнила, что он рассказывал что-то интересное, что я плохо слушала и почти забыла.

— Помните, вы говорили что-то любопытное о каких-то матросах, которые бросались под броневик... Помните? Вы еще удивлялись, что они такие безумные...

— Да, — рассеянно ответил он. — Что-то было в этом роде...

Забыли!

* * *

В Москве во время восстания юнкеров, когда шел бой на улицах, в толпу врезался грузовик с пулеметом. Правила машиной женщина. С платформы грузовика торчало несколько винтовок, криво и недвижно. Их не держали живые руки. Скорчившиеся около них люди не шевелились. Они все были убиты.

Женщина остановила грузовик, оглядела своих мертвых, выпрямилась, спокойная, открытая, незащищенная, одна перед направленными на нее дулами ружей, перекрестилась широким русским крестом и повернула ручку пулемета.

Никто не узнавал потом ее имени. И о том, что была такая, теперь уже никто и не вспомнит.

Забыли.

Рассказывают о том, как белые русские войска окружили красных матросов. Часть пленных сдалась — бросилась на колени и подняла руки. Остальные немедленно отошли от них в сторону.

— В чем дело? Чего вы хотите? — спросили у них победители.

— Мы хотим, чтобы нас расстреляли где-нибудь подальше, отдельно от этой сволочи, — отвечали они, указывая на коленопреклоненных товарищей.

Где это было — не помню. Никто не вспомнит.

Забыли.

Мы помним Шарлотту Кордэ.

Она ближе нам. Она носила белый чепчик и была француженкой, и ее так хорошо полюбили и описали французские писатели.

А наши — они нам не нужны.

Без предрассудков

Большевики, как известно, очень горячо и ревностно принялись за искоренение предрассудков.

Присяжный поверенный Шпицберг нанимал зал Тенишевского училища и надрывался — доказывал, что Бога нет.

— Товарищи! — взывал он. — Скажите откровенно — кто из вас персонально видел Бога? Так как же вы можете верить в его существование?

— А ты Америку видел? — гудит басок из задних рядов. — Видал? Не видал! А небось веришь, что есть!

Шпицберг принимался за определение разницы между Богом и Америкой, и горячий диспут затягивается, пока электричество позволит.

На диспуты ходили солдаты, рабочие и даже интеллигенты, последние, впрочем, больше для того, чтобы погреться.

И удивляться этому последнему обстоятельству нечего, так как в советской России видимое стремление граждан к усладам духа часто объяснялось очень грубыми материальными причинами.

Так, например, дети и учителя бегали в школу исключительно за пайком, а усиленный наплыв публики в 1918 году в Мариинский театр, когда и оперы ставились скверные, и

состав исполнителей был неважный, объяснился совсем уж забавно: в театральном буфете продавали бутерброды с ветчиной!

Итак, Шпицберг богоборствовал в Тенишевском училище.

А по монастырям товарищи вскрывали мощи и снятые с них фотографии демонстрировали в кинематографах, под звуки «Мадам Люлю, я вас люблю».

Устои были расшатаны, и предрассудки рассеяны.

В газетах писали:

«По праздникам бывший царь со своими бывшими детьми бывал в бывшей церкви».

В кухне кухарка Потаповна сдобно рассказывала:

— А солдатье погреб разбило, перепилось, одного, который, значит, совсем напивши, догола раздели, в часовню положили и вокруг него «Христос Воскрес» поют. Я мимо иду, говорю: «И как вы, ироды, Бога не боитесь?» А они как загалдят: «У нас, слава Богу, Бога больше нету». А я им говорю: «Хорошо, как нету, а как, не дай Бог, Бог есть, тогда что?»...

Праздники отменили быстро и просто. Только школьники поплакали, но им обещали рождение ленинской жены, троцкого сына и смерть Карла Маркса — они и успокоились.

Часть наиболее прилежных и коммунистически настроенных рабочих внесла проект о сохранении празднования царских дней, якобы для того, чтобы, так сказать, отметить позорное прошлое и на свободе надругаться, но дело было слишком шито белыми нитками. Надругиваться им разрешили, но от работы не отрешили, на том дело и покончилось.

Борьба с предрассудками кипела. Ни один порядочный коммунист не позволял себе сомневаться в небыли того, кого красная пресса называла экс-Бог.

«Красный Урал» гордо заявлял:

«В нашей среде не должно быть таких, которые все еще сомневаются «а вдруг Бог-то и есть».

И в их среде таких не бывало. Со всяческими предрассудками было покончено.

И вдруг — трах! Гром с безоблачного неба!

Самая красная газета «Пламя» печатает научную статью:

«Говорят, будто в городе Тихвине от коммуниста с коммунисткой родился ребенок с собачьей головой и пятью ногами. Ему только восемь дней, а на вид он как семилетний, и все никак не наестся». Поздравляю!

Пред этим пятиногим объедалой окончательно померк знаменитый мужик Тихон, который в начале большевизма «кричал на селе окунем» и которого чуть было не повысили, потому что неясно кричал. Не то за советы, не то по старому режиму.

А в красной Вологде, давно покончившей при помощи товарищей Шпицбергов с экс-Богом, страшно интересуются — чертом и ломятся в местный музей, требуя, чтобы им показали привезенного из Ярославля черта в банке!

Перепуганный директор музея, не уяснивший себе в точности отношения между чертом и советской властью, и обратился ли черт в экс-черта, или, наоборот, утвержден в прежних, отнятых от него духовенством, средневековых правах — просил «Вологодскую Правду» довести до сведения публики, «что никаких новых экспонатов, а тем более необыкновенных, в музей не поступало».

Вот как обстоит дело отрешения от предрассудков.

С нетерпением ожидаю статьи в «Московской Правде»:

«Слухи о том, будто товарищ Троцкий, обернувшись курицей, выдаивает по ночам молоко у советских коров (совкор.), конечно, оказались вздорными. Коммунистической наукой давно дознано, что обращаться курицей могут только вредные элементы из гидры реакции».

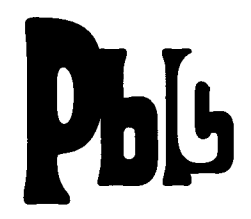
А может быть, поднесут нам что-нибудь еще погуще?

Человеческое воображение ничто перед коммунистической действительностью.

Содержание

Все о любви

Городок



Надежда Александровна Тэффи
Собрание сочинений в пяти томах
Том III
Редактор *В Алексина* Художественный редактор *О Скочко* Технический редактор *О Стоскова*
Корректор *Ю Баклакова* Компьютерная верстка *А Деева*

Подписано в печать 15 09 10 г Формат 84x108 $^1/_{32}$ Бумага офсетная
Гарнитура «Garamond» Печать офсетная Усл печ л 21,84 Уч-изд л 22,55
Заказ №
Книжный Клуб Книговек. 127206, Москва, Чуксин тупик, 9

Отпечатано ООО "Балто принт"
Logotipas Company
www baltoprint ru

Литературное
приложение

ОГОНЁК

ISBN 978-5-4224-0255-7



www.terra.su

www.soyuzkniga.ru